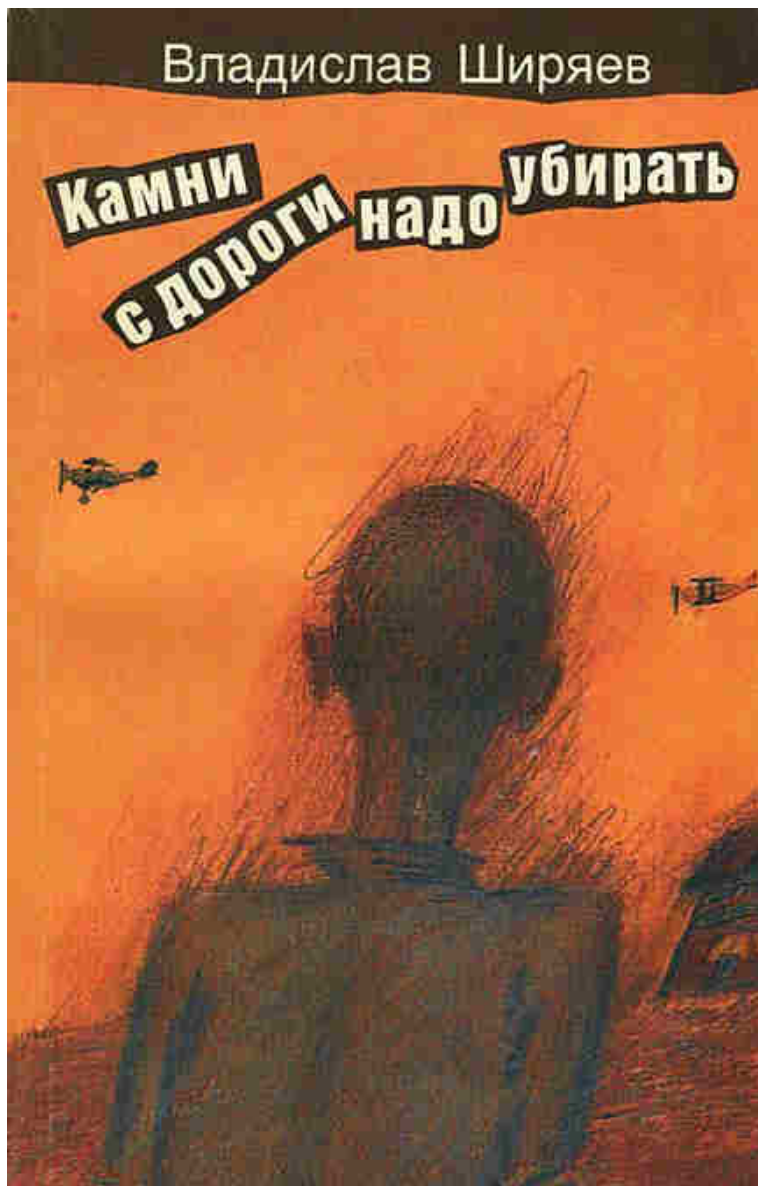


Владислав Ширяев

**Камни
с дороги надо
убирать**



Владислав Ширяев

Камни
с дороги
надо убирать

Москва.
Молодая гвардия, 1990

ББК 74.03(2)

Ш64

Ширяев В. А.

Ш 64 Камни с дороги надо убирать. – М. : Мол. гвардия, 1990. – 334[2] с.

ISBN 5-235-01525-8

Владислав Алексеевич Ширяев – публицист, автор книг по проблемам воспитания молодёжи и подростков.

Художественно-публицистическая повесть «Камни с дороги надо убирать» рассказывает об одном из самых драматичных периодов жизни и деятельности выдающегося советского педагога Антона Семёновича Макаренко.

Ш $\frac{4702010204 - 211}{078(02) - 90}$ КБ-013-040-90

ББК 74.03(2)

ISBN 5-235-01525-8

© Ширяев В. А., 1990 г.

© Молодая гвардия, 1990

ПЕДАГОГИКА ЗДРАВОВОГО СМЫСЛА

Мы находимся в удивительном периоде своего общественного самосознания: мы изучаем себя. Большая стирка, чистка, уборка, и надо в самом деле перебрать книги на полках, все статуэтки и портреты, «Страна должна знать своих героев», как говорили в тридцатые годы. Героев подлинных и «героев» в кавычках.

Недавно мы отметили столетие со дня рождения Антона Семёновича Макаренко. Вместе с нами весь мир отдаёт дань уважения выдающемуся советскому педагогу. В нашей стране нет человека, нет школьника, который не знал бы имени А. С. Макаренко, его «Педагогической поэмы». Кроме собраний сочинений самого Макаренко, существует огромная теперь наша и зарубежная литература о нём. Ещё живы-здоровы многие колонисты и коммунары, «дети Макаренко», которые всем обязаны своему учителю и буквально боготворят его. Имей каждый наш учитель таких воспитанников, мы бы горя не знали. Всё так и не совсем так. Всем знакомо имя Макаренко, но мало кто может толково рассказать про дело Макаренко. А коллективы, живущие «по Макаренко», вообще можно пересчитать по пальцам. В чём же фокус? Почему такой разрыв между «иконой», висящей в красном углу каждой учительской, и сегодняшней школьной практикой?

И тут возникает необходимость выяснить правду, обратиться к первоисточнику. Для того чтобы применять, осуществлять, надо по крайней мере знать, чего человек хотел, к чему звал, что открыл. Да и каким был сам в действительности, а не на музейном портрете. А вдруг правы те, кто говорит, что Макаренко был хорош в своё время, что он, дескать, имел дело с беспризорниками и правонарушителями, а у нас теперь всё иное, его методы нам не подходят.

Повесть Владислава Ширяева «Камни с дороги надо убирать», название которой дала мудрая украинская притча, пожалуй, не даёт ответа на все эти вопросы. Но она заставляет вновь и вновь задумываться над ними. А уже одно это — движение к истине.

К сожалению, в макаренковедении существует немало «белых пятен» и умолчаний, «секретов» и «табу», причем, как и в любой биографии наших крупнейших политических, общественных деятелей, писателей, учёных, военных, живших в 20–40-е, да и в более поздние годы. Биография великого педагога подчищалась и «улучшалась», чтобы, не дай бог, он не был скомпрометирован в глазах тех, для кого служит примером.

С ретушированных фотографий глядит крепыш-отличник, хотя родной брат Макаренко, Виталий Семёнович, о котором, кстати, тоже не найти ни слова во всём нашем макаренковедении, поскольку Виталий был белым офицером и ушёл в вечное изгнание с Добрармией, пишет в своих воспоминаниях, что Антон был мальчик болезненный, вечно простуженный, страдавший от своей хилости, некрасивости, ранней близорукости. Но при этом самолюбивый, всегда желавший быть первым. С пяти лет отец выучил Антона читать, он умел петь, рисовать, играть на скрипке, рассказывать, «представлять» и всю жизнь потом и рисовал, и страстно любил театр. Можно даже утверждать, что Макаренко, займись он любой другой профессией, всё равно написал бы свои книги, как инженер Крымов написал «Танкер «Дербент», моряк Малышкин «Севастополь», комиссар Фурманов «Чапаева». Нам никогда не понять личность Макаренко, если мы забудем об этом. Здесь корень его незаурядности, наблюдательности, внимания к людям и понимания человека.

Есть такой стереотип, навеянный, между прочим, и «Педагогической поэмой», как «очкарик» — учитель, интеллигент, пребывает в бессилии и растерянности перед «бандой» своих воспитанников, не знает, с чего начать, вся педнаука не помогает, и тогда интеллигент хватается в истерику за кочергу и даёт парню оплеуху. Давайте отнесёмся к этому как к моменту скорее литературному, чем реальному.

В 1920 году, когда Макаренко стал заведующим колонной, ему исполнилось 32 года, он имел 16-летний учительский стаж. Совсем молодым учителем, работал в Долинской школе, состоял в «надзирателях» в интернате для детей железнодорожных рабочих, стрелочников, будочников, получал за это десятку надбавки к жалованью. Он поработал уже и директором школы. Взрослым человеком, в 26 лет, поступил в учительский институт и получил золотую медаль за

дипломную работу, которая, между прочим, называлась «Кризис современной педагогики».

«Свою» педагогику в колонии имени Горького начинал человек опытный, уже тогда исходивший в своей практике из жизни, а не из схемы.

Стоит обратиться к воспроизведённой в повести анкете, которую заполнил Макаренко в 1922 году, суммируя свои знания, и станет ясно, как много и целеустремлённо надо было читать, чтобы обладать такими знаниями. Педагог должен вообще очень много знать, желательно всё на свете, но, однако, здесь более чем воспитательские интересы. И в малороссийском захолустье выростала интеллигенция с её понятиями подлинной образованности, подлинного патриотизма, подлинной гуманности и постоянной революционности.

Мы привыкли к облику Макаренко в очках, косоворотке и фуражке. Но до революции, в молодости, он всегда был франтом, носил накрахмаленные сорочки с галстуком, сюртук, пенсне. В поздние годы кто-то съязвил: «Сначала одевался как Чехов, потом как Горький, теперь как Сталин». Что поделаешь, такие перемены касались не только одежды.

Горький был кумиром, образцом. Самоучка и «босяк» Горький внушал надежду. Его пафос и вера в человека восторгали юную душу. Потом Макаренко назовёт колонию именем Горького, напишет Горькому в Сорренто, и... о, мечты провинциальных мальчиков, которые, как ни странно, почти всегда осуществляются! — настанет день, когда Горький приедет в колонию, проживёт здесь два дня, будет умиляться ребячьей жизнью, плакать и потом напишет о Макаренко замечательные и точные слова. Так случится, что Макаренко всё-таки не «раскроется» перед своим кумиром и тем более не расскажет Горькому, что уже не работает в колонии, выжит из неё своими наробразовскими противниками, борьбе с которыми посвящена чуть не половина «Педагогической поэмы».

Да, к сожалению, всё очень просто, и правда заключается в том, что Макаренко-педагог был побеждён бездарными и злыми ревнителями «настоящей» педагогики уже при жизни. Чем больше он делал, чем больше его любили дети, чем очевиднее был его «конечный продукт»: смелые, счастливые, дисциплинированные и работающие ребята и не менее

радостные, а не издёрганные педагоги; чем сильнее отличался он от общепринятого, тем злее становилась атака «блюстителей». Стоит гению умереть, и его с радостью вписывают в святцы, молятся на него.

Любопытно, что Макаренко не пожаловался не только Горькому, он вообще почти никогда не жаловался, «не пищал», не опирался на великих мира сего. Правда, всю жизнь дружил с чекистами, взявшимися за спасение беспризорных детей. Съеденный Наркомпросом, Макаренко в 1928 году ушёл под крыло ГПУ, в коммуну имени Дзержинского. «Флаги на башнях», завод ФЭД, «Марш 30-го года» — я думаю, это всем известно. Но чекисты 21-го года и чекисты 30-го, а тем более 35-го и 36-го, каких мы видим в повести Владислава Ширяева, — это, конечно, даже физически не одни и те же чекисты. Замечательная коммуна Дзержинского довольно быстро была превращена лишь в придаток завода ФЭД, коммунары — просто в рабочих. Коммуну стали возглавлять начальники с петлицами, Макаренко был оттеснён на завпедчастью, а затем и вовсе выжит из созданного им коллектива. Безудержный пропагандистский культ труда как такового, которым мы так грешим, утверждая, что только труд, труд и труд делает человека человеком, конечно же (и особенно в годы первых пятилеток), не мог иметь ничего общего с автором таких строк: «Нужно признать, что труд сам по себе, не сопровождаемый напряжением, общественной и коллективной заботой, оказался мало влиятельным фактором в деле воспитания новых мотиваций поведения... Хорошая работа сплошь и рядом соединялась с грубостью, с полным неуважением к чужой вещи и к другому человеку, сопровождалась глубоким убеждением, что исполненная работа освобождает от каких бы то ни было нравственных обязательств».

Но дело, конечно, не только в этом. Изменилось всё, произошла подмена: революционная и демократическая структура окончательно вытеснялась бюрократической. Реальная практика всё больше расходилась с утопическим «городом солнца», который Макаренко строил в коммуне имени Дзержинского.

«Никаких прирождённых преступников, никаких прирождённых трудных характеров нет; у меня лично, в моём опыте, это положение достигло выражения стопроцентной убедительности».

Так говорил Макаренко, но и сегодня многие не признают иной меры воздействия на оступившегося, кроме как понадежнее запереть его за решётку, за забор с колючей проволокой.

«Коллектив учителей и коллектив детей — это не два коллектива, а один коллектив, и, кроме того, коллектив педагогический». Так говорил Макаренко, но практика была иной.

«Вы представляете себе детский коллектив, который живёт на хозрасчёте?.. Хозрасчёт — замечательный педагог». Так говорил Макаренко, но в жизни хозрасчёт сворачивали повсюду.

«Каждый человек должен входить в жизнь, умея сопротивляться вредному влиянию». Так говорил Макаренко, но на практике детей всё больше оберегали от всего.

«Педагогическое мастерство директора школы не может заключаться в простом администрировании. Мастерство в том именно и состоит, чтобы, сохраняя строгое соподчинение, ответственность, дать простор общественным силам школы, общественному мнению, педагогическому коллективу, школьной печати, инициативе отдельных лиц и развёрнутой системе школьного самоуправления». Так говорил Макаренко, но педагогика сотрудничества и сегодня ещё недостижимая цель в наших воспитательных учреждениях.

«Если собрать 120 детей на одно общее собрание, они могут принять любое решение, смотря по тому, кто будет влиять на них... Никакое общество, государство, партия не может опираться на волю толпы; всякая здоровая дисциплина строится исключительно по системе полномочий, передаваемых более широкими организациями более узким...» Так говорил Макаренко, но тогда он не знал, что время подлинного демократизма придёт в нашу жизнь много позже.

«Никакое средство вообще, какое бы ни взяли, не может быть признано ни хорошим, ни плохим, если мы рассматриваем его отдельно от других средств, от целой системы, от целого комплекса влияний». Так говорил Макаренко, но мудрость и здравый смысл померкли перед лишаемой баланса действительностью, нравственные понятия были побиты и проигнорированы самым циничным иезуитством: цель оправдывает средства.

Вот, пожалуй, и всё объяснение, почему такой разумный, реальный, нужный и детям, и взрослым Макаренко остался во многом утопическим.

Повесть Владислава Ширяева рассказывает о самом драматичном эпизоде из жизни выдающегося педагога — его службе в НКВД Украины, в отделе трудовых колоний, в то самое время, когда кровавый топор сталинизма только что начал выпалывать цвет нашей нации. Макаренко ходит на работу в известное здание на Рейтарскую или ездит на автомобиле, пишет методики, борется, советует. А чудовище «ужесточения карательной практики» перемалывает людей уже и в самом этом доме, где он работает. Были арестованы, расстреляны или сами стрелялись в ночных кабинетах те, с кем Макаренко вместе работал или дружил.

Несмотря ни на что, Макаренко пытается «тиражировать» свой опыт, продолжает писать книги, иступлённо бьётся за то, чтобы утвердить в исправительной практике гуманистические принципы.

Трагическое сплетение: мир литературы, признание, слава, возможность работать и вместе с тем — отказ повсеместно от внедрения его педагогического метода и, напротив, ужесточение режима в детских исправительных учреждениях, возврат школ чуть ли не к гимназическим порядкам. А он был историк, художник, чистая душа («через ребёнка душа очищается», гласит мудрость), умница и не мог не понимать, что происходит. Несмотря на свой романтизм и хронический пафос, «мажор».

Повесть Владислава Ширяева обнажает перед нами цепь поражений Макаренко — в эти годы и ранее, — но вместе с тем она по-макаренковски оптимистична. И в этом, думается, её главная ценность. Перед нами предстаёт личность человека, умевшего, как умели немногие, выстоять, вопреки всему не стать жертвой, не поддаться панике и терпеливо убирать камни с дороги, по которой шёл сам и по которой сегодня идём мы. И в этом смысле повесть ставит Макаренко в наши ряды, учит, как говорит автор, «держаться удар», а макаренковскую «педагогику борьбы» представляет удивительно современной, созвучной нашим сегодняшним поискам.

Время принесло новые трудности и сложности. Не меньше, а возможно, и больше их впереди. Но не будем «пищать», как завещал Макаренко. Будем верить, что пришли времена подлинных, а не показных ценностей, среди которых главная — Человек. Думаю, что тот Макаренко, каким нам его представляет Владислав Ширяев, как раз в такой вере нас и утверждает.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

Поздно вечером, когда дневной жар уже почти впитается в деревья и траву, а небо прожгут по-южному пронзительные летние звёзды, Киев утихомиривается и, как старик, вздыхая от усталости, помаленьку укладывается спать, чтобы утром снова приняться за свои хлопоты.

Из большого четырёхэтажного здания на Рейтарской, однако же, продолжает бодро литься на тротуар, на акации, бегущие вдоль мостовой, электрический свет. Если кто-то подумает, что в Наркомате внутренних дел не успевают к ночи закончить свою молотьбу, то не ошибётся.

Как и во многих учреждениях, в НКВД некоторое время назад тоже создавали бригады НОТ, существовали свои «Лиги времени», но их внимание нацеливалось на низовые звенья в областях и районах Украины — в управление вносились всякие новшества, усовершенствования, чтобы работали там с большей отдачей, но без надсады. И только к аппарату самого НКВД их рекомендации не имели приложения. На то он и наркомат, чтобы денно и ночью печься о других, не заботясь о себе.

Но дело не только в этом.

Мало какой наркомат может сравниться с НКВД по объёму работы и многообразию функций. Что ни управление, что ни отдел, то целая отрасль, причём наиважнейшая: милиция, пограничная и внутренняя охрана, исправительно-трудовые учреждения и трудовые поселения, пожарная охрана, ведение актов гражданского состояния. И уже совсем, казалось бы, не по профилю: геологические изыскания...

До недавнего времени НКВД ещё и осуществлял надзор за деятельностью низового советского аппарата, добровольных обществ и культов, занимался коммунальным хозяйством, административным устройством. Слава богу, хоть эти функции у наркомата забрали, но теперь к нему присоединили ОГПУ, переименованное в управление государственной безопасности. И без того громоздкий и многолюдный комиссариат снова разбух.

Чего стоит хотя бы та работа, которую с позапрошлого года проводит Особое совещание, наделённое исключительным правом — не вынося дела о преступлениях против государства в суд, применять административную ссылку, заключение в исправительно-трудовые лагеря и даже высылку из СССР!..

Скоро уже девятнадцать лет, как свершилась революция, но словно по какой-то зловещей закономерности общественное мнение регулярно будоражат известия об очередной группе врагов Советской власти, обнаруженных на заводах, стройках, в учреждениях, в сельском хозяйстве. В годы гражданской войны это имело объяснение. Но время идёт, а острота борьбы не затихает. В конце двадцатых — мрачный аккомпанемент к реконструкции и коллективизации: «промышленная партия» и «шахтинцы», «кондратьевцы» и «чаяновцы», «капитулянты в маске» и «капитулянты без маски», правые уклоны и левые шатания, оппозиционеры и фракционеры — кажется, не было всему этому конца. Но, напрягая силы, разгромили, обезоружили, обезвредили. Вот уже произошёл громко и торжественно объявленный великий перелом, в который все поверили. Уставшие от многолетней изнурительной борьбы и ожесточённого противостояния, люди приготовились вздохнуть спокойно и свободно на своих пашнях и за своими станками. И снова: «механицисты» и «рубинцы», «деборинская группа меньшевистствующих идеалистов» и «троцкистские контрабандисты», «левые оппортунисты» к «правым оппортунистам», «группа Стэна, Шацкина и Ломинадзе»

и «национал-оппортунистический уклон». Странная смерть Куйбышева и Менжинского. Злодейское убийство Кирова. Контрреволюционный «Московский центр» во главе с Зиновьевым, Евдокимовым, Гертником, Каменевым, оказавшимися заодно с изгнанным из страны Троцким...

Всё это не может не волновать и неминуемо накладывает отпечаток на всё, чем живёт наркомат. Как и все остальные люди, сотрудники наркомата ещё не забыли времена, когда стояли в очереди за хлебом и селёдкой, не забыли безработицу и нехватку керосина. И обретённой совсем недавно уверенности, что самое трудное позади, так много, оказывается, противостоит! Сколько вокруг замаскировавшихся, затаившихся! И снова встал трудный и сложный вопрос, не менее острый, чем в годы революции и гражданской войны: кому доверять, а кому не доверять?

Вот почему Наркомат внутренних дел трудится круглые сутки. Поиному пока не получается. Днём — совещания, заседания, согласования, общение с иными ведомствами. А с вечера начинается иная круговерть. Соборания, политзанятия, служебная подготовка. Кто-то кого-то вызывает, кто-то с кем-то встречается. В эти часы одни получают благодарности и повышения, другие — наоборот, взыскания и понижения. С особой интенсивностью протекает телефонная жизнь: отчёты и доклады — снизу вверх, вопросы и указания — сверху вниз.

По неписаному правилу уйти с работы раньше полуночи считается проявлением плохого тона. Случаи, когда не оказывается под рукой вдруг понадобившегося сотрудника, ответственного за ту или иную линию, крайне редки. Но каждый из них впоследствии ещё долго вспоминается к месту и не к месту. Аппаратный фольклор хранил, например, вроде бы анекдот, но весьма похожий на правду, об одном из руководителей, обрушившемся на подчинённого, имевшего обыкновение уходить со службы раньше других:

— Своей смертью умереть хочешь? Не дадим!

Так что до полуночи домой лучше не торопиться. А там уж, как говорится, действуй по обстановке.

Но вечер есть вечер. Даже если ты двуличный, к исходу суток какие-то колёсики в организме начинают пробуксовывать, и человек становится похож на автомобиль, который приподняли над землёй: мотор работает, всё крутится, а машина стоит на месте. Толку от большинства сотрудников

в это время, пожалуй, мало, но не даром же утверждают, что за компанию и монах женился.

Так что у кого ещё хватает сил, пытаются делать какую-то не требующую большого напряжения работу, тянут бумажную ляжку. Другие коротают время за шахматами, в последнюю зиму заразившими почти каждого. Третьи, из кого день выжал всё, что было можно, решают кулуарно проблемы, как правило, касающиеся их самих меньше всего, а то и вовсе не касающиеся. Прогнозируются, например, кадровые передвижения, которые по странному совпадению чаще всего и происходят в соответствии с этими досужими прогнозами. Тут легко разрешили бы самые сложные вопросы мирового значения, если бы, конечно, кулуарные мнения принимались кем-либо всерьёз. Здесь происходит то, против чего почти на каждом аппаратном совещании замначальника секретариата Стрижевский ополчается, гневно воздымая руки:

— Не понимаю... Все знают, где работают... Ведь эн-ка-вэ-дэ! Но чем секретнее работа подразделения, тем больше о ней говорят... Мы тут ещё только задумаемся о чём-то, а уж весь аппарат обсуждает...

В отделе трудовых колоний и без призывов Стрижевского помнят о специфике наркомата, но и без того запретные темы тут не особенно в ходу: их подопечные, особенно несовершеннолетние, далеки от политических дел, хотя и правонарушители. Но собраться в полуночные часы вместе в отделе тоже любят.

Обычно это происходит в кабинете (не кабинете даже — небольшой комнатке, в которую с трудом втиснуты стол, сейф и несколько стульев) помощника начальника отдела Антона Семёновича Макаренко. Традиция не такая уж давняя, поскольку Антон Семёнович в НКВД меньше года. Однако к ежевечерним сборам у него привыкли как-то сразу и незаметно.

Искать причину, почему собираются здесь, а не где-то ещё, долго не надо. Во-первых, хозяин кабинета не скажет никогда, что ему недосуг и что его отрывают от дел. Наоборот, ему работалось гораздо продуктивнее, когда рядом люди. Долголетняя привычка: пятнадцать лет он проработал в специальных учреждениях для перевоспитания несовершеннолетних — в колонии имени Горького и коммуне имени Дзержинского, в шумных ребячьих муравейниках,

где трудно остаться наедине хоть на минуту.

Кстати, это обстоятельство — долголетняя работа Макаренко в колонии и коммуне — и есть вторая причина, которая притягивает в его кабинет сотрудников отдела. В прошлом году, после постановления ЦК партии и Совнаркома о ликвидации в стране детской беспризорности и безнадзорности, отдел значительно вырос числом, и большинство новичков — молодёжь, пришедшая по направлению партии и комсомола. И хотя Макаренко, как и они, тоже недавно переседлал лошадей, в новом деле разобрался быстрее и глубже других. Сказываются опыт, возраст и, очевидно, ещё многое.

Импонирует сотрудникам отдела трудовых колоний и то обстоятельство, что Макаренко — автор «Педагогической поэмы», о которой много печатают в газетах и журналах. Каждому из них кое-что перепадает от писательской известности Антона Семёновича. Знакомые и в наркомате, и за его пределами интересуются, а что он за человек, да что представляет собой как администратор, а услышав в ответ, что вопреки популярности ведёт себя скромно, что не жалеет себя ради дела и умеет постоять за свои точки зрения, даже светлеют:

— Эге ж, головастый чоловьёга! Крутого помола! В самом отделе кое-кто не успел в числе первых прочесть «Поэму», но и они теперь цитируют её целыми страницами. Когда хотят кого-то похвалить, говорят:

— Как сказали бы пацаны Антона Семёновича, «ни одна блоха не плоха»...

Не жалуются на усталость, а выражаются длинным периодом:

— Калина Иванович в этой ситуации спросил бы: «Колы вже покой будэ людям?»

Выражения «кабинетные редуты», «педагогический Олимп» и ещё многие, почерпнутые из романа, заметно оживляют отделский лексикон.

Где-где, а в Наркомате внутренних дел хорошо знают, какая сложная штука — переплавить личность преступника, и, признав в Макаренко мастера в деле воспитания, постоянно обращаются к нему как к эксперту, одолевая вопросами по поводу неувязок с собственными чадами.

Вообще говоря, Макаренко, как все заметили, не обладает так называемой душой нараспашку, не открывает её первым попавшимся ключом. Качество это поначалу

было принято за скрытность, но постепенно все поняли, что оно объясняется глубокой внутренней работой, которая в нём идёт постоянно, а ещё тем, что впечатление, которое он производит на окружающих, разное как и вообще всё личное, для него не имеет равным счётом никакого значения. Главное, судя по всему, это то, ради чего и он, и все остальные тут собраны.

По той же причине, о которой говорил без усталости замнач секретариата Стрижевский, в отделе узнали, к примеру, что, привезя в Киев жену, Галину Стахивну, и племянницу Лилю, которая воспитывается в семье Макаренко, сам Антон Семёнович тут же укатил по неотложным служебным делам в Волчанск. А те остались посреди трёхкомнатной квартиры с тюками книг, пишущей машинкой и скрипкой Антона Семёновича и собственными одедами в нераспакованных чемоданах. Так бы и сидеть им: ни мебели, ни посуды — ничего, если бы не Серёжа Бронева, директор стадиона «Динамо». Бронева был знаком с Антоном Семёновичем и, видно, хорошо знал, сколь малую роль играют в жизни Макаренко личные удобства. Серёжа быстро раздобыл у наркоматовских хозяйственников немудрёную мебель на первый случай, а потом снарядил на несколько дней свою жену по магазинам искать вместе с Галиной Стахивной всё необходимое.

Другим событием, которое дружно прокомментировали в отделе трудовых колоний, было получение Макаренко первой зарплаты.

Заступил он на должность в начале июля. И лишь в конце августа обнаружилось, что никто его ни разу не видел у окошечка кассы, где сотрудникам выдавали денежное содержание.

Закончив как-то деловой разговор с сотрудниками, Антон Семёнович вдруг спросил;

— Хочу узнать... А где у нас... это...

— Что — «это»?

— Ну... Где получают зарплату, будь она неладна. Кажется, и мне положена.

В финчасти, куда сослуживцы адресовали Макаренко, молоденькая бухгалтер порылась в бумагах и, не найдя там его фамилии, спросила:

— А вы что, у нас в штате состоите?

Лев Соломонович Ахматов, начальник отдела трудовых колоний, прознав о приключившемся курьёзе, спохватился: ещё два месяца назад, после беседы у замнаркома

по кадрам о назначении Антона Семёновича на должность, надо было оформить соответствующие документы. Но он, Ахматов, как-то выпустил эту формальность из поля зрения, а сам Макаренко и вовсе вопроса о ней не возбуждал.

Лев Соломонович помчался в административно-хозяйственное управление, чтобы исправить свою оплошность. Документ, с которым он оттуда вернулся, в отделе видели и теперь его содержание, естественно, было известно всем. «Товарищ Семёнов! — написал начальник управления. — Отдайте в приказ. Макаренко считать на работе с 1.VII. Иначе финотдел не выплачивает ему зарплату».

Водятся за Антоном Семёновичем и другие, можно сказать, крайности, вызывающие кое у кого желание посудачить о нём.

Раньше всех придёт утром, позже всех погасит свет. Одежда всегда — словно только что из-под утюга, сапоги хоть и старенькие, с глубокими трещинами и на головках, и на голенищах, но блестят, словно праздничный самовар. Уходя из помещения, не оставит, как некоторые, на столе ни единой бумажки, опрокинет в урну окурки из пепельницы, выстроит по ниточке стулья вдоль стены, закроет форточку. Редкостный педант, казалось бы, а недавно выкинул такую шутку, что весь наркомат несколько дней покатылся со смеху. Направил в Москву запрос: могут ли прислать ему газетные вырезки о дураках? Зачем они понадобились, неизвестно. Но дело не в этом. Интересуется дураками! Самое забавное, что в отделе газетных вырезок тоже оказались люди с юмором: ответили, что готовы выполнить заказ, только просили уточнить, какого типа дураками он интересуется.

Но это так, забава. Кое-кто из наркоматовцев косится на Макаренко, зная такую пикантную подробность в его личном деле, как живущий во Франции брат-белогвардеец, к тому же служивший в денкинской контрразведке. Тут уже не до шуток. Конечно, теперь считается, что брат за брата не отвечает. Но, утверждают, в молодости братья были дружны, а когда младший оказался в эмиграции, несколько лет переписывались. О чём? Взяв Макаренко на службу (в НКВД — не куда-нибудь!), руководство, вероятно, учло это обстоятельство и доверяет помощнику начальника отдела трудовых колоний, несмотря на изъяны в анкете. Но определённую часть сотруди-ников это всё равно настораживает.

Здесь скорее не поверят, а потом изменят мнение к лучшему, чем поверят, чтобы после разочароваться, а то и обмануться.

Поговаривают и о супруге Антона Семёновича Галине Стахивне, что в тридцать третьем году она выбыла из партии вовсе не по болезни, как объяснил это Макаренко, а скорее всего по каким-то иным причинам. Безусловно, её туберкулёз — дело не шуточное, но ведь и больна она не до такой степени, чтобы отойти от забот партии, в которой состояла с семнадцатого года. Не объясняется ли это её дворянским происхождением? Да, были её родители неимущими, хлеб насущный добывали учительским трудом, но дворяне есть дворяне. Что же касается якобы участия их в народническом движении, о чём сообщил Макаренко в анкете, то за давностью лет сей факт ни подтвердить, ни опровергнуть невозможно.

Но все эти противоречия, однако, интерес к Антону Семёновичу не только не убавляют, но и наоборот — усиливают.

Вечерние беседы в его кабинете вяжутся, конечно, вокруг дел служебных, но постоянно срываются, несутся бесчисленными путанymi лабиринтами самых разнообразных и неожиданных тем. Как бы ни был Макаренко немногословен, почти сразу после его прихода в отдел в нём обнаружили осведомлённость едва ли не в любой области знаний. Но соль общения с ним даже и не в этом. Самое поразительное, что, кажется, нет того, о чём у него не составлено собственного мнения, довольно часто — противоположного мнению большинства.

Тон в разговоре задают обычно самые молодые — «два Коли», как называют Колю Прейслера и Колю Савчука. Оба сошлись на общей почве: Савчук любит послушать, Прейслер — поговорить.

Были в отделе ещё тёзки — Оселок и Суржик, оба Павлы. Правда, тёзками они как-то не воспринимались, поскольку первый из них носил усы и бородку клинышком и величался всеми по отчеству — Адольфович. Суржик же был просто Пашей, Павлушей, Павликом, хотя успел закончить техникум, послужить в армии и имел в кармане партийный билет в отличие от беспартийного Павла Адольфовича.

Эти двое были, как все остальные, просто сотрудниками. Прейслер же и Савчук — любимцами.

По-юношески худенький, подвижный Прейслер обладает неунывающей уверенностью, что жизнь удивительно хороша, постоянно докучает окружающим вопросами и с энергичной радостью делится всем, что успевает впитать в себя восторженная и настежь открытая душа.

Крепыш Савчук, наоборот, уважает завет Шекспира не судить о жизни, не прожив её. Он и говорит тишайшим голосом: даже когда возражает кому — почти шепчет. Застенчивость не мешает ему тем не менее быть человеком основательным и во всех отношениях надёжным. Он неспешно входит в любое дело, осмотрительно продирается сквозь джунгли возникающих на его пути противоречий и трудностей и часто приходит к цели быстрее, чем экспрессивный Прейслер, которому порой мешает его безоглядность.

Их общение окрашено каким-то неуловимым очарованием молодости, неистраченной силы и искренности. Оба такие разные, молодые люди, сами того не замечая, словно заполняют цементом пространство между камешками-личностями в отделе. Антон Семёнович, судя по всему, привязался к ним обоим.

Вот закончились манёвры Киевского и Белорусского военных округов. По этому случаю в Киеве на стадионе «Динамо» организовали грандиозный концерт. Попастъ туда выпало немногим из наркоматовцев. Присутствовали Ворошилов, Будённый, Петровский, Постышев, Косиор, увидеть которых жаждали, кроме военных, имевших прямое отношение к манёврам, всё. Но, зная о близких отношениях Макаренко с Серёжей Броневым, ответственным за это мероприятие, Прейслер и Савчук отважились:

— Антон Семёнович...

Макаренко не дал долго уговаривать себя, хотя сам на концерт не пошёл. На другой день в отделе только и разговоров, что о концерте.

— Нет слов! — восторгается Прейслер. — Услышали всех звёзд киевской оперы: Донца, Литвиненко-Вольгемут, Паторжинского, Гайдая. Одна Леночка Ландау чего стоит с её украинскими и итальянскими народными песнями! Если бы не романсы...

— А что романсы? — интересуется Макаренко. Прейслер закипятился:

— Это ущербное искусство! Это антинаше искусство! Он любит приставку «анти» и постоянно употребляет её

где надо и где не надо: «антикультура», «аптиправильно», «аптидрузья»...

— Что же в нём ущербного? — с сомнением жмёт плечами Антон Семёнович, и тон его словно бы остужает горячую реплику молодого человека. — Конечно, романс несколько размягчает душу. Но зато какая мелодичность!..

И принимается излагать историю русского романса — чем отличалось пение «божественной Вари Паниной» от исполнения примы столичной оперетты Натальи Тамара, какая разница в манерах чистой «цыганщины» с тем, как пела Анастасия Вяльцева...

В другой раз кто-то помянул о выставке художников Украины, проходившей в те дни в Киеве. Антон Семёнович, уловив чутким ухом в перепалке что-то такое, с чем не мог согласиться, произносит;

— Конечно, эта картина несёт серьёзную смысловую нагрузку, но ведь и техника исполнения должна быть на достойном уровне! Вдумайтесь: недаром этот вид искусства называется — жи-во-пись! Нашим нынешним художникам с их склонностью к плакатным решениям как раз хорошей, тонкой техники и не хватает, к сожалению. Есть содержание, есть идея, а вот того, чтоб картина была живой, дышала, — всё же нет...

Словам Антона Семёновича придаёт особый вес то обстоятельство, что в молодости он и сам провёл немало времени за мольбертом. Те, кто бывал у него на квартире, видели несколько портретов и пейзажей, висящих в гостиной. От Галины Стахивны узнали, что написаны они Антоном Семёновичем. Картины сделали бы честь любому профессионалу, однако же вот какой Макаренко: испробовав силы в живописи, оставил это занятие, потому что средний уровень его не устраивал, а подняться выше не было возможности.

Приставучий Прейслер словно бы взялся проверить долготерпение Антона Семёновича своими вопросами. Даже о литературе говорить не опасается. И с кем! А Антон Семёнович, с лёгкостью дав ему возможность спровоцировать себя на спор, непременно скажет такое, что поубавит в Прейслере самоуверенности.

— Вот вы недавно читали — я видел — «Республику ШКИД». Что скажете? — спрашивает Макаренко.

— Ну что? Хорошая книга, жизненная, написана с юмором. Учитель Викниксор там симпатичный.

— Значит, вас всё в этой книге устраивает?

Прейслер жмёт плечами.

— А не показалось ли вам, что авторы добросовестно нарисовали картинку педагогической неудачи? — спрашивает Антон Семёнович. — Вам не бросились в глаза какие-то умопомрачительные духовные прыжки Викниксора? Ещё немного — и он ударился бы по воле авторов в блатную экзотику, чем нынче грешат многие даже и талантливо написанные произведения...

— Какие?..

Ну, те же «Правонарушители» Сейфуллиной, «Вор» Леонова... Разве вы не замечали, что большинство писателей из всех сил разукрашивает павлиньими перьями вора, преступника, беспризорного? А для положительного героя-воспитателя красок не хватает...

— Н-ну, — с некоторым сомнением жмёт плечами Прейслер, — может быть...

— Герои этих книг — дефектные люди, — убеждённо продолжает Макаренко, — Но ведь это же форменная чушь! Нам-то с вами известно, что дефектны, не люди, а отношения. Человек в своём существе не дефектен! Просто прекрасное в нём скрыто под слоем душевной грязи. А глазное, что сейчас, как никогда, литература должна проектировать завтрашний день, призывать к нему, показывать его. Согласны?

Все удивляются, как, сидя в медвежьих углах, в колониях несовершеннолетних, занятый там всем на свете — и хозяйством, и школой, и производством, и кадрами воспитателей, и ещё многим-многом, что заставляет заведующего колонией работать за целое учреждение, Антон Семёнович успел приобрести такие широкие и всесторонние познания. Он на память цитирует Ключевского, Покровского и Соловьёва, в спорах обнаруживает прекрасное знание работ не только Маркса и Ленина, но и Лафарга, Михайловского, Плеханова, ссылается на философские труды Локка и Шопенгауэра, Ницше и Гегеля, Штирнера и Бергсона, на книги по психологии мало кому известных авторов — Петражицкого и Лазурского, по логике — Челпанова, Минто и Троицкого. В близком знакомстве состоит с лучшими киевскими и харьковскими актёрами, дружит с Горьким, переписывается с другими писателями.

Впрочем, чему тут удивляться! Абсолютное большинство сотрудников наркомата принадлежало, как и Макаренко, к интеллигенции в первом поколении, а такие люди во все времена подобны путнику, нашедшему колодец

в раскалённой пустыне: жадно, взахлёб поглощают знания, словно беря реванш за не утолявшуюся веками духовную жажду своих предков.

Но интеллигент интеллигенту — рознь. Среди нынешней новоиспечённой интеллигенции немало таких, кто приобщался к знаниям на каких-нибудь курсах или учился по ускоренной, а значит, упрощённой, укороченной программе, потому кое для кого Гоголь, Гегель и Бебель — то же, что Бабель, а опера отличается от оперетты тем, что в первой только поют, а во второй ещё и говорят, и танцуют. У Макаренко же за душой дореволюционный институт — уже это кое-что значит.

Он поклоняется знаниям, как истовый язычник. Страсть к новому знанию у него прямо-таки доходит до болезненной: увидит незнакомую книжку — ни за что не успокоится, пока хотя бы не просмотрит её. Даже когда в начале двадцатых годов он вместе с пятью единомышленниками в колонии имени Горького сутками напролёт только и занимался, что отмывал коросту и чесотку с беспризорников, боролся со вшами и сыпняком, латал дыру на дыре в убогом колонийском бюджете, старался накормить воспитанников хотя бы так, чтобы они перестали воровать от голода еду в окрестных сёлах, — даже и тогда он, как рассказывают, ухитрялся следить за новинками литературы и был в курсе всех событий культурной жизни. Видно, считал, что времени у людей не хватает только на то, на что они сами не хотят его тратить.

Случается, беседы у него принимают такую остроту, когда в иной обстановке, в ином месте кое-кто предпочёл бы уйти от греха подальше. К людям, в чём-то сомневающимся, в НКВД относятся если не с сомнением же, то уж, во всяком случае, прохладно. Но Макаренко позволяет себе суждения, уместные где угодно, но только не в НКВД.

Однажды, приглаживая на ходу вечно торчащий дыбом чуб, Прейслер зашёл к Антону Семёновичу попросить материал к завтрашнему занятию по исправительно-трудовому кодексу. Застал у него Сивчука, сидевшего в уголке за чтением какой-то брошюры. Тихонько затворив за собой дверь, он подсел к приятелю. Макаренко поначалу не обращал на них внимания, продолжал свою работу — как всегда, плотно сжав тонкой полоской губы и сощулив глаза, что-то писал.

— Готовишься? — шёпотом спросил Коля приятеля.

Тот молча кивнул головой.

— Между прочим,— отвлёк его Прейслер,— вычитал недавно интересную вещь. В странах ислама законом установлены физические наказания. За намеренное причинение увечий, например, виновного приговаривают к аналогичному увечью. За прелюбодеяние, за развратные действия, за преступления против ислама — за всё физические наказания: битьё головы, забивание камнями, удары плетью, выбивание зубов, отрезание ушей.

— Ну и что? — не отрываясь от брошюры, бросил Савчук.— Многим ли гуманнее обстояло с этим делом в православной России?

— У нас до такой дикости не доходили.

— Разве? А вырывание ноздрей? А клеймение каторжных? А битьё кнутом? А шомполы в армии? А работа в кандалах? А одиночки Шлиссельбурга и Петропавловской?.. А не веками ли складывалась философия: «Око за око, зуб за зуб»? Или ты думаешь, что ниоткуда взялась пословица: «Бьют не ради мучения, а ради учения»? Да и сейчас, как ты знаешь, кое-где не особенно-то церемонятся.

— Говорите громче, Коля,— подал голос Макаренко.— Я всё равно вас слышу.

Он поднял голову от своих бумаг и с интересом посмотрел на молодых людей. Савчук запнулся.

— Что значит — не церемонятся? Что ты имеешь в виду? — вспыхнул, насторожившись, Прейслер.

— А то! — уклонился от ответа Савчук, потому что как раз в это время в кабинет вошли другие сотрудники отдела— Суржик и Оселок. Уловив, о чём перепалка, уселись, с любопытством прислушиваясь к беседе.

Любой другой на месте Антона Семёновича пресёк бы полемику на корню. Не принято в наркомате вести разговоры на эту тему. Даже самому тёмному селянину должно быть известно, что создаём новый мир в окружении врагов, которые только тем и заняты, что хотят отнять у нас добытое в кровавой борьбе. И что граница с ними проходит не только там, где обозначена на карте. Она прошло через Смольный, когда там из-за угла убили Кирова, через фабрики и заводы, куда пробираются шпионы и вредители, через железнодорожную станцию, где фашистский наймит потихоньку снимает план путей и зданий, через колхозную кладовую, откуда расхититель тащит общественное зерно. Какие же могут быть церемонии с такими,

с позволения сказать, людьми?

Макаренко должен понимать это не хуже иных, но тем не менее кидает реплику:

— Так спор не ведут, Коля. Спор без аргументов — не спор, а заурядная кухонная ссора. Что вы имеете ввиду? — повторил он вопрос Прейслера.

— А вы не встречали, Антон Семёнович, подследственных в коридорах наркомата? — вопросом на вопрос ответил, нахмурившись, Савчук.

Макаренко не отвечает. Да и зачем отвечать? Конечно, встречал, потому что и другие встречали тоже. Но вопросом, отчего у арестованных такой изнурённый вид, почему их допрашивают главным образом по ночам, особо-то никто не задаётся. Значит, так надо. Что касается слухов, будто следователи частенько прибегают к недозванным методам, то, во-первых, слухи эти наверняка преувеличены, а во-вторых, если и есть нарушения законности, так ведь с ними борются: время от времени НКВД издаёт приказы об искоренении грубого обращения с арестованными и заключёнными. Есть случаи, когда следователей снимали с работы и даже отдавали под суд.

И потом, раз уж зашла речь об отношении к преступникам, не мешало бы Савчуку помнить, что страна не мстит им, не обрекает на страдание. Ни клейма на них — физического или морального — нет, ни препятствия, чтобы встать вровень со всеми. Общество не сбрасывает заблудших со своих счетов. Любой у нас может приносить пользу людям. Тот же Беломорканал. Страна доверила строить невиданную, грандиознейшую, каких нет нигде в мире, водную трассу бывшим ворами и расхитителям, вредителям и кулакам. Не так давно в отделе знакомились с обзором о деятельности исправительно-трудовых учреждений, там приводились цифры — куда красноречивее: Беломорстрой воспитал более тридцати тысяч опытных бетонщиков, арматурщиков, почти шестьдесят тысяч человек получили снижение сроков заключения, двенадцать тысяч досрочно освобождены. А несколько десятков человек награждены орденами!

Обо всём этом, наверное, и должен был Макаренко напомнить молодому сотруднику. Но он не поторопился с ответом. Достал из портсигара папиросу, медленно прикурил, сделал глубокую затяжку.

У него редкостно голубые глаза. А если сердит, если глубоко задумчив, озабочен, они утрачивают нежную свою голубизну, становятся стальными, холодными. Что-то в нём произошло и тут: он вперился в молодых людей долгим и упорным взглядом — выдержать такой непросто.

Истолковав его молчание по-своему, Савчук решил, видно, что зашёл слишком далеко, и попробовал отступить;

— Конечно, НКВД — не курортная регистратура. Как бы там ни было, а мы принуждаем людей расплачиваться за то, что они провинились перед обществом. А тут уж, как я понимаю, не до сантиментов.

— Речь, конечно, не о сантиментах, — глухо проговорил наконец Макаренко. — Я вот сейчас почему-то подумал о своих питомцах... Вы, конечно, знаете Семёна Калабалина, заведующего нашей колонией в Виннице, бывшего горьковца. В двадцатом, между прочим, он верховодил конной бандой на Полтавщине. А теперь — педагог, каких поискать. А Марк Шейнгауз — помощник заведующего Днепропетровской колонией? И у него прошлое не без изъяна.

Вспомнились мне Митька Жевелий — штурман в Арктике, Оля Воронова — партийный работник в Полтаве, Алёшка Новиков — секретарь райкома партии, Олег Огнев — строитель Турксиба, Колька Вершнев — врач в коммуне имени Дзержинского. И ещё многие и многие. Одних только лётчиков среди бывших горьковцев больше тридцати человек. Тысячи разошлись по Советскому Союзу. Женились, имеют детей, все нашли себе профессии... Как вы думаете: а стали бы они такими, если б подошли к ним не с верой в них, как это было на самом деле, а со средневековыми изуверствами?

Вы скажете: частные примеры, в частном всегда есть нечто исключительное. Что наказание есть наказание. И законодательство ориентирует на сочетание кары и воспитания. Приоритет, как видим, за карой. Что я скажу? Может, с политической или юридической точки зрения это чем-то оправдано; не знаю. Я не юрист, не политик, чего-то недопонимаю. Но я педагог. И в своей работе всегда руководствовался верой в человека, в лучшее в нём, старался уважать в воспитаннике его достоинство, как бы низко он ни пал. Считаю, что именно такой и должна быть основа нашего, советского стиля в работе с правонарушителями... Часто думаю: а

всегда ли оправданна наша суровость к ним? Ведь обстоятельства, на которые вы намекаете, Коля, — они дети принципа: «Виноват — страдай!» Есть в нашей суровости и другие противоречия...

— Противоречия? — уточнил Прейслер.

— Именно! Судите сами. Мы хотим вернуть оступившегося обществу — и изолируем его от общества. Откуда же появится в нём осознание наших общих забот? Мы хотим, чтобы он стал личностью активной, а его перевоспитание основано главным образом на запретах и ограничениях: того не делай, этого не смей. Как же он приобретёт навыки активности?

— Что же, выходит, надо закрыть колонии? — недоумевает Прейслер.

— Ну, пока рано...

— Антон Семёнович, — спросил Савчук, — и вы видите, как это будет — без колоний, и вообще... без всего этого?

— Вижу, Коля, — не сказал, почти выдохнул Макаренко. — Вижу. Иногда до галлюцинаций, до боли в сердце...

Разговор этот вызвал в отделе мнения самые крайние.

Одни, продолжая тему, рассуждали: да, усиление карательного уклона в деятельности НКВД как-то не совсем вяжется с лозунгами о том, что советский строй — самый гуманный и демократический в мире. До недавнего времени, к примеру, обходились без того, чтобы отдавать под суд несовершеннолетних, но вот в августе прошлого года ни с того, ни с сего вдруг принимается закон, по которому теперь их судят наравне со взрослыми. Кулаки, шпионы, расхитители, спекулянты — с ними всё понятно. Но дети!..

Другие возражали: Антон Семёнович явно перехватывает через край, требуя сострадания к тем, кто вставляет палки в колёса социализму. Товарищ Сталин прямо указывает, что остатки умирающих классов расплозились и укрылись, ненавидя Советскую власть, испытывая лютую вражду к новым формам хозяйства, быта, культуры, и, чуя последние дни своего существования, сопротивляются всеми силами, всеми средствами. Так что, пока имеется капиталистическое окружение, пока есть вредители, классово чуждые элементы, нужно держать порох сухим. И все эти благодушные разговоры, розовые мечтания делу не на пользу.

Третьи предпочитали помалкивать, считая, что коллеги вторгаются в запретное. Вожди разберутся, что к чему. Им виднее, какими способами вести борьбу, на то они и вожди. Поговорить об искусстве, о погоде, о рыбалке — пожалуйста, всё же остальное — извините подвиньтесь... Никто не может дать гарантии, что кому-то не придёт на ум истолковать какие-то их слова превратно. Хорошо, если без последствий. Когда чуть ли не в каждом видят непойманного преступника и вредителя, такое тоже не исключено.

Доходили или не доходили до Макаренко все эти суды-пересуды, сказать трудно, скорее всего нет, потому что к суждениям его осторожности со временем не прибавляется. Маленький кабинетик на втором этаже, выходящий на раскидистый каштан во дворе, с неизменным постоянством притягивает к себе усталых полуночников. Пусть разговоры иногда заводят в тупик — всё равно тут чувствуешь себя как на корабле, который ведёт опытный лоцман: как бы ни штормило, рано или поздно окажешься в тихой, безопасной гавани.

2

Сегодня вечером Коля Прейслер уже дважды толкался в дверь Макаренко — из неё так же сиротливо торчал ключ, с которого свисал на колечке алюминиевый четырёхугольничек с номером кабинета.

— Антон Семёнович у Ахматова, — прощebetала, пробегая мимо, секретарь отдела Тамара Букшпан. — Кажется, там баталия...

«Какие ещё могут быть баталии у Ахматова с Макаренко?» Он, как и все, знал, насколько единодушны начальник отдела и его помощник.

У Ахматова биография тоже незаурядная. Воевал в Первой Конной, после гражданской войны громил банды, организовывал милицию на Житомирщине и в Каменец-Подольской области, руководил каким-то серьёзным строительством на востоке, успел окончить Высшую школу НКВД в Москве. В отделе его уважали за героическое прошлое, за организаторскую хватку, но приоритет в области знаний принадлежал, конечно, Макаренко. Сам Ахматов часто принародно говорил: «Ну что бы мы делали без вас, Антон Семёнович?» Редко какой документ уходил из отдела, не пройдя через руки Макаренко. Самые сложные доклады для руководства управления писал, разумеется, он же.

Выслушав очередное предложение подчинённого, Ахматов обычно спрашивал: «С Антоном Семёновичем советовались?..»

Прейслер посмотрел вслед Тамаре, впорхнувшей в какой-то кабинет в конце длинного, освещённого двумя тусклыми лампочками коридора, и ещё раз безнадежно посмотрел на торчащий из двери ключ. «Какие могут быть у них баталии?» — снова подумал он и, пожав плечами, вернулся в свою комнату.

Но Прейслер ошибался. Отношения Ахматова и Макаренко не были простыми и, как все думали, безоблачными. Особенно в последнее время. Просто они не любили выносить их наружу. И сейчас Букшпан слышала через обитую дерматином дверь, как время от времени взрывался ударом колокола глухой голос Макаренко.

До прошлого лета Ахматов и Макаренко знакомы были лишь заочно. Лев Соломонович много слышал о «чародее из-под Харькова», который творил у себя в коммуналке имени Дзержинского, как свидетельствовала молва, настоящие педагогические фантазии. Антон Семёнович не раз видел подпись Ахматова под директивами НКВД. Встретились и познакомились лично, когда Макаренко попал в ахматовский кабинет, будучи вызванным из Харькова неожиданной телеграммой: «Срочно прибыть к месту новой службы в Киев, в НКВД». Произошло это вскоре после того, как было принято постановление ЦК и СНК о ликвидации детской беспризорности и безнадзорности.

Антон Семёнович ещё не вполне понимал, зачем и почему его отрывают от пацанов, от дела, потерять которое означало бы для него предельное несчастье. Он прямо сказал Ахматову и об этом, и о том, что плохо представляет себя на административной работе, да ещё такого объёма. Сколько помнит себя — в разных кабинетах только и делал, что «возмущал спокойствие», и, кажется, действительно умел это. Оказаться привязанным к столу, к бумажкам — нет, такого он совсем не представлял. И если уж уходить с педагогического поприща, то поступить по совету Алексея Максимовича Горького: позади тридцать лет практической работы, и он давно испытывает потребность поразмышлять о сделанном с писательским пером в руке. Судя по «Педагогической поэме», две части которой уже вышли в свет и не очень уж обруганы критикой, это дело у него тоже получается.

Ахматов слушал его с вниманием. Но, не удостоив комментариями доводы Антона Семёновича, принялся подробно расспрашивать о колонии имени Горького и о коммуне. Многие вопросы показались Антону Семёновичу интересными. Верно ли, спрашивал Ахматов, что нынешние несовершеннолетние правонарушители поддаются перековке труднее, чем те, которые приходили в колонию после революции? С чем это связано? А как вообще Антон Семёнович оценивает влияние преступной среды на формирование малолетних правонарушителей? А чем объясняет тот факт, что преступления несовершеннолетних часто отличаются бессмысленной жестокостью?..

Когда же снова вернулись к теме предполагавшегося назначения Макаренко в отдел трудовых колоний, Ахматов сказал:

— Партия, Антон Семёнович, приняла важнейшее постановление. Никто и нигде столько не дал детям, сколько мы за восемнадцать лет Советской власти. Однако же смотрите: воруют, грабят, убивают, хулиганят, беспризорничают... У вас была замечательная лаборатория в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского, вы многое нашли там такого, до чего никто не додумался. Цена вашему опыту — громадная. Теперь вам представляется возможность осуществить ваши смелые эксперименты в масштабах республики... Заманчиво? Вот и давайте оставим позади ваши сомнения и колебания и, как говорится, ударим по рукам. Завтра нас ждёт для беседы заместитель наркома...

И весь разговор, добросердечный и откровенный, и то, что перед Антоном Семёновичем открывалась перспектива утвердить свои педагогические идеи в детских учреждениях всей Украины, и доверие, которое ему оказывали, — всё это заставило согласиться.

Постановлением ЦК и Совнаркома Наркомату внутренних дел передали колонии несовершеннолетних, принадлежавшие раньше Наркомпросу и Помдету. В этом решении, безусловно, таилась некоторая опасность: не превратились бы учреждения воспитательные в учреждения тюремного типа, ведь трудно ожидать от НКВД того, чего они не умеют. Но другого выхода не было: НКВД единственное ведомство в стране, способное повести наступление на беспризорность и безнадзорность дружным, широким фронтом, как оно уже не раз решало и другие важнейшие проблемы.

На новом витке, на новом уровне предстояло продолжить дело, начатое в двадцать первом году «всероссийским попечителем о детях» — Дзержинским, ВЧК.

Тогда, в начале двадцатых, ничуть не оправившись от разрухи, отчаянного голода, самой крайней нищеты, страна взяла на себя заботу о двух с лишним миллионах несовершеннолетних беспризорных детей, выброшенных на обочину жизни опустошительнейшими войнами, империалистической и гражданской. Многие и многие ведомства делали всё возможное и невозможное, чтобы накормить, обогреть, одеть их и окружить душевным теплом. Но что могла сделать та же организация «Помощь детям», когда даже красноармейцы порой носили лапти вместо сапог и ботинок, когда, случалось, на предприятиях и в учреждениях месяцами не выдавали зарплату? Жалкое, нищенское существование влачили и детские дома. Чтобы хоть как-то свести концы с концами и иметь средства на воспитание своих подопечных, Помдет содержал бакалейные магазины, мастерские по изготовлению плетёной мебели, кинотеатры, увеселительные сады и даже игорные дома с рулетками: десять процентов от получаемых доходов тратились на детей.

Антон Семёнович в «Педагогической поэме» с грустью писал об одном отнюдь не худшем деятеле Помдета: «...был покрыт паразитами: коммерсантами, комиссионерами, шарлатанами, крупье, жуликами, шулерами и растратчиками, и мне от души хотелось подарить ему бутылку сабадилловской настойки. Он давно уже был оглушён различными соображениями, которые ему со всех сторон подсказывали: экономическими, педагогическими, психологическими и прочими, и прочими, и потому давно потерял надежду понять, отчего в его колониях нищета, повальное бегство, воровство и хулиганство, покорился действительности, глубоко верил, что беспризорный — это соединение всех семи смертных грехов и от всего своего былого прекраснодушия оставит только веру в светлое будущее...»

Конечно, и в тех условиях удалось создать несколько образцовых детских учреждений, которые во многом предвосхитили поиски того, что требовалось для решения проблемы. Люберецкая и Болшевская коммуны в Подмосковье, Харьковская и Прилукская на Украине и ещё несколько, которые восхваляли на все лады, были тем не менее островками, затерявшимися в море материальной скудости и организационной неразберихи. Чётких

теоретических установок, как строить работу в колониях, не было. Дореволюционный опыт не годился, новую методику создать не успели. Каждое ведомство руководствовалось собственными соображениями и теориями, породившими полный разнбой в работе.

Одни колонии были организованы по образцу и подобию взрослых исправительно-трудовых учреждений — со всеми вытекающими отсюда последствиями: охрана, забор, строгость режима. Другие, особенно наркомпросовские, скорее походили на плохие, развалившиеся приюты для сирот с беспомощным во всех отношениях персоналом. В одних считалось, что мальчики и девочки должны воспитываться вместе, в других — что совместное содержание не только нежелательно, но и невозможно. Где-то коллектив колонистов состоял из несовершеннолетних разных возрастов, а где-то, наоборот, старались набрать только маленьких или, напротив, ребят постарше. Почти везде стояла проблема занятости подопечных. Все понимали, что только учить, обихаживать, развлекать и проводить политико-воспитательную работу значило бы плодить иждивенцев — это было бы во всех отношениях расточительным. Но средств для развития производства, способного соединить воспитание с производительным трудом, пока не было.

Короче, Наркомат внутренних дел столкнулся с огромными трудностями.

Коллегия и руководство НКВД торопили отдел трудовых колоний с принятием самых неотложных мер. Давно уже, в частности, шла речь о документе, который если и не разрешил бы одним махом все проблемы тут, наверху, то по крайней мере ликвидировал весь методический разнбой и наметил какие-то ориентиры для работников на местах.

Ахматов нервничал и терялся. Дело, которое возложили на его плечи, было для него не только новым, но и незнакомым. Одним только политическим чутьём, опытом организатора все прорехи не закроешь. Колонии несовершеннолетних представлялись ему чем-то вроде огромного веза хвороста, сваленного в самом безобразном беспорядке. А ведь отдел отвечал не только за эти колонии, но и за всё остальное тоже. И, пожалуй, Лев Соломонович давно бы опустил руки, если бы не Макаренко. Антон же Семёнович, собственноручно приняв от Наркомпроса их колонии, изъездив всю Украину вдоль и поперёк, посетив все детские учреждения, какие были теперь в ведении НКВД, хранил оптимизм, убеждал

начальника, что сегодня не двадцатый год и для нового наступления на детскую безнадзорность и беспризорность страна уже кое-чем располагает.

На первых порах Макаренко легко работалось с Ахматовым. Начальник не был заскорузлым, подозрительным служакой, не допускающим никаких рассуждений и твёрдо исполняющим лишь данные ему поручения. Правда, он трудно воспринимал незнакомые ему мысли и действия, однако старался не действовать по привычке и заученному способу и безусловно доверял людям.

Много воды утекло за прошедший год. И вспоминать прежние колебания — идти или не идти в НКВД — Антону Семёновичу было просто несус.

Бывая в колониях, Макаренко стал всё чаще встречать пацанов, которых, по его мнению, не было надобности направлять в такие заведения. Не ангелы, но для одних вполне хватило бы и строгого разговора в суде или комиссии по делам несовершеннолетних. Другие безнадзорничали от безделья, значит, речь могла идти о том, чтобы организовать их жизнь там, откуда они пришли в специальное воспитательное учреждение. Третьи нуждались в простом и тёплом отношении к ним. Четвёртые...

То и дело Антону Семёновичу в колониях встречались дети спецпереселенцев. Их было немного, но они выделялись из общей массы. Вынужденные держаться друг за друга, ибо колонийский народ не очень-то жаловал детей кулаков и подкулачников, «буржуев», они производили впечатление затравленных волчат. Неулыбчивые, глядящие всегда исподлобья, малоразговорчивые. Где, как, почему отстали, отпочковались от своих семей? Как добирались сюда из далёких уральских и сибирских весей? Эти-то за что страдают?

Макаренко собрал в нескольких колониях статистику о контингенте воспитанников, которыми следовало бы заниматься в нормальных условиях, а не в специальных учреждениях закрытого типа, и подготовил докладную записку в инстанции, от которых зависело изменить порочную практику перекладывать ответственность за воспитание несовершеннолетних на других.

Докладную записку нужно было показать на нескольких «уровнях» — в управлении исправительно-трудовых учреждений, членам коллегии наркомата.

Каждый, кто брал её в свои руки, считал себя обязанным что-то в ней повернуть по-своему, возражал против одних мыслей и добавлял другие. В результате возникали новые и новые варианты, всё более отличавшиеся от первоначального, пока наконец не стало ясно, что из документа вообще исчезло то, ради чего он готовился. И тогда на свет божий извлекалась чудом уцелевшая копия первозданной записки, на которую для умиротворения инстанций навели марафет, свидетельствующий, что с их мнением почитались. Это был окончательный вариант. На его подготовку ушёл месяц. И ещё неизвестно, посчитаются ли с точкой зрения НКВД в других ведомствах. Там ведь тоже этажи...

До прихода в наркомат Антон Семёнович не представлял себе существования подобной практики. Казалось бы, куда проще: если должностное лицо, за которым закреплена та или иная линия, соответствует своему служебному положению — так и доверьте ему принять решение. А не соответствует — гоните в три шеи! Грош цена такой канцелярской букашке, если для её нормального функционирования требуется громадная надстройка ответственных, кураторов, лиц, всё более и более ответственных!..

Пробовал Антон Семёнович решать насущные проблемы и иным путём...

Как-то вернулся из Одессы Павел Адольфович Оселок, инженер, отвечающий в отделе за производство в колониях несовершеннолетних, кипит возмущением:

— Сидят воспитатели в спальнях у воспитанников и вместе с ними в карты режутся. Что ж вы, говорю, делаете, бисовы дети? Ничего другого, отвечают, не остаётся: школа недостроена, работы нет. Заказ на пошив балетных тапочек для оперного театра выполнили, а больше заказов нету, не обувать же, в самом деле, портовых грузчиков в балетные тапочки? Так у вас же, говорю им, в руках постановление ЦК и Совнаркома! Идите в обком, в облисполком, просите, требуйте, но только не бездельничайте! Под лежащий камень... «А вы думаете, мы не ходим? Ходим. Все сочувствуют, тоже возмущаются, а только у них, кроме нашего, и других дел много, и тоже, говорят, важные...»

Антон Семёнович редко выходит из себя. Тут же, оседлав телефон, не стеснясь в выражениях, выговорил одесситам всё, что думает о них. Выслушав клятвенные обещания, несколько успокоился. Но спустя время

выяснилось, что заверения одесситов стоят не дороже дырки от бублика. Значит, снова надо садиться за бумагу.

И вот тут-то не было человека ценнее Ахматова. Лев Соломонович никогда не писал сам документов, объясняя это так: «Что надо сказать — знаю, что сделать — вижу. А как только передо мной оказывается чистый лист бумаги — ну, прямо паралич наступает!» Зато он обладает поразительной интуицией, особым чутьём: знает, когда, кому и какой документ положить на стол, чтобы тот прошёл с меньшими трениями, и, наоборот, чутко улавливает аппаратные веяния и с некоторыми документами советуется не торопиться.

— Ты не кипяпись, — скажет работнику, готовившему очередной циркуляр. — Сейчас для этого ситуация не созрела...

И точно: то, что неделю-другую назад вызывало возражения, вдруг принимается на «ура».

Ценил Антон Семёнович в Ахматове и его дар привлечь к работе отдела необходимых людей. Кого только у него не встретишь! Военные, артисты, партийные и советские работники, инженеры, сотрудники других наркоматов... Лев Соломонович умеет так поговорить с ними, что робость «перед НКВД», почему-то свойственная многим, тут же пропадает и каждый не просто старается помочь «бедным, несчастным детям», но делает это охотно.

Со скрипом, всеми правдами и неправдами, настойчивостью, требующей напряжения и даже перенапряжения сил и никем не учитываемой траты времени, решаются стоящие перед отделом трудовых колоний проблемы. Но на смену одним, ещё не решённым, встают всё новые и новые. «Не успеешь не сделать одно дело, как тут же не успеваешь не сделать другое» — этот каламбур, изобретённый Преислером, бытовал в отделе и как нельзя красноречивее характеризовал вообще аппаратную работу.

Хоть реже, чем другие, но и Антон Семёнович тоже порой всё-таки впадает в отчаяние, видя, как самые, казалось бы, продуманные решения, самые безусловные указания наркомата разбиваются, словно прибой о бетонный волнорез, на местах. Как-то в письме Горькому у него вырвалось: «Работа у меня сейчас бюрократическая, для меня непривычная, по хлопцам скучаю страшно... В сутках оставалось не более трёх свободных часов,

а свободной души ничего не оставалось...»

Антон Семёнович старался чаще выезжать в колонии, пропадая там порой целыми неделями. Инструктировал сотрудников, общался с пацанами, помогал отладить организационные структуры, решить хозяйственные проблемы. И вот такой-то стиль руководства всё меньше и меньше вызывал восторги Ахматова, который считал, что назначение аппаратного работника — инструктировать, руководить, контролировать, но отнюдь не засучив рукава пахать ту же ниву, что и рядовые исполнители.

Макаренко возражал:

— Ведь каждому видно: путь от циркуляра до его исполнения далёк так же, как неблизко грешнику до рая.

— А может, Антон Семёнович, мы не такие бумаги составляем, не то в них пишем?

— На месте проще показать и растолковать, — защищался Макаренко.

— Но в отделе всего двадцать человек, — с сожалением вздыхал Ахматов. — Повсюду не успеешь.

Тема эта вспыхивала в их разговоре всё чаще. И чем острее реагировал Антон Семёнович на аппаратную бестолковщину, тем односложнее и суше отвечал начальник отдела:

— Документ — оптимальная возможность достать влиянием наркомата низовое звено. Ничего другого, более целесообразного, пока не придумали.

А на прошлой неделе, хмуро выслушав помощника, Лев Соломонович вдруг вскипел:

— Выходит, всех нас тут надо увольнять за ненадобностью? Что, по-вашему, центральный аппарат вовсе не нужен?

Расстались холодно. На следующий день Ахматов даже поздоровался не приветливо, как всегда, а еле заметно кивнув головой, будто малознакомому человеку. В продолжение недели отношения оставались напряжёнными.

Сегодня в конце дня к Антону Семёновичу зашла Тамара Букшпан и пригласила его к начальнику отдела. Это удивило и насторожило его. Обычно все возникавшие проблемы решались попутно, когда Макаренко заходил к нему со своими делами, а если возникало что-то неотложное, Лев Соломонович не гнушался прийти

сам, благо кабинеты по соседству. Ну что ж, официальный стиль в отношениях делу не помеха.

Когда Антон Семёнович оказался в кабинете Льва Соломоновича, тот без всяких дальних слов и околичностей сразу сказал:

— Вот, полюбуйтесть! В Броварах, в пятой колонии, три десятка хлопцев «подорвали»...

Антон Семёнович присел на стул возле стола начальника и взял в руки протянутый ему листок. В верхнем углу сводки дежурного по НКВД было начертано: «Т. Ахматову. Срочно разобраться, принять меры и доложить». И подпись, знакомая каждому в наркомате: размашистая, наркомовская, зелёными чернилами.

Антон Семёнович не успел ещё поднять лица от сводки, как Ахматов, словно предвидя, что скажет помощник, произнёс:

— Но это ещё не всё. Вот другой документ. Почитайте. Не находите ли, что между ними есть прямая связь?

«Начальнику отдела трудовых колоний т. Ахматову Л. С. Довожу до вашего сведения, что помощник начальника ОТК т. Макаренко А. С. во время своего посещения колонии в марте с. г. приказал выпустить из карцера нарушителей, карцер закрыть и впредь туда колонистов не водворять. Мы возражали, сказав, что карцер предусмотрен правилами внутреннего распорядка и что без него невозможно ограничивать влияние дезорганизаторов на остальных воспитанников. Т. Макаренко А. С. ответил нам, что Советская власть не для того существует, чтобы при ней воспитывать детей в карцерах, и что в ближайшее время карцеры в трудовых колониях будут запрещены. Мы не могли не подчиниться т. Макаренко А. С., т. к. он для нас вышестоящий начальник. А кроме того, мы не можем не верить в его авторитет, потому что возглавляемые им учреждения для перевоспитания несовершеннолетних правонарушителей являются образцовыми для всей Украины, о чём говорит его книга «Педагогическая поэма», которую все мы читали. Но после закрытия карцера дезорганизаторы распоясались, почувствовали свою безнаказанность, и теперь с ними нет никакого сладу. А с них берут пример остальные. Между тем постановления НКВД о закрытии карцеров до сих пор нет, и нет указания, а что вместо них. Прошу разъяснить — продолжать сажать воспитанников в карцер или нет.

Начальник колонии Спивак».

Макаренко вспомнил этого суетливого, угодливого человечка. Не понимающий сути того, что ему доверено, относящийся к колонии как к «мешку», он успел испортить коллектив воспитателей кумовством, сплетнями, научился надувать щёки для важности и был для дела не бесполезен даже, а прямо-таки вреден. Антон Семёнович, вернувшись из Броваров, доложил о своих впечатлениях Ахматову. Но тот ответил:

— Дорогой Антон Семёнович, ну что же делать, если у нас сплошь и рядом, во всех колониях, вакансии, вакансии?.. И где их взять, нужных нам людей? Лично я не встречал, кто с детства мечтал бы работать в тюрьме, в колонии.

— Я тоже не мечтал.

— Где же я возьму ещё несколько десятков таких макаренков? Надо работать с теми, кто есть.

Единственное, что сумел пока сделать Антон Семёнович для Броваров, — туда направили старшим воспитателем Георгия Михайловича Осотского, успевшего несколько лет поработать в коммуне имени Дзержинского. Осотский мог «держат фронт» до поры, а со временем, надеялся Макаренко, Спивака удастся заменить.

Макаренко вернул письмо.

— Вот что вышло из вашей затеи, — сказал начальник отдела таким тоном, будто перед ним провинившийся ученик.

Подобная нотка прозвучала у него впервые. Макаренко никогда не позволял себе такого отношения к подчинённым. И ему расхотелось объясняться. Но и смолчать было, конечно, нельзя.

— Можно говорить много о случившемся в колонии номер пять. Но ни к чему, Лев Соломонович. Положение дел там вам известно. Отсутствие карцера ни причём. И вы это тоже понимаете.

— Да, но если бы карцер был, нам с вами никто не бросил упрёка в ревизии нормативных актов... Даже... Даже если вы и правы!

— Осотский звонил на днях, возмущается: колонисты сажали картошку на личном огороде Спивака. Таков начкол Спивак во всём. Нужно освободить его, пока не поздно. Если руководитель не имеет авторитета в учреждении, он не может там оставаться ни на минуту...

— Но — карцер!

Антон Семёнович попытался было объяснить Ахматову своё отношение к такому способу «воспитания», но тот поглядел на него косо и задумчиво, сказал резко и холодно:

— Давайте договоримся, Антон Семёнович: я не стану давать официального хода письму Спивака, хотя обязан провести служебное расследование. Но впредь в подобных случаях прошу вас, помнить, что не нам с вами отменять нормативные акты. Карцер — мера, предусмотренная законом.

— Всяк сверчок знай свой шесток?..

— Зачем так? Мы работаем в ведомстве, можно сказать, военном. Каждый солдат должен знать свой манёвр, ещё Суворов говорил...

— Что же, Лев Соломонович, манёвр так манёвр. Инициативу проявил я — мне за неё и отвечать. И покрывать меня не надо. Тем более что я не чувствую себя виноватым. Свою точку зрения на карцер могу изложить где угодно. Я пятнадцать лет обходился без карцеров — и в колонии имени Горького, и в коммуне имени Дзержинского. Не унизил такой, извините, мерой воспитания ни себя, ни детей. И это не было убытком. Карцер в детском учреждении рвёт последнюю ниточку доверия на пути к подопечному! Это ведь та же розга, против которой ещё сто лет назад воевал наш Пирогов. Так пристало ль нам восстанавливать то, против чего веками боролись?

— Хорошо, Антон Семёнович, будь по-вашему, — вздохнул Ахматов. — Видит бог, я вам зла не желаю. Даже наоборот. Но вы... Как бы это точнее выразить... Вы плывёте против течения. А это чревато последствиями. Времена сейчас суровые.

В конце концов, натянутость в отношениях с начальником можно перетерпеть. Утрясётся. Чего не случается! Но Антону Семёновичу вдруг показалось, что их размолвка имеет какую-то подоплёку, которой он не понимал, и что перемена Ахматова — вторична. Тот не стал бы возражать столь жёстко и категорично, если б на него не подул какой-то ветер, от которого Макаренко находился в стороне и потому его не почувствовал.

— Поясните, Лев Соломонович, что вы имеете в виду...

— Идёт борьба, Антон Семёнович. Борьба не на жизнь, а на смерть. Понимаете? А в борьбе иногда, как в мальчишеской драке, попадает и своим.

— Тут не мальчишеская игра.

— Вот именно, не мальчишеская. Тем более нужна осмотрительность. Да, осмотрительность! А вы... Вот скажите, как нужно понимать ваше заступничество за воспитанника Прилукской коммуны?..

С месяц назад Макаренко был в Прилуках, Заведующий педагогической частью пожаловался:

— Завёлся тут один неподдающийся, не знаем, что с ним и делать. Упрямец, каких поискать! Его отца, как нам стало известно, арестовали. Оказался замешанным в каких-то делах группы «национал-оппортунистического уклона». Комсомольская ячейка потребовала, чтобы воспитанник письменно выразил осуждение в адрес отца, если хочет оставаться в коммуне... Категорически отказался. Коллектив объявил ему бойкот.

— Сколько лет мальчику?

— Двенадцать.

— Познакомьте меня с ним.

Поговорив с подростком, Антон Семёнович спросил у завпедчасти:

— Как вы думаете, а способен ли ребёнок этого возраста понять, в чём вина его отца?

— Ему разъяснили.

— Он не умеет принимать на веру то, что ему говорят. И главное, он любит отца. Даже если отец этого не заслуживает, не надо лишать мальчика светлого в душе. Оставьте его в покое...

Антон Семёнович понимал, какую ответственность он возлагал на себя, беря под защиту сына «уклони́ста». Но он считал, что дети не отвечают за классовые позиции отцов. Потому не видел криминала в своём распоряжении. На вопрос Ахматова ответил вопросом:

— Что же я сделал не так?

— Вы взяли под защиту сына отщепенца! Сына врага!

— Лев Соломонович, ведь это ребёнок! Каждому понятно.

Если он уже сознательно и политически разбирается, что к чему, от него вправе требовать ясной позиции. Но если маленький, как тот подросток... Начни специально воспитывать в нём ненависть к отцу (а за что — он не понимает!), это только измочалит нервы ребёнку — никакого другого эффекта мы не добьёмся... Ах, да: «Каждый солдат должен знать свой манёвр»!.. Но разве иметь своё мнение я не вправе?

— Зачем вы так, Антон Семёнович? В нашем положении нужно просчитывать всё наперёд... И я хочу вас сберечь... Ведь даже ваши вечерние беседы с подчинёнными — ну, на темы не совсем педагогические — кое-кто оценивает не в вашу пользу. И мне всё труднее вас защищать, Антон Семёнович!

Макаренко молчал. Восстановив в памяти события последних недель и месяцев, он подумал, что вообще-то мог бы давно заметить, что в отделе, как, впрочем, и во всём наркомате, поубавилось сердечности, без которой ему не представлялась слаженная работа. Отчего в словах зазвучала какая-то заданность, каждый старается быть подчёркнуто правильным, казаться лучше, чем есть на самом деле?

У себя в коммуне имени Дзержинского он в любой момент мог, не покидая кабинета, сказать с предельной точностью, где, что и с кем происходит, угадывая любое происшествие, — так он знал, так чувствовал всё, чем жили коммунары. В наркомате же всё было совсем другим, строилось по иным канонам, вникнуть в которые он, увлечённый новым делом, не успел, да и не старался особо. Он ещё продолжал во сне и наяву распутывать тысячи узелков, которые завязывались в жизни хлопцев и девчат, оставленных пм в коммуне на половине их пути в будущее.

3

Расставаясь, условились, что утром Антон Семёнович поедет в Бровары и разберётся на месте, что там произошло.

— Возьмите «фордик», — обронил Ахматов напоследок.

«Фордиком» начальник отдела ласково именовал старую колымагу, в которой водитель Коля Пунченко каким-то чудом поддерживал жизнь. За отделами в наркомате автомобили не закрепляли. Ахматову персональное авто тоже не полагалось. Однако в отделе трудовых колоний был «фордик», который раздобыл где-то Ахматов, убедивший руководство наркомата, что объём и характер работы ОТК требуют, чтобы транспорт у него был свой. Чаще всего, конечно, на «фордике» ездил сам Лев Соломонович, крайне редко снисходивший до того, чтобы машиной воспользовались и сотрудники отдела. Всегда находились какие-то отговорки: мотор что-то греется, карбюратор требует починки, резина ненадёжна — и ещё

много каждый раз самых разных причин. Исключение делалось, только если требовалось доставить какую-то бумагу в учреждение вне системы НКВД.

— Бери машину и поезжай! — говорил Ахматов. — Нет, нет, только на машине!

Все понимали главную причину ахматовской щедрости: о престиже возглавляемого им отдела трудовых колоний он заботился неустанно. Кое-кто позволял себе тихонечко пощекотать его самолюбие:

— Что вы, Лев Соломонович! Здесь недалеко. Пешком быстрее!

— Ни в коем случае! — делал решительный жест Ахматов, и сотрудник шёл искать Колю Пунченко.

Факт, что Лев Соломонович давал помощнику для поездки в Бровары легковушку, свидетельствовал о том, что его миссии придаётся важное значение.

Задумавшись, Антон Семёнович не заметил, как выехали из Киева. Он крутнул ручку на двери «Фордика», открыл окно, закурил. Дорога бежала посреди ржаного поля, облитого солнцем. В окно заносило терпкий запах полыни. Уже скоро выйдут косари, закипит на поле трудовая страсть, выше и сильнее которой мало чего есть на свете. Антон Семёнович знал, что как раз на днях — Ивана Купала, в ночь на который — чудеса и гаданья, и венки на полуночной реке, и костры на лугах с песнями и хороводами. Но отчего не может быть таким же простым и ясным то, что вершится на поле воспитательном? Пришла пора — посеял. Земля, дождь и солнце подхватят твою эстафету, вознесут кверху стройные стебли жита, нальют их соком. И вот он — урожай, счастливое завершение трудов твоих!

Он понимал всю важность и борьбы с троцкизмом, и чистки в партии, и массы других проблем, почему-то не объединяющих, а разъединяющих и даже ожесточающих людей, но даже, глубоко задевая разум и сердце, они не мешали ему жить в своей стихии, где тоже бушевали яростные бури. Дело, которому он посвятил свою жизнь, представлялось ему не менее важным, чем всё остальное.

Ахматов напомнил о рукописи методических рекомендаций. Вот это для Антона Семёновича действительно важно. Брошюра итожила его практическую работу в колониях и в аппарате НКВД, и потому судьба её была ему далеко не безразлична. Сто пятьдесят машинописных страниц «Методики организации воспитательного процесса» сейчас — единственное,

что может вооружить тех, кто борется с детской преступностью, хоть какой-то теорией. Эта брошюра создавалась им не в последние недели и месяцы, а, в сущности, на протяжении полутора десятков лет работы с несовершеннолетними правонарушителями. Каждую мысль Антон Семёнович выстрадал в мучительных поисках и порой на ошибках и поражениях.

Может, рекомендации, изложенные в «Методике», не во всём доведены до филигранной ясности, некоторые намечены лишь тезисно, возможно, кое-где язык официального документа чересчур эмоционален, но ведь даже и крупный полководец имел право не только на точный расчёт, но и на те чувства, которые заставляли слушать сердце, когда надо было трезво думать и взвешивать.

Рукопись пролежала у Ахматова больше месяца. Хотелось верить, что начальник отдела медлит с ответом исключительно потому, что до рукописи не доходили руки...

Размышляя об этом, Антон Семёнович не заметил, что «фордик» между тем уже подъехал к Броварам, оставляя позади, на грейдере, щедрый шлейф жёлтой пыли.

Колония располагалась на самой окраине. Высокий забор, сложенный из известняка, был кем-то весь испещрён, изрисован мелом, краской, углём — ну где ещё встретишь столь необычную графику: ещё издали можно было различить обвитый змеёй кинжал, устремившиеся в поднебесье парусные корабли, всевозможные сочетания карточных мастей, обвитый колючей проволокой тюльпан, головки и фигуры женщин, усатого кота в цилиндре...

— Пару месяцев назад я приезжал сюда — ничего этого не было. Вот же! Да, видно, непросто здесь! — сокрушённо произнёс вслух Антон Семёнович.

— Черти полосатые! — тоже впервые за всю дорогу подал голос Пунченко. — Художники! От слова «худо»... Это ведь воровские знаки? — спросил он.

— Вот именно! Н-да. «Кто не был, тот будет, кто был — не забудет», — прочёл Макаренко вслух надпись слева от массивных ворот, обитых железом. — Ну ладно, приехали...

Ворота оказались на запоре. В маленькое окошечко выглянуло испуганное лицо пожилого человека. Тотчас раздался скрип засова, что-то лязгнуло металлом по металлу,

и отворилась дверь, вделанная в одну из половин двустворчатых ворот. Пунченко, выпрыгнув из машины, что-то объяснил старику, тот закивал головой и открыл ворота, толкнув одну половину их плечом, а другую отжимая руками.

— Остановитесь здесь, — приказал Макаренко Коле Пунченко, — рядом с проходной.

— У административного корпуса было бы лучше, — осторожно возразил Пунченко. — Тут, без глазу, открутят чего.

— Нет, нет, здесь! — решительно возразил Макаренко. — Увидит народ машину — на два часа разговоров: кто да зачем... Нет, нет, не надо мешать персоналу да и воспитанникам заниматься своими делами.

Когда «фордик» миновал ворота и стал справа от них, уткнувшись носом в забор, Антон Семёнович вышел наружу и поманил колониста, стоявшего навывтяжку рядом со стариком вахтёром. Колонист, небольшого роста, веснушчатый и рыжий, как подсолнух, пацан лет четырнадцати, подбежал и доложил:

— Колонист Дмитро Мирный, гражданин начальник!

— Здравствуй, Дмитро, — приветливо ответил Антон Семёнович и, внимательно присмотревшись к подростку, спросил: — Где-то ж мы с тобой встречались, Дмитро, никак не припомню...

— И я вас трохи знаю, — широко и довольно заулыбался колонист, почему-то отвернувшись в сторону.

— Вон как! Откуда же ты меня знаешь?

— А меня зимой на комиссии разбирали. А вы как раз приехали. Другие казали, шо я зовсим пропащий, а вы заступились...

— Теперь вспомнил... Ну и как же? Как теперь твои дела?

Пацан замялся, по-прежнему глядя в сторону, и сбил разговор на другое:

— Мы тут всё плохуэмо, гражданин начальник. Макаренко нахмурился.

— А почему ты говоришь: гражданин начальник?

— Гражданин управляющий, то бишь, товарищ Спитак велели. Это, говорить, на воли вы мэнэ будете товарищами, а тут я вам гражданин начальник... Антон Семёнович положил руку на плечо мальчугана:

Ты не горюй. Ты не вешай носа, Дмитро. За плохим

всегда приходит хорошее. Нужно всегда надеяться на лучшее, иначе как же жить? Ты согласен со мной?

— Согласен, — неуверенно ответил Дмитро. — Согласен, гражд... товарищ начальник...

— Меня все зовут Антоном Семёновичем. И ты меня так зови. Хорошо? А теперь позови мне, пожалуйста, Георгия Михайловича.

Дмитро развернулся было исполнять приказание Макаренко, но тут же остановился. Осотский сам увидел «фордик» и уже спешил к нему, заметив Антона Семёновича.

Осотскому чуть больше тридцати. В коммуне имени Дзержинского он слыл опытным, толковым воспитателем. Он не был ярок и бросок, как некоторые другие педагоги, но в его делах всегда царил головокружительный порядок. Своё влияние на коммунаров Георгий Михайлович утверждал как-то тихо и незаметно и на вопросы коллег, как ему это удаётся, жал плечами и застенчиво улыбался.

Из коммуны Осотский вряд ли ушёл бы по своей воле, но распорядились иначе обстоятельства, от него не зависящие. Давно и безнадежно болели родители жены. Перебраться в Харьков, к дочери, наотрез отказались — «в Киеве прожили всю жизнь, здесь и умирать будем». Пришлось Осотским упаковывать чемоданы и ехать в Киев. Тут-то Антон Семёнович и уговорил его стать старшим воспитателем в Броварской колонии.

Тесть и тёща Георгия Михайловича жили в северо-восточной части Киева, на самой окраине. В сущности, до центра города куда дальше, чем до Броваров, так что Георгий Михайлович и не раздумывал, соглашаться ли с предложением Антона Семёновича. Купил велосипед и теперь ежедневно крутил педали дважды в сутки: пятнадцать километров в одну сторону и пятнадцать — в другую.

Когда Осотский подошёл к Макаренко и поздоровался с ним за руку, Антон Семёнович провёл себя ладонью по подбородку:

— А что ж это вы не бриты, Георгий Михайлович?

— Ах, Антон Семёнович, до того ли!

Он оглянулся на Дмитра и старичка вахтёра.

— Идёмте в воспитательскую...

Едва отошёл от проходной, Осотский проговорил:

— Тут такие дела, что и во сне не привидится! Хотел ночью звонить в управление НКВД в область, ста вить в

известность. Но Спивак убедил, что горячку пороть не следует.

— Что же случилось?

Ответить Осотский не успел. От административного корпуса им встречу быстро шагал, слегка припадая на левую ногу, начкол Спивак. Не доходя двух-трёх метров, по-военному приложил к козырьку кончик вытянутой ладони и по форме отрапортовал:

— Товарищ помощник начальника ОТК, во вверенном мне учреждении в настоящее время четыреста пятьдесят четыре колониста. Персонал и воспитанники заняты по регламенту. В учреждении без происшеств...

Ах, как бы хотелось начкому Спиваку, чтоб было «во вверенном ему учреждении» действительно без происшествий! Но, начав по привычке уставной доклад, он тут же осёкся. Какое уж тут без происшествий! Он сделал брови домиком, отчего взгляд стал тоскливым, как у дворняги, которую долго не кормили, и принялся лихорадочно прокручивать в уме, будут ли удовлетворительны его объяснения по поводу появления у него на лице двух огромных синяков. И говорил он с большим трудом, потому что буквально перед приездом Макаренко колонийский врач Генрих Иванович вправил ему на место скулу...

Объясняться пришлось. Макаренко сидел у окна в кабинете Осотского, стараясь не глядеть на Спивака, пытавшегося путаными, сбивчивыми и, пожалуй, неискренними словами пролить свет на происшедшее.

Поздним вечером, почти в десять, Спивак решил поприсутствовать на съёме — так называется в колониях окончание работы — второй смены в литейном цеху. Ничего необычного в таком его посещении не было. Несколько замечаний мастерам, рапорты бригадиров. Но когда Спивак, открыв дверь из цеха наружу, вдохнул свежего воздуха, сладкого после копо-ти земледелии и формовки, как вдруг лампочка у входа погасла, что-то навалилось на начальника колонии, сбilo с ног, и он оказался мгновенно спелёнатым по самую голову и лежащим на земле. Били чем-то тяжёлым, похоже, поленом, завернутым в одеяло. Именно так действовали в среде колонистов, когда, случалось, устраивали кому-то «тёмную»: и больно, и без следов. Спивак некоторое время крепился, чтобы не закричать, но с каждым ударом унижительность положения уступала место панике:

«Убьют ведь!» И тогда на всю колонию раздалось пронзительное: «Помогите!»

— Ну и что было дальше? — спросил Макаренко. Спивак снова сдвинул брови домиком.

— Хватило ума не искать зачинщиков и исполнителей? — не получив ответа, задал новый вопрос Антон Семёнович.

Побуждение такое, оказывается, было. Едва из литейки выскочили мастер Скрипченко с несколькими колонистами и распеленали завернутого в одеяло и связанного по рукам и ногам начальника колонии, тот первым делом распорядился построить всю колонию на линейку. Отговорил Осотский. Те, кто это сделал, сказал Георгий Михайлович, наверняка уже в спальнях и делают вид, что смотрят десятые сны. Утром он же стал настаивать, что публичного расследования учинять не следует.

— Это привлечёт внимание всех, — убеждал он Спивака.

— А то эти голодранцы и без того не знают, что произошло! — упорствовал Спивак.

— И всё-таки давайте подождём! — твердил своё старший воспитатель. — Во всяком случае, заняться этим следует не вам.

— Как это не мне? А кому же? Что ж я, по-вашему, уже и положением тут не владею? Милицию приглашать?

В нём хлопотала злоба, личная обида, заслонившая всё остальное. Мысль о том, что колонисты не признают его как воспитателя, не уважают, презирают, в голову ему не приходила, а если бы и пришла, то едва ли взволновала.

Так вот в словопрениях они и провели всё утро, вплоть до приезда Макаренко.

— Это они, они... эти... — чуть ли не стонал сейчас Спивак. — Из-под решётки ушли! — рычал он.

— Из-под какой ещё такой решётки? — насторожился Макаренко.

— Мы тут недели две назад, — пояснил начальник колонии, — забрали решётками окна в той части общежития, где живёт «отрицаловка».

— Какая ещё «отрицаловка»? Какие такие решётки? Почему? Кто позволил? — чуть не подскочил на стуле Антон Семёнович.

— А что же нам оставалось делать с этими

дезорганизаторами? Карцер вы закрыли. Как ещё можно наказывать тех, кто не поддается?.. А так... В коридоре дежурит педагог — тут никто незамеченным не прошмыгнёт. А окна — с решёткой, тоже не выскочишь.

— Так, — тяжело вздохнул Макаренко. — Что ещё, какие ещё нововведения вы тут изобрели?

Оказалось, что есть ещё одно. Вторая часть детского коллектива в свободное от работы время тоже сидела взаперти, но только без решёток. И лишь небольшая часть колонистов, в основном активисты, имела право на свободное передвижение по территории колонии.

— А как же ещё наказывать, товарищ Макаренко? — спрашивал начальник колонии. — Дисциплину нарушают почти все — кто помаленьку, кто посильнее. И нас ни один не боится, вот что главное! Ну как, ну чем их в руках держать?

— И вы решили держать страхом?

— Может, это и не совсем педагогично, — пожал плечами Спивак. — Но так ещё при наших батьках было: зажмёт отец тебе голову между своих колен, пройдёт по спине, выпишет на ней семью восемь — после и думаешь, надо ль второй раз искать такой, извините, ласки... Ну, теперь бить нельзя. Карцер вы отменили, — повторил он свой упрёк. — А посадить за решётку — какое ж это наказание? Изоляция.

— Ну а если бы вас самого посадили за решётку, как бы вы это расценивали — как изоляцию или как наказание? — не сдержался Антон Семёнович.

Спивак, не найдя ответа, молчал, опустив голову.

— Вы с кем советовались, изобретая всё это? — спросил Антон Семёнович.

— Советовались. Обсуждали на педагогическом совете.

Макаренко вопрошающе посмотрел на Осотского.

— Я возражал, Антон Семёнович. И ещё несколько воспитателей голосовали против. Но товарищ Спивак ссылался на указание управления исправительно-трудовых учреждений...

— Какое такое указание? Ах, вон о чём речь!.. — вспомнил Макаренко. — Но ведь это никакого отношения к колониям несовершеннолетних не имеет, речь там — о взрослых учреждениях! Да, идёт поиск вариантов раздельного содержания правонарушителей, в зависимости от степени вины, характера преступления... Я не знаю, не беру на себя смелость судить, насколько это оправданно в колониях для взрослых.

Но в детском учреждении! Кто дал вам право на такую самостоятельность? — снова обратился он к Спиваку.

Того сейчас больше волновало другое... «Наверняка знает, что я написал Ахматову рапорт... Теперь сведёт счёты! Повод освободить хоть куда. И ведь освободит, очкарик чёртов! Вон как смотрит!»

— Я консультировался, товарищ Макаренко, — бросил он последний из имевшихся у него аргументов.

— Где, с кем?

— В Киеве, в областном управлении НКВД, в отделе исправительно-трудовых учреждений, с товарищем Загоруйко.

— И что же?

— Они сказали, что лучше перестараться, чем недо-стараться.

Спивак не ошибался: Антон Семёнович сейчас действительно думал о том, кого назначить на место этого ретивого и неумного администратора. Костерил Макаренко и областное управление НКВД. Полюбовались бы, что тут происходит! Назначили руководить учреждением человека, который способен, пожалуй, только гнуть вместе с крыловским медведем дуги, допустили, чтобы колония стала больной до такой степени, что воспитанники подняли руку на администратора...

— Сейчас ступайте к себе в кабинет, — сказал, подводя итог разговору со Спиваковым, Антон Семёнович, — позвоните в областное управление и скажите, что я отстранил вас от руководства учреждением. Далее. Пожалуйста, сядьте за стол и изложите письменно, что произошло сегодня ночью...

— Выходит, не справляюсь я? — обиженно проговорил Спивак. — День и ночь, чуть ли не полные сутки торчал тут. Иной раз в баню сходить некогда. Кто же мог предположить такое? Ни сном, как говорится, ни духом...

— Я думаю, у вас теперь будет время ходить в баню, — сухо произнёс Макаренко. — Полагаю также, что вам и самому должно быть ясно, что оставаться в колонии в любом качестве вам нельзя. Вам нужно поискать другое дело в жизни, товарищ Спивак.

Спивак встал, бросив в сторону помощника начальника отдела трудовых колоний взгляд, полный презрения и обиды, посмотрел на Осотского, слабо надеясь найти сочувствие, но не нашёл и, прихрамывая, вышел.

Да, прохлопали мы! — произнёс Антон Семёнович, едва закрылась дверь. — Я знал, чувствовал, что взрыв тут неминуем, но что учреждение окажется перед лицом такой катастрофы... Вот повод порассуждать о пользе и эффективности аппаратной работы. Пишем директивы, рассылаем на места рекомендации, составляем циркуляры — а тут всё как шло, так и ехало... Непроходимая глупость. Как же это, Георгий Михайлович? А что же вы? А коллектив воспитателей?

— Сотрудники... А что сотрудники? — вздохнув, ответил Осотский. — Тут ведь почти половина персонала — местные. Кто в школе вместе учился, кто за одной девушкой ухаживал, кто в дальнем, а то и близком родстве состоит, сватья, кумовья, соседи. Кто ж хочет портить отношения друг с другом! Корпорация! Круговая порука! Тут ещё до моего приезда случай вышел — мне досталось быть свидетелем последних отголосков его... Мастер земледельного отделения из литейного цеха, Хуторянский его фамилия, написал в областное управление НКВД жалобу: мол, на производстве безучётница, приписки, очковтирательство. Приехал Загоруйко. Но Спивак повернул дело так, что все, с кем беседовал Загоруйко, в один голос на мастера: бездельник, демагог и кляузник. А дальше... Дальше всё по классической схеме: за месяц начальнику колонии поступило на Хуторянского семь рапортов: «не выполняет», «отказывается» и тому подобное... После обсудили на местном профсоюзе, а те пошли на поводу у Спивака: поддержали его решение уволить Хуторянского, как не справляющегося со своими обязанностями...

— Ну и что же он теперь?

— Пытался стучать в разные двери, чтоб добиться объективного разбирательства. Но со временем конфликт утратил своё общественное значение, подавался как его личный.

— Где сейчас Хуторянский?

— Работает в потребкооперации, приёмщиком. А специалист по литью отменный. Раньше он в Киеве на «Арсенале» трудился. В Броварах у него мать. Тоже вроде нас с Марией — поближе к отчему порогу перебрался...

— Нельзя ли его найти, попросить заглянуть сегодня попозже? Хочу с ним познакомиться. И ещё вот что. И вы, и Спивак упомянули о Загоруйко из областного управления. Это ваш куратор?

— Да, наша колония в ведении инспектора отдела ИТУ Загоруйко. Он у нас бывает часто.

— И что же его приезды?

— Я ему не раз говорил, что в колонии беспорядки, что любое моё начинание встречает бешеное сопротивление прежде всего со стороны Спивака. Да что толку! У вас, говорят, лучшие показатели производственной деятельности среди исправительно-трудовых учреждений области. А это, дескать, не может свидетельствовать о плохой работе... А уж как эти показатели добываются — сами догадывайтесь...

— Отчего растерялись, не загремели во все колокола? В конце концов, могли приехать в наркомат.

— Приезжал, Антон Семёнович. Но вы оказались в командировке. Попал к Ахматову.

Антон Семёнович нахмурился, но перебивать не стал.

— Лев Соломонович выслушал, записал что-то себе в блокнот и при мне позвонил в областное управление, дал указание разобраться.

Почему Ахматов не проинформировал его о приезде Осотского? Забыл за хлопотами и заботами? Нет, на Льва Соломоновича это не похоже. Кольнула далёкая догадка, но подтвердить или опровергнуть её мог лишь сам начальник отдела. «Спрошу, как только вернусь», — подумал Антон Семёнович.

— Я пойду поброжу по колонии, — поднялся он со стула.

От сопровождения Осотского решительно отказался:

— Не растеряюсь.

Георгия Михайловича удивило, что Макаренко ничего не предпринимает в связи с избиением Спивака. Ведь совершенно, как бы там ни было, преступление. Сколь ни велика неприязнь у старшего воспитателя к начальнику колонии, теперь, как он понимает, бывшему, он отдавал себе отчёт, что против должностного лица был составлен заговор. Спиваку причинены телесные повреждения, а это статья Уголовного кодекса. Но что-то незаметно, чтобы Макаренко торопился начать расследование. Уж не намеревается ли он покрыть этих «мстителей» на том лишь основании, что Спивак сам виноват в расправе, которую над ним учинили? Так Осотский и спросил Антона Семёновича.

Нет, спускать нарушителям совершённый ими самосуд Макаренко не собирался. Но и действовать так, как подсказывала простая логика,

не хотел. Старшему воспитателю объяснил почему. В этой ситуации распутать все хитросплетения отношений в коллективах воспитателей и воспитанников представляется делом если и возможным, то требующим иезуитских методов: опроса, допроса, очных ставок и так далее.

— Это будет означать — окончательно расколоть коллектив. Давайте подумаем пока о педагогической стороне дела, не забывая, конечно, и юридической...

4

Первым делом Антон Семёнович направился в спальный корпус. Возле крыльца стояли два подростка с блокнотиками. На рукавах у них были красные повязки. Они увидели приближающегося к ним человека в военной форме и вытянулись по струнке.

— Здравствуйте, — поприветствовал их Антон Семёнович.

— Здравствуйте, гражданин начальник, — дружно, пожалуй, даже с ноткой угодливости, ответили ему.

— Что это вы такое записываете? — поинтересовался Макаренко, нахмурившись от такого обращения.

— Нарушителей.

— Каких таких нарушителей?

— Которые бегают и галдят.

— Понятно... И что же, всегда у вас так делается?

— Нет, недавно ввели. У нас теперь самоуправление. А мы назначены в актив. Вот и следим за дисциплиной. А раньше воспитатели следили.

— Ну и как? Удаётся таким образом повлиять на нарушителей? Боятся они вас?

— Ещё как! Наберётся десять очков, и не разрешат ходить по колонии, где они хотят. Если двадцать, запрещено покидать спальню. Ну а тридцать — то туда...

— Куда — «туда»?

— Ну, под замок и за решётку.

— В тюрьму, — разоткровенничался другой колонист. — Это у нас так называется — тюрьма в тюрьме.

Решив, что сказал что-то лишнее, взглянул в глаза приезжему начальнику и чуть не ахнул: в голубых глазах, прищуренных за толстыми стёклами очков, стояли слёзы. Незнакомец зачем-то поправил фуражку, сидевшую и без того ладно, и прошёл дальше.

В вестибюле Макаренко встретил дежурный педагог,

бодро доложил, сколько человек в настоящее время находится на работе, сколько отдыхает.

— Проводите меня в спальни, которые зарешечены. В коридоре и на лестнице было не мусорно, но и не чисто. Разводя грязи, размазанной мокрой тряпкой, образовывали нечто, похожее на географическую карту, выполненную однотонной серой краской. Пахло чем-то застоявшимся — смесь нечистой одежды, пота, пыли и карболки. Было тихо, как в склепе. Только гулко отдавались по коридору шаги Макаренко и идущего рядом с ним педагога. Вдруг в дальнем конце коридора послышалась негромкая песня:

*Перебиты, поломаны крылья,
Дикой болью всю душу свело...*

— Что такое? — спросил Антон Семёнович.

— Там у нас самые зlostные.

— Пойдёмте туда.

Педагог махнул рукой, подбежал пацан с красной повязкой на рукаве. В руках у него была связка ключей.

— Открой! — приказал ему дежурный.

Едва ключ оказался в замочной скважине, песня прекратилась.

Спальня была небольшая, на десять-двенадцать коек, но находилось тут всего пятеро. Когда Макаренко и дежурный педагог вошли, все поднялись с кровати и встали рядом с ними в рост. Небольшая форточка в зарешеченном окне была приоткрыта лишь наполовину. К спёртому воздуху в помещении добавлялся застоявшийся запах курева.

— Здравствуйте, хлопцы!

— Здрр! — недружно ответили колонисты.

— А что же у вас тут так душно? Плохо проветриваете?

— Штрафные мы, а тут не санаторий! — с вызовом в голосе ответил один из колонистов.

— Сколько же времени вы здесь находитесь?

— Кто сколько, — ответил тот же колонист. — Вот Ивась вчера попал.

— За что же?

— План на производстве не выполнил.

— Понятно. А остальные?

— Ну, Грицко — это вечный сиделец.

— Почему же вечный?

— А он если даже и ничего не сделает, к нему

обязательно придерутся. А у него язык чересчур острый, не умеет с начальством вежливо разговаривать.

— Так. Ну а ты по какой причине? — спросил Антон Семёнович высокого стройного юношу, исподлобья с иронией наблюдавшего происходящее.

— Наводили шмон в спальне, заначку замели.

— И что же в ней было?

— Башли.

— Деньги то есть. А что за деньги? Откуда они у тебя? И зачем? Ведь ты знаешь, что иметь наличные деньги в колонии не разрешается?

— Ну, надо было.

— Секрет?

— Да нет никакого секрета, гражданин начальник. Проиграл одному, выиграл у другого. А госбанк своё отделение у нас в колонии ещё не открыл.

— И по этой причине тебя заперли?

— Ну, не только, конечно... Стали спрашивать, кто да с кем играл. А что же я, фрайер последний, что ли, корешей сдавать?

Дежурный педагог слушал — и не верил. Оба колониста, вступившие в разговор с Макаренко, были из той верхушки «отрицаловки», с которыми особенно не разговоришься. У них считалось, как они говорили, «западло» откровенничать с администрацией. А тут — говорят как ни в чём не бывало. Какой-то такой особенный голос у помнача отдела трудовых колоний, какие-то такие интонации, что вроде бы он и не рассчитывает на неискренний ответ, а тем более на молчание. Из того же Бахмута — так была фамилия самого заядлого картёжника в колонии, колониста, который теперь так просто рассказывал о своих прегрешениях, — обычно слово калёным железом не вытянешь, а тут разговорился, будто давно мечтал кому-то рассказать так вот запросто обо всём.

— А ты, Грицко, — обратился Макаренко к другому колонисту, — чем проштрафился?

— Письмо написал.

— Какое письмо? Разве за письма наказывают?

— А вот, — подал голос дежурный педагог и протянул Антону Семёновичу сложенный треугольником листок.

— Ну, это не мне, я чужих писем не читаю, — отказался взять треугольник Макаренко.

— А вы прочтите, гражданин начальник, — разрешил колонист.

Макаренко пожал плечами и, щурясь, стал читать.

«Здравствуйте, мамо, — старательно лепились друг к другу красивые, почти печатным шрифтом написанные буковки с еле заметным левым наклоном. — С приветом Гриц. Вы просили рассказать, как мы тут живём. И вот я пишу. Живём мы хорошо. Утром нас будит репродуктор. Я встаю, нажимаю кнопку — постель заправляется и убирается в стену комнаты. Нажимаю другую — из стены выдвигается туалетный прибор. Через минуту я умыт и причёсан. Ещё одна кнопка — и по заранее приготовленному мною меню автомат подаёт мне завтрак...»

Антон Семёнович сдержал улыбку. Без всяких дополнительных расспросов было ясно, что скрывается за кажущимся юмором этого грамотного паренька. «Работаю я всего два часа. Работа лёгкая: всё выполняют автоматы. Сиди и нажимай кнопки. После работы отдыхаем. Каждый день кино или приезжают артисты».

— У тебя богатая фантазия, — похвалил Антон Семёнович Грицка. — Я думаю, из тебя получился бы неплохой редактор стенной газеты. Не пробовавал себя в таком деле?.. А писем таких писать не следует. Кроме слёз, твоё письмо ничего не вызовет... Ну хорошо... Мы ещё продолжим с тобой разговор. Теперь скажи ты, — обратился он к угрюмо молчавшему подростку.

— Д... Клозет чистить не пошёл.

— Это из моего отряда воспитанник, — вмешался дежурный педагог. — Не хочет работать. От работы, говорит, медведь повесился... Лентяй, бездельник и эгоист! — распалялся педагог. — Почему, когда мне говорят «надо», я иду и выполняю? Безо всяких! А с ними, видите ли, каждый раз — буквально каждый раз! — нужно объясняться, понимаете ли.

Голос педагога Антон Семёнович слышал словно за стеной. Думал о другом. Как часто хороших целей в воспитании педагоги пытаются добиться никуда не годными средствами, забывая, что средства воспитывают иногда больше, чем цель!

Не удостоив ответом сентенцию дежурного педагога, Антон Семёнович попрощался с колонистами и вышел.

Пока ему показывали другие помещения, в спальне, где они только что побывали, обсуждали происшедший разговор.

— Знаете, с кем разговаривали? — спросил Бахмут. Бровары были не первой колонией в его жизни, а повидав кое-что на свете, он пользовался особым вниманием среди товарищей.

— С кем же? — поинтересовался Грицко.

— С писателем Горьким.

— Э, заливай баки, я Горького на портрете видел, тот не такой. У него усищи вот такие, — показывает Грицко. — И без очков.

— Тоже мне знатоки! — подал голос из угла спальни Ивась, — Когда звонят, надо слушать, откуда, а то не в ту церковь придёшь. Это и в самом деле писатель. Только не Горький, а Макаренко. Он про нас, босяков, книгу написал. Я его видел в Киеве, в комиссии по делам несовершеннолетних. А раньше он был заведующим колонией, а колония — имени Горького, понял?..

— Сам Горький или имени Горького — а всё равно Горький, — не согласился Бахмут. — А ты заткнись. Больно много знаешь...

Ивась не ответил ему, сел молча на край своей кровати и стал думать, что же означает визит в их спальню писателя Макаренко. «Только странно, — подумал он, — писатель, а в форме НКВД. Может, он вовсе и не писатель? Зачем писателю ромб в петлицы?»

Макаренко между тем закончил обход спален. Увиденное удручало. Дежурный педагог, поначалу молча сопровождавший его, понемногу разговаривался:

— Это не люди, а какие-то глоты. У них нет никаких положительных потребностей.

— А вы не думаете, что, если у воспитанников не пробудились положительные потребности, надо опираться на те, которые есть? — бросил ему в ответ Макаренко.

— Так у них одна потребность — ничего бы не делать. У них это так и называется — операция, как её, ЕЗС: есть, загорать, спать.

— Что ж, это тоже потребность. Кстати, не такая уж плохая. В ней нет разрушительных целей. — Антон Семёнович посмотрел на дежурного педагога с сожалением.

Из спального корпуса он направился в цеха предприятия. Сперва — в литейку.

Серо-чёрные клубы дыма, характерный запах выгорающих из формовочной земли и стержней добавок, пыль и горы мусора

делали цех похожим на преисподнюю. Познакомился с мастером.

— Буркин, — представился кряжистый мужчина средних лет в замасленной спецовке, — Василий Иванович.

— А скажите, Василий Иванович, почему в цехе такая ужасная вентиляция? Разве врач сюда не приходит?

— И врач приходит, грозит закрыть цех. И вентиляция могла бы быть хорошей. Но кто-то систематически выводит из строя мотор в вентиляционной камере. Думаю, что сами же они, злочинцы оканные, и портят. Ведь мы из-за загазованности вынуждены им сокращать рабочий день. Но сейчас легче, лето. Видите, в окнах не осталось ни одного стекла: сами о себе позаботились — бьют, хоть ты им кол на голове теши. Осень настанет — где стекло брать? Околеем от холода.

— А с планом как?

— С планом, с планом... И с планом так же! У них, знаете, как заведено? Соревнование такое идёт — кто меньше сделает. Вон, стоят формовочные машины, ни одну пустить не можем. А всё почему? Пообрезали резиновые шланги, сатанинское отродье. Делают из них кистени — набивают свинцом, мелкими металлическими деталями. Пройдитесь по спальням — чуть ли не у каждого найдёте. Не колония — военный лагерь.

— Всё же вы тут мастер, — заметил Антон Семёнович. — От вас многое зависит.

— Это только кажется, что от персонала зависит. На самом деле тут ещё одна власть существует, ихняя, чтоб им руки-ноги поотрывало. Начинаешь по рабочим местам расставлять, так они ещё между собой посоветуются, подчиняться или нет. Да, как две власти: одна — в моём лице, другая — у Вельченко.

— Кто такой Вельченко?

— Колонист Вельченко. Сейчас его тут нету, он во второй смене работает. А только он — как бы второй мастер в цеху. И вроде сам ничего не делает, ведёт себя тихо, спокойно, но чуть что — «мы с Вельченко обсудим». Я уж его попробовал бригадиром поставить, думаю, раз он авторитетом пользуется, пускай командует, мне с одним человеком легче договориться, но не хочет. «Я, — говорит, — в буграх ходить не буду». Не на производство бы их, а в карьер. Кирку в руки — руби! Вон и в кодексе записано, что труд заключённых используется

преимущественно на тяжёлых физических работах...

— Какую продукцию цех производит?

— Вьюшки для печей в крестьянские дома, чугунные сковороды, крышки к гидрантам — водозаборным колонкам...

Панорама цеха была скучной: две довольно мощные вагранки, земельное отделение, плац с ручной формовкой и шесть замерших без шлангов формовочных машин — и между ними лениво передвигающиеся фигуры. На заливке и возле вагранок — люди, одетые в брезентовые робы, головы рабочих покрывали похожие на поморские зюйдвестки войлочные шляпы с широкими полями. Многие не признавали никакой одежды, кроме штанов и ботинок.

Антон Семёнович помнил другую литейку, с которой начиналось производство в коммуне имени Дзержинского. Там тоже выпускали тогда примитивную продукцию — маслёнки и кроватные углы. Но как разительно отличалось это полусонное царство от той бодрой обстановки! Тогда там только и слышалось: «Накрывай!» — «Накрыто!» — «Лей!» — «Залито!» — «Где кокили? Кокили кончаются! Спят там, что ли?» — «Давай, давай! После стоять будем». И мальчишки-то были куда моложе и физически слабее этих!

Пройти в токарный цех он не успел. Прибежал посыльный от Осотского:

— Вас просят в административное здание... Исполнив приказание, подросток собрался было уже убежать. Но Антон Семёнович остановил его:

— Пойдём вместе. Мне с тобой поговорить надо. Тебя как зовут?

— Петро, гражданин начальник.

— Не зови меня так. У меня имя есть — Антон Семёнович, если оно тебе нравится.

— Нравится. Мне про вас ребята рассказывали. Вы писатель, Макаренко, вы про нас книгу написали, «Педагогическая поэма».

— Нравится книга?

— Гарна книга. Хорошие там хлопцы описаны. И жили они не то, что мы.

— А что же вам мешает жить так же? Подросток замялся.

— Говори, говори, мне это знать важно — что ты, именно ты думаешь о своей колонии.

А ничего у нас хорошего, вот и подрывают пацаны время от времени. Говорят, всё равно поймают, зато в другую колонию попадём, может, там будет лучше.

— А что же здесь, не нравится?

— Да, Антон Семёнович... Если разобраться, тут тоже может быть хорошо. Школа, можно учиться. Правда, семилетка, но в Броварах есть полная средняя. Если бы разрешали за забор выходить, можно среднее образование получить. Ну и профессии учат. Хочешь литейщиком — учишься на формовщика, на стерженщика. Нет — будешь токарем, слесарем, фрезеровщиком. Чем плохо? Подойдёт срок — выходи на волю, заживёшь кум королю и сват министру...

— Что же мешает стать кумом королю и сватом министру?

— Плохо тут. Мастера воруют, мухлюют, воспеты...

— Воспитатели? — уточнил Макаренко.

— Да, воспеты, — не уловив смысла поправки, продолжал подросток, — они нас за людей не считают, мы для них отпетые. Конечно, есть и отпетые, а только большинство всё равно оказалось тут случайно.

— И ты случайно?

— Ну, я, может, и не случайно, а только всё в жизни могло по-другому повернуться. Отчим-змея в каталажку посадил.

— Что же вы с ним не поделили?

— А бил он мать, водку пил, я глядел-глядел, да и подорвал. Думал, куда поступлю работать или учиться. Ну, денег не было, взял у него.

— Взял?

— Взял.

— Или украл?

— Ну, пусть украл! А только у него не последние, он на пушной базе работает, как выпьет, хвастался, что зарабатывает в десять раз больше директора... Так что не победнел.

— Всё же можно было как-то по-другому решить свои жизненные проблемы.

— Можно было. Я это после понял. Когда уже суд два года припаял.

— Два года срок небольшой, сколько ты уже здесь?

— Скоро год. Только этот год за пять отдал бы.

— Ты же только что сказал: школа, профессию приобретаешь...

— Авторитеты житья не дают.

— Кто-кто?

— Авторитеты, не знаете таких?

— Нет, не знаю. Расскажи, пожалуйста.

— Ну, эти тут крутят всем как хотят. Лучшие места в спальнях — их, самая лёгкая работа — тоже. А остальные у них в шестёрках ходят: подай, принеси, сделай... Станешь поперёк — потом пожалеешь. Вот и стараешься с ними ладить. Себе дороже! Только вы меня не выдавайте, Антон Семёнович! У нас ведь откровенность с администрацией считается распоследним делом. Отомстят.

— А много тут таких, как ты их назвал, авторитетов?

— Да нет, немного. Но за них стоят горой борзые.

— «Борзые» — это кто?

— Это советники при авторитетах. Авторитет скажет устроить кому-то тёмную — борзые тут как тут, раз — и ваших нет, и никто не дознаётся, кто это сделал.

— А ты к какой группе принадлежишь?

— К пацанам. Выше не хочу. А ниже — не приведи бог! Те даже в столовой едят из меченой посуды, ими все помыкают как хотят, никаких привилегий не имеют. Ну а обиженные — это вы знаете кто...

— Нет, не знаю.

— Не может быть! Вы же были заведующим колонией, как же не знаете?

— У нас ничего подобного не было... То, что ты мне рассказываешь — для меня удивительно!

— От, влип я, — остановился Петро. — Вы ж теперь станете расследовать это дело!

Антон Семёнович положил Петру ладонь на спину и ласково провёл по ней.

— Ты ничего не опасайся. То, о чём ты рассказал, — это временно. Это как мода такая: пришла — и ушла. В жошки в детстве играл? Ну вот, наигрался — и остыл к этой игре, ей на смену пришла другая. В пристенок, в отбивного играл?

— Играл.

— И в колониях — тут тоже много своего, особенного, о чём в обычной жизни люди и представления не имеют. И тоже — всякие моды, в том числе плохие. Ты не вешай носа, ладно?

— Не буду, Антон Семёнович!

— Вот и хорошо, а пока до свидания, спасибо, что поделил

со мной компанию, а то одному идти через всю колонию было бы скучно...

В кабинете Спивака Антона Семёновича ждали инспектор управления НКВД по Киевской области Загоруйко и следователь. Спивака уже не было. Оба доложились как и положено и сообщили о своём намерении тотчас приступить к расследованию ночного происшествия.

— А вот этого делать не надо, — сказал Макаренко.

— То есть как — не надо? — удивился следователь. — Совершенно уголовное преступление, нападение на администрацию. Нанесены телесные повреждения. Это статья.

— Да, формальная сторона дела именно такова. И возбудить уголовное дело следует. Но заниматься розыском злоумышленников сейчас не надо. Я прошу у вас некоторый срок — и они явятся с повинной сами. И тогда вы поступите с ними, как и положено по закону.

— Ведь я отвечаю! — заметил следователь. — Сбегут — с меня голову снимут! «Некоторый срок»... Да они тысячу раз сговориться успеют и выскочат сухими изводы!

— Давайте всё-таки отложим это всё ненадолго, — настаивал Антон Семёнович. — Сейчас возьмите показания у бывшего начальника колонии, допросите мастера, который был свидетелем, составьте протокол места происшествия. Вот вам и первые неотложные действия для отчёта начальству. А чтобы найти виновных, вам придётся опросить, как я думаю, всех воспитанников, с этим вы тут застрянете не меньше чем на месяц, смею вас уверить! Я же вам обещаю, что через несколько дней участники избияния Спивака будут стоять в вашем кабинете и чистосердечно расскажут, как всё это произошло.

Следователь поколебался ещё немного, но доводы Макаренко показались ему убедительными. Он немного знал эту колониюскую публику. Народ бывалый, ведут себя на допросах — ого-го! Иной насупится — клещами слова не вытянешь. Другой, когда припрёшь к стене, начнёт нести такую околёсицу, что хоть уши зажимай. Третий прикинется дурачком — это тоже способ уйти от ясного ответа. У Спивака же конкретных подозрений, как он выяснил, нет. Придётся соглашаться.

— Антон Семёнович, товарищ Макаренко, может, вы позвоните моему начальству, это было бы солиднее,

— попробовал он снять с себя ответственность.

— Позвонить мне нетрудно. Но мне хочется, чтобы вы сами убедили своё начальство, что другого пути нет. Ведь вы-то со мной согласились? Колония и без того наэлектризована, дела тут из рук вон плохи и без этой истории, а следствие только усугубит сложность.

— Я доверяю вам, товарищ Макаренко.

— Вот и спасибо... А теперь займёмся с вами, товарищ Загоруйко. Как долго вы курируете эту колонию?

— Да уже два года.

— И вас устраивают её дела?

— Нет, Антон Семёнович, не устраивают, конечно. Недаром я сюда не реже раза в неделю езжу. Да толку что-то нет. Вот как она с самого, говорят, открытия не заладилась, так не настроится и до сих пор. Уже трёх начальников сменили за два года. Спивак — видите, какой подарок. А ведь нам его рекомендовали как опытного работника, энергичного руководителя.

— Получается, что его испортила колония? Загоруйко пожал плечами. Он чувствовал, понимал и свою вину и в случившемся, и вообще в том, что колонию несёт, как разбитый шарабан по ненаезженной дороге. Он не мог упрекнуть себя в том, что мало тут работал, что не пытался оказывать помощь. Иной раз не вылезал отсюда сутками, приезжал домой обросшим, завшивленным, уставшим, как на войне. Расправа над Спиваком была, если разобраться, закономерной. Колония едва-едва сохраняла внешний порядок, а кто более или менее представлял тонкости её жизни, тот видел, что внутри её всё представляло сплошной хаос, разобраться в котором никому не удавалось и вряд ли удастся. Вот теперь приехал сам Макаренко. Но что он сделает? Ну, отстранил от работы Спивака. Областное управление и без него уже искало ему замену, правда, пока безрезультатно. Ну, отсрочил взятие под стражу тех, кто избил начкола. Когда-нибудь это всё равно произойдёт. Да они, если разобраться, и так почти под стражей. Загоруйко уже не раз приходила мысль расформировать эту колонию и начать здесь жизнь с самого начала. Правда, предложение его не встретило одобрения в областном управлении. Это означало бы расписаться в собственном бессилии и неспособности существенно повлиять на положение дел тут. Сейчас он намекнул об этом же и Макаренко. Тот слушал, как Загоруйко

показалось, заинтересованно и внимательно. Переспросил:

— Значит, вы предлагаете всё начать сначала, правильно?

— Да, сначала, с нуля.

— То есть вы считаете, что исправить положение нынешний коллектив не способен?

— Думаю, что не способен. Тут уже сложились свои традиции, и всё плохое, взрослый коллектив притерпелся к недостаткам и считает их неизбежными...

— Какую программу предлагаете?

— Надо искать начкола. Может, назначим Осотского? Дело знает, в коллективе уважением пользуется, высшее образование, хорошая анкета.

— Вы считаете, что назначением одного энергичного руководителя тут можно решить все вопросы?

— Всё не решишь, но, если он возьмёт колонию в свои руки, постепенно все недостатки устраним...

Антон Семёнович побарабанил пальцами по крышке стола. Да, верно, тут надо начинать сначала. Но не таким должно быть это начало, каким предлагал его куратор колонии Загоруйко. Каким же?

— Да, вот ещё о чем я хочу спросить... Что это за группировки такие в колонии появились?

— Меня это тоже беспокоит, Антон Семёнович, — ответил Загоруйко. — Ничего подобного совсем недавно ни в одной колонии и в помине не было. А тут... Я сам это разглядел совсем недавно. Вот идёт отряд в баню. Всё, как говорится, чин по чину. Взяли смену белья, построились. Двое-трое между тем отстали. Начинаешь разбираться, в чём дело, почему не пошли мыться вместе со всеми. Причины, объяснения, конечно, найдутся, только всегда они, что называется, шиты белыми нитками. Просто эти двое-трое в силу каких-то обстоятельств многими презираемы, их сторонятся, игнорируют, вроде их даже и нет вовсе. А то и стараются унижить. Им не позволено обедать за общим столом, у них самые неудобные места в спальне, с ними не здороваются за руку. Одним словом, обиженные, изгои...

Антон Семёнович снял очки и протёр стёкла носовым платком. Ничего подобного не было не только в коммуне имени Дзержинского, не было и в других колониях НКВД. Не начало ли это болезни, которая завтра распространится и на другие колонии? Кто, какое конкретное должностное лицо может реально управлять

этим стихийным общением, где существуют свои понятия о том, что такое хорошо, а что плохо, свой кодекс чести, свои «табели о рангах»?

Загоруйко молчит. Иерархические группировки в преступном мире для него не новость. В лагерях, в колониях для взрослых группировки — обычное дело.

— Подумать только! — вслух рассуждает Макаренко. — На что только тратятся усилия ребят! Борьба за сохранение своего статуса, если он высокий, и на его повышение, если низкий. Самоутверждение — на основе уголовных традиций. Полная деградация коллектива!

— А надо ли, Антон Семёнович, с этим бороться? — осторожно спросил Загоруйко. — Ведь не всё в этих традициях плохо! Разве в других коллективах, в другой среде не существует своей иерархии? В том же детском саду — и то старшие помыкают теми, кто поменьше, или хотя бы не считаются с ними. У меня брат служит на флоте, пишет, что там тоже: пока ты «салага», для тебя запретным местом является корма. Проверки на надёжность? Ну так они и в обыкновенной средней школе порой носят характер грубой забавы, а то и жестокой игры. Или «землячества»... Что же в них плохого? Земляки всегда и везде поддерживают друг друга.

Антон Семёнович с удивлением посмотрел на Загоруйко.

— Я могу подтвердить это, — пояснил тот. — Среди этих норм есть и заслуживающие симпатий. Насколько мне известно, у них считается, как они говорят, «западло» укрывать предметы, предназначенные для общего котла, воровать или брать без спроса у «своих». Даже в картёжной игре есть несколько прямо-таки джентльменских условий: играть честно, своевременно уплачивать долги. Так что всё это вполне можно использовать чисто в педагогических целях.

— Каким же образом?

— Во-первых, администрация должна знать их этот, с позволения сказать, кодекс. А во-вторых, какие-то из правил, норм и поддерживать...

— Зачем?

— Тогда поведение колонистов станет предсказуемым, им будет легче управлять.

— А другого пути вы не видите? А как же, извините, те высокие цели, которые мы ставим? А наша воспитательная программа?

— Когда-нибудь, в будущем, возможно, колонии станут

похожи на пансионаты для благородных девиц. А пока — вы же видите! К ним — с положительными перспективами, а они, пожалуйста, — воровские традиции возрождают! Им это ближе, такова суть их, хоть они и несовершеннолетние! Вы же видели, наверное: ножи нарисовали на заборе, а не соски! И не красноармейские, между прочим, звёзды! Я понимаю, конечно, это элемент их низкой культуры, но не только. Их поведение, их поступки мешают общему делу... Это враги, — подводит итог Загоруйко.

— А вот представьте себе, — говорит Макаренко, — ни у горьковцев, ни у дзержинцев с преступными традициями не боролись. Как-то само собой получалось, что мы совершенно искренне и без всяких усилий игнорировали вчерашний день воспитанников, не интересовались их «делами», которые нам пытались переслать суды, комиссии исполкомов и детприёмники. Мы все — и воспитатели, и воспитанники — молчаливо согласились, что прошлое не стоит воспоминаний.

— Выходит, — перебил Загоруйко, — что бы он ни натворил — можно забыть?

— Да, именно. Тут логика простая. Если мы будем ему постоянно напоминать о его прошлом, он там и останется. Раз мы хотим получить вполне коммунистическую личность, то именно об этом и должны помнить. И вести воспитанника в будущее не отягчённым не только прошлым преступным опытом, но и памятью о нём. Вот почему у нас никто и никогда не интересовался, что за пацан в колонии. А если и спрашивали о чём, то только из деловых соображений: откуда родом, живы ли родители, где учился, что видел в жизни хорошего... Вот так! В двадцатых годах просвещенцы это считали абсурдом. Особенно педологи. Эти уповали на наследственность, на фатальную обусловленность поведения. Они и сегодня ещё сильны. Кстати, уши педологии торчат и здесь, в Броварах.

В одном из писем Горькому Антон Семёнович поделился своим негодованием: копание в прошлом ребят, утверждал он, в сущности, вивисекция над живущим человеком. Алексей Максимович разделял его убеждение и ободрил: «То, что Вы сказали о деликатности в отношении к колонистам, и безусловно правильно и превосходно. Это — действительно система перевоспитания, и лишь такой она может и должна быть всегда, а в наши дни — особенно. Прочь вчерашний день с его грязью и духовной нищетой.

Пусть его помнят историки, но он не нужен детям, им он вреден».

Когда исправительно-трудовая практика в стране едва делала первые шаги, в оборот вошёл термин — социальное лечение. Термин, правда, приказал долго жить вместе с теми вещами, которые обозначал, но что-то в нём было от настоящего человеческого милосердия.

— Вот об этом милосердии мы, к сожалению, в последнее время изрядно подзабыли, когда говорим о несовершеннолетних правонарушителях, — внимательно посмотрел на Загоруйко Антон Семёнович.

— Но на эмблеме у нас не милосердная змейка, а карающий меч, — возразил Загоруйко.

— Да, но главное, я считаю, в нашей эмблеме — щит! Недавно я готовил для газеты «Правда», к десятилетию со дня смерти Дзержинского, статью. Попробовал поразмышлять о природе большевистского гуманизма по отношению к миллионам беспризорных детей, поднятых на ноги вопреки тому, что две войны, вопиющая наша бедность, голод, косивший сотни тысяч людей, должны были сделать нас жестокими. Чего бы стоили наша революция, наша борьба, наши советские традиции, если б мы — особенно теперь, имея уже такой богатейший опыт, — строили воспитательную работу в колониях с оглядкой на уголовную романтику! Вы со мной согласны? — спросил он Загоруйко.

5

Собственно, чёткой программы у него пока не было. Знал лишь в принципе, что следует предпринять, чтобы исправить положение в Броварах. Так, догадки, интуиция, кое-какие детали. Поделившись с Осотским и Загоруйко своими соображениями, Антон Семёнович велел к двум часам дня собрать весь персонал для разговора.

— А пока побуду в воспитательской. В случае чего найдёте меня там.

В воспитательской, куда пришёл Макаренко, шёл тяжёлый разговор с колонистом Киселём.

— Никакого сладу с ним нет, товарищ Макаренко, — пожаловался воспитатель. — Украл ботинки — я ему простил, теперь вот у себя в токарном цехе заставляет других колонистов отдавать ему готовые детали...

Кисель глядел на Макаренко в упор, изучая реакцию на характеристику, которую ему давали. Антон Семёнович молчал.

Воспитатель между тем продолжал:

— Скажи, Кисель, ну что тебе ещё от жизни надо? Ведь накормлен, одет, в школу ходишь, профессии тебя тут обучают. А ты?.. Ну что с тобой ещё можно поделаться?

Голос у воспитателя мягкий, ровный, слова, которые он говорит, как бы круглые и тоже мягкие, словно бы извиняется человек, что вынужден укорять.

Антон Семёнович ждал, что вот сейчас последует в ответ то, чего эта размазня и заслуживала. И не ошибся.

— А вы мне в морду дайте! — посоветовал Кисель. — Говорят, помогает.

И тут Макаренко не выдержал. Он поднялся со стула, медленно подошёл к подростку. Остановился перед ним, слегка наклонился и, близоруко щурясь, поглядел ему прямо в глаза. Кисель сперва вздрогнул, встретив его взгляд, но потом взял себя в руки и продолжал стоять с независимым и дерзким видом. Макаренко крепко взял его за плечо и жёстко произнёс:

— Погуляй пока!

Кисель вжал голову в плечи и отступил на полшага, но продолжал всё так же упорно глядеть на приезжего начальника.

— Ну, — тоном выше произнёс Макаренко. Произнёс уверенно, будто ни капельки не сомневался, что будет так, как он сказал. Кисель попятился и, стукнувшись спиной о дверь, мгновенно оказался в коридоре.

Воспитатель недоумённо смотрел на Антона Семёновича. «Как же так? — читалось на его лице. — Сам Макаренко, всем известный и всеми признанный Макаренко — и такое?.. Если я что сделал неправильно, показал бы, как надо разговаривать с такими упрямыми. А он на тебе — взял и выгнал. Так-то и мы умеем!»

Антон Семёнович обернулся:

— Вы что, боитесь его?

— Почему же боюсь? Нет, конечно.

— Тогда почему же вы так разговариваете с ним? Разве вас не возмущает его отношение к вам? Почему вы не даёте ему почувствовать ваше возмущение? Разве вы — не живой человек? Отчего в вашей реакции на

его наглость — такой инертный фатализм: он издевается над вами, а вы спокойно сносит от него это?..

— Антон Семёнович, товарищ Макаренко, а как же ещё? — недоумённо пожал воспитатель плечами.

— Не знаю, — ответил Макаренко. — Не знаю, — повторил он. — Всё зависит от вас. Но если иметь в виду, что вы хотите как-то повлиять на под-
ростка, то не так, как вы.

— Вы считаете, что выгнать лучше? — не с упрёком, а скорее с оби-
дой спросил воспитатель.

Антон Семёнович словно не заметил укоризны.

— Любая реакция взрослого человека на поступки ребёнка должна быть естественной реакцией нормального человека. Если вы разгневаны, так почему вы должны скрывать от него, что он вызывает гнев?

— Современные методики учат другому, — уверенным тоном возра-
зил воспитатель.

— Что вы имеете в виду? Какие методики? Кстати, как вас зовут?..

— Остап Игнатьевич. А методики... Да вот же! — обрадовано показал Остап Игнатьевич на полку, где стояло несколько книг, лежали подшивки журналов. Он снял один. — Вот, в журнале «Коммунистическое просвещение», в третьем номере, разве вы не читали?.. Почитайте.

Он протянул Антону Семёновичу раскрытый журнал. Макаренко бро-
сил взгляд на публикацию. На полях пестрели кем-то поставленные галоч-
ки, восклицательные знаки, очевидно, обозначающие нечто самое значи-
тельное. Антон Семёнович пробежал первый из отмеченных фрагментов
статьи. «Когда приходится с ребёнком или подростком проводить беседу о
нарушении им правил внутреннего распорядка школы, о совершении им
недопустимого для школьника поступка, надо вести эту беседу спокойным,
ровным тоном. Ребёнок должен чувствовать, что учитель даже при приме-
нении мер воздействия делает это не из чувства злобы, не рассматривает
это как акт мести, а исключительно как обязанность, которую выполняет в
интересах ребёнка...»

— Н-да, прямо рождественская сказка, — иронично заметил Антон Се-
мёнович. — И каким же целеустремлением направляется подобный совет,
по-вашему? Почему же воспитатель должен изрекать свои нравоучения
ровным голосом?

— Как же! — удивился Остап Игнатьевич. — Не кричать же на него!

— Я и не говорю, что кричать. Но почему — ровным голосом? Поверьте мне, — продолжал Макаренко, — нотация, вся эта словесная грызуха ничего, кроме сопротивления, протеста у детей не вызывает. Вот скажите, как вы поступили, когда узнали, что он украл ботинки у соседа по общежитию?

— Я вызвал его и побеседовал. Кстати сказать, Антон Семёнович, он оценил это и даже вернул ботинки на место. Я пообещал ему, что об этом никто не будет знать. И он действительно больше не крадёт.

— Так. Не крадёт, значит. Но зато теперь он, как вы сами только что сказали, принялся за другое. Теперь он бездельничает на работе, делает вид, что трудится, за какую-то награду часть выработки берёт у другого колониста. Он вроде бы не обманул вас и из благодарности не крадёт. Зато совершает другие проступки. Сегодня вымогает. Завтра начнёт выигрывать в карты. И так бесконечно. Он просто эгоист. У него потребность обогащаться за счёт других. Фантазия у него богатая, так что вы не успеете даже фиксировать, каким образом он будет обогащаться в другой раз, в других случаях. Не думали так?

— Но почему же, Антон Семёнович?

Вот теперь Макаренко почувствовал в голосе воспитателя удивление и заинтересованность. Значит, разговор все-таки не бесполезен.

— Это не коммунистическое воспитание, Остап Игнатьевич. Это — «чуткость» в кавычках, она свойственна буржуазному воспитанию. В такой работе, в таком воспитании нет ничего принципиально нашего. Заурядный случай парного морализирования, когда воспитанник и воспитатель стоят в позиции тет-а-тет, а что из этого следует?.. Смотрите. Мальчик остался независим от общественного мнения коллектива. Он не пережил ответственности перед всеми за свой проступок. Его мораль складывается как индивидуальные расчёты с вами за ваше молчание и вашу готовность покрыть его, поверить ему. А представьте, что на вашем месте был бы другой человек, более требовательный, более взыскательный... Выходит, личность колониста будет строиться в зависимости от случайных комбинаций: сегодня он приспособится к отношениям с добреньким человеком, завтра — с человеком крутым. Послезавтра...

Ну, хорошо, вы человек, защищающий социалистический идеал, но завтра на его пути встретится троцкист. И ваш Кисель тут же наденет его одежду. И, наконец, самое главное... Кража произошла в коллективе. Вы позволили отряду думать что угодно, подозревать кого угодно. Своим сокрытием виновника вы воспитываете в коллективе полнейшее безразличие к тому, что в нём происходит. Так откуда же в нём возьмётся после этого опыт борьбы с врагами коллектива? Где возьмут они опыт страсти и бдительности? Как они научатся влиять на положение дел — сейчас в коллективе детском, а завтра в коллективе взрослом?..

— Антон Семёнович, но ведь ребята могли бы и ошибиться и в оценке происшедшего, да, возможно, и в мерах. Думаю, они просто-напросто избили бы его. У них ведь это первое дело...

— Конечно, нелегко подвигнуть коллектив к правильной оценке и правильному решению. Но в этом ваша миссия — помочь им. Вы меня понимаете?.. Сделайте ставку на таких ребят, утвердите в коллективе такой тон, такой стиль отношений, что коллектив будет правильно и справедливо оценивать каждого и правильно, справедливо реагировать на его поведение. Для этого требуется мастерство...

В дверь постучали. Заглянула конопатая мордочка Дмитра Мирного.

— Вы чаю просили, Антон Семёнович. Я принёс.

— Спасибо, Дмитро. Это кто же такой красивый чай умеет заваривать?

— Це мы з дидом Бабенко.

— Кто такой дед Бабенко?

— А вахтер же на прохидных.

— А, понятно. Ну что ж, Дмитро, спасибо тебе, и дедушке Бабенко передай от меня благодарность.

Остап Игнатьевич, лучась благодарностью за то, что Макаренко удостоил его вниманием и не отчитал за оплошность и неопытность, покопался в каких-то своих бумажках и тоже вскоре вышел. Антон Семёнович остался один и задумался, о чём будет говорить с персоналом колонии, как и с помощью чего быстро и эффективно исправить положение тут.

И тут пришла на ум озорная мысль.

Ахматов сказал, что уже ознакомился с рукописью «Методики». Антон Семёнович мог предположить, что не всё в ней вызовет восторги начальника отдела. Но он был полностью уверен,

что «Методика» увидит свет. А если апробировать её на Броварской колонии — больной, запущенной, провальной?.. Конечно, сперва надо навести тут элементарный порядок. Но как? Никакие постепенные изменения не будут достаточными. Нужна какая-то такая бурная реакция, нужен взрыв, подобный тому, какой произошёл, когда в своё время горьковцы переехали из своей первой колонии под Полтавой в Куряж. Там, в зданиях бывшего монастыря, усилиями умников из Наркомпроса и персонала компрометировалась сама идея перевоспитания правонарушителей: Куряжская колония была притоном, воровским шалманом — и не более того.

Тогда в Куряже он сумел, имея полторы сотни горьковцев, сотворить взрыв — такой для колонистов неожиданный, такой сильный и убедительный, что прыгнули под облака ни во что хорошее уже не верившие триста детских душ и все их представления о жизни.

Блестящая военная выправка горьковцев, безукоризненный строй, знамя, оркестр, дисциплина, их мажорное настроение, очаровательная пацанья форсистость, основанная на гордости за свой коллектив, а главное — то, что горьковцы баснословно богаты, имея красивую одежду, вкусную и сытную пищу, мебель, кузницу, сапожную мастерскую, свиноферму, лошадей, коров и ещё многое-многое, причём всё это нажито, создано собственным трудом — ах, да было ль у горьковцев хоть что-нибудь, мешавшее завоевать куряжан не за какие-то там дни или недели, постепенно, а мгновенно и бесповоротно!

Но в Куряже за Антоном Семёновичем стояла колония имени Горького, прошедшая через бури и испытания, закалённая в четырёхлетней борьбе, традиции прочного и жизнелюбивого коллектива, состоявшего из единомышленников-пацанов и единомышленников-взрослых. Здесь же он один, если не считать Осотского, ну, может, ещё двух-трёх толковых воспитателей. Но Осотский растерялся, не сумел ухватить ни одной ниточки, потянув за которую можно вытащить инициативу из рук персонала, судя по всему, частью находящегося во власти злейших педагогических предрассудков, частью же и вовсе не имеющего никаких педагогических принципов, кроме правил — «как выйдет», «так и при батьках було».

Когда-то в колонии имени Горького и позже в коммуне

имени Дзержинского он научился немедленно анализировать обстоятельства, обстановку и немедленно действовать. Обретенная с годами педагогическая техника, способность, видя одно, предугадывать на много вперед все возможные последствия уже не требовали напряжения для такого немедленного анализа и немедленного действия. Должно быть, это и было то, что называют опытом.

Сейчас он снова, как в двадцатом году, столкнулся с обстоятельствами, которые диктовали немедленное действие, но ничего, кроме интуиции, здравого смысла и общей идеи, у него для этого пока не было.

Столкнувшись с горсткой неуправляемых несовершеннолетних правонарушителей, он мог бы полагаться на себя, на свой предыдущий опыт, на своё влияние и, безусловно, добился бы нужного результата. Здесь же было иное — большой коллектив, если так можно назвать четыреста пятьдесят малолеток, прошедших через суд или комиссию по делам несовершеннолетних, да ещё полсотни взрослых, считающих существующее положение вещей если не нормальным, то допустимым. Если бы даже удалось убедить персонал, что они должны действовать по его, Макаренко, рецептам, им ещё надо обрести такой же опыт, каким обладает он, пройти тернистый путь проб и ошибок, без которых любая рекомендация, принятая на веру, останется бесплодной. Самое ужасное, что даже и заинтересованные в хорошей работе педагоги, судя по Остапу Игнатьевичу и информации Осотского, слепы и хватаются за первое, что попадает под руку. Чаще всего это советы «дядькив» «держат и не пущать».

Он ещё не спросил, как внедряются тут рекомендации отдела трудовых колоний, но и без того из увиденного достаточно ясно: никак. А если что и принято, то в самом уродливом виде. Те же пацаны с блокнотиками у входа в спальный корпус... Они полны важности, получив задание записывать нарушителей, а взрослые искренне считают, что, превратив воспитанников в надзирателей, внедряют самоуправление. Мальчик с ключами в общежитии. Тоже млеет от доверия: как же — другие сидят взаперти, а он вот осеиен правом открывать и закрывать дверь к ним... Спокойно глядеть на это невозможно.

Он сейчас почти знал, что надо делать. Идея завоевания Броварской колонии уже в нём сформировалась,

но что-то ещё держало её в глубине, как дуб держит вызревший жёлудь в чашечке основания. Должно быть, надо подождать ещё некоторое время, вытерпеть эту идею, чтобы она созрела до конца.

Попив чаю, он раскрыл планшетку, взял оттуда конверт — вынутое сегодня утром из почтового ящика письмо от некоей Миллер, приславшей на его имя в Гослитиздат отзыв о «Педагогической поэме». Ещё раз пробежал по старательно выведенным строкам. Судя по всему, автор письма учительница — и, как говорится, не без искры божьей, аналитик, не привыкшая всё принимать на веру. Роман, как она пишет, прочла одним духом, некоторые места перечитала по нескольку раз. Всецело признавая новаторский характер педагогики Макаренко, восторгается его мужеством и гневно обрушивается на некоторые детали его воспитательной системы, с которыми не может согласиться.

Писем с отзывами на роман он получает всё больше и больше. Многие из них требуют лишь обыкновенной благодарности за внимание. Отвечает на них, как правило, Галина Стахивна, предварительно получив от Антона Семёновича указание, что нужно написать в каждом конкретном случае. Готовый ответ после показывает ему. Иногда она позволяет себе высказать от его имени и свои мысли. Антон Семёнович и удивляется, и не удивляется совпадению их мнений, только подшучивает:

— О таком литературном секретаре, пожалуй, сам Толстой не мог мечтать!

Шутки-то шутками, но отсутствие свободного времени, постоянное напряжение в делах не позволяют ему отплатить вниманием всем своим корреспондентам, а в последнее время к тому же его всё чаще стали приглашать на встречи с читателями, причём не только в Киеве, — отказывать неловко, да и самому такие встречи на пользу.

Вообще говоря, выход романа в свет принёс ему не только счастье, но и ещё нечто, похожее на тревогу. Особенно, когда появились критические рецензии. Всякий раз он вспоминал два отрицательных отклика на музыку Шостаковича, появившиеся минувшей зимой в «Правде», по слухам, по распоряжению товарища Сталина, — «Сумбур вместо музыки» и «Балетная фальшь». Не без опасений недавно написал Елене Марковне Коростылевой, редактору романа: «Я только и жду, что вот-вот будет

напечатано: «Так называемая «Педагогическая поэма» представляет собой набор самых посредственных фраз, вовсе она не педагогическая и ничуть не поэма, поэтому...»

Должно быть, из-за такого опасения в него вселилось некое суеверие: если однажды оставить без внимания чью-то критику, она тотчас вырастет во всеобщую хулу. Письмо Миллер содержало немало пищи для размышлений. Потому и взял его с собой. Помимо всего, как оказалось — кстати. Привычка заниматься одновременно несколькими делами была у него давней и стойкой, и обычно именно это делало работу ума более продуктивной.

Он отвинтил колпачок авторучки, поставил дату, задумался. Он имел обыкновение, когда писал кому-то, словно бы беседовать с адресатом. Выскажет мысль и представляет: а как отреагирует на неё оппонент. Миллер дала немало поводов скрестить с нею теоретические копыя...

«Уважаемая Татьяна Александровна!» — написал он и снова задумался. Ещё при первом прочтении её отзыва он наметил несколько позиций, требующих пространного разъяснения и тех точных слов, которые ещё надо было поискать. Показалось, например, что у Татьяны Александровны, в целом правильно оценившей и понявшей суть теоретических споров Макаренко со своими оппонентами и сочувственно отнёсшейся к перипетиям, связанным с ними, как-то чересчур идеализировано представление о педагогической науке и практике вообще. Удивляется, недоумевает Миллер: отчего такая вроде бы совершенная воспитательная система, какую вывел Макаренко, постоянно давала сбои? Не она первая высказывала такое суждение. Очевидно, это типичная точка зрения: раз есть метод, значит, он должен приносить вот такой-то, а не иной результат. А если не приносит, то какой же это метод?

Что сказать ей на это?

Он давно уже усвоил, что так называемая чистота педагогических воззрений — собачья чушь. Воспитание — часть жизни, в которой действуют те же законы, что и в окружающей жизни. Человека воспитывают, формируют быт, забота о хлебе насущном, горькая любовь и сладкие надежды, радости и огорчения — всё вместе, исключительно вместе! Не педагогическая система сбои давала в колонии имени Горького, а жизнь вносила в педагогику свои законные коррективы!

«Жизнь не состоит из одних идеальных вещей, и в этом её прелесть, — писал он. — Такова была и есть моя жизнь, и, вероятно, ваша. Жизнь всегда есть цепь коллизий, следовательно, всегда приходится отступать от идеального поступка, приходится жертвовать какой-то одной истиной для того, чтобы другая истина жила. Разве вы не замечали этого жизненного закона? Если хотите, это закон диалектики. Именно поэтому вы мою книгу читали с увлечением, что я не прикрыл и не прикрасил моих трагедий».

Истина... Это ведь в точных науках она может быть несомненной. А квадрат плюс В квадрат равняется С квадрат... А в педагогике — как в жизни: то, что сегодня истинно, завтра ей начинает противоречить. Персонал Броварской колонии тоже руководствуется какой-то истиной, кое-кто искренне пытается действовать как надо, а получается нечто несуразное и нелепое.

Месяца два-три назад он объяснял бы всё это ошибками, плохой работой администрации.

В какую педагогическую схему уместить явление, которое обнаружил сегодня в этом учреждении — существование тут преступной романтики, преступной иерархии? Это — тоже жизнь, она и есть истина, на которую нужно реагировать... Но как? Безусловно, группировки можно разобщить. Но в них ли дело? Вот собрали в Броварах четыреста пятьдесят правонарушителей. Да, общество вправе защищать себя от тех, кто ему мешает, в том числе и от преступников. И ничего эффективнее изоляции в качестве такой защиты человечество за всю свою историю пока не придумало. Правда, в последнее время стали говорить, что правонарушения могут быть и предупреждены. Однако это по сути своей верное утверждение пока не более чем благое пожелание. Как-то раз на совещании в наркомате Балицкий в своём докладе сказал несколько слов в пользу такой работы. Один из начальников областных управлений НКВД, видимо, желая потрафить наркому, поддержал его мысль, но тут же всё и перечеркнул, сказав:

— Но самая наикраша профилактика — це тюрьма!..

На заре истории преступников просто-напросто изгоняли из племени, позже стали ссылать на необитаемые или малообитаемые земли. Но мир становится всё теснее, изгонять некуда, вот и приходится преступивших дозволенное на какое-то время запирать, собирать

за забором, за колючей проволокой, под охрану вооружённых людей. Суровая и жестокая необходимость? Антон Семёнович принимал её с большими оговорками. Особенно, когда речь шла об изоляции несовершеннолетних. Тут сердце его вскипало невыносимой болью.

Конечно, чего проще: закрой ворота колонии, запри на засов, поставь охрану — вот уж общество свободно от беспокойства за своё благополучие, спокойный труд и отдых... Но такое положение вещей устроило, удовлетворило бы общество, построенное на основах индивидуального, группового и коллективного эгоизма. А советское общество — разве оно не заинтересовано вернуть к нормальной жизни случайно оступившихся? Но даже и те, кто преступил закон сознательно, кто вполне отдавал себе отчёт, принося активный вред людям и государству в целом, разве они потеряны? И разве не является возможным вернуть их не просто склонившимися перед силой, а действительно исправившимися, с такими же жизненными установками, какими обладают те, от кого их на какое-то время изолировали?

Но вопреки естественной потребности человека объединяться с кем хочется, с одной стороны, а с другой, вопреки сугубо педагогической цели, просто разумной постановке вопроса, при которой отрицательное должно нейтрализоваться положительным, — они собраны в группы на каких-то уравнилельных началах. Причём начала могут быть и такими примитивными, как в Броварах: вот в этой группе — совсем отпетые, в этой — тоже отпетые, но ещё не совсем, ну а третьи — те, кто умеет соблюсти видимость того, что вроде бы поддаётся положительным влияниям, а на самом деле, попросту говоря, легче других приспособился к новой среде...

Как же, уважаемая Татьяна Александровна, найти идеальное решение в такой обстановке?..

Интересно, а известно ли ей, что обыденное сознание людей наделяет прошедшего через суд ярлыком преступника? Известно ли, как остро чувствуют это осуждённые, а особенно несовершеннолетние? Как правило, любого из них пугает такой ярлык, мучает страх, что там, на свободе, он никогда не будет никем понят и прощён. И вот вам стремление восстановить своё утраченное или обесцененное «я» тем путём, который приводит к консолидации с себе подобными. Ведь восстановить свою утрату там, где они находились до осуждения,

они не могут — их оттуда изъяли! Значит, в колониjsкой обстановке, вместе с теми, кто, как и они, нарушил закон, совершил преступление. «Пусть я плохой, — начинает думать каждый из них, — но не я один такой здесь!» И вот вам первый педагогический диссонанс: мы хотим воспитывать подростка на основе законов и норм общества, а он объединяется с другими на основе противостояния этим законам и нормам. Всякая среда, прав Загоруйко, имеет свои традиции, внешние атрибуты. Почему же их не иметь и колонистам? Это естественно! И нет ничего удивительного, что подростки-колонисты имеют свои табели о рангах, свою жизненную философию, не согласующуюся с общепринятой, свои понятия о дурном и хорошем.

Беспризорные двадцатых годов просто одичали от голода, горя, от бесприютности. И большинству из них достаточно было вкусить полноценной жизни, чтобы перестать беспризорничать, с радостью сесть за школьную парту, стремиться получить профессию. Нынешнего несовершеннолетнего правонарушителя к преступной жизни привели другие причины — потому нужна совсем иная стихия, способная увлечь в достойную и честную жизнь, — стихия могучая, такая, что дух захватит! Какая же?

Обладая пятнадцатилетним опытом работы с беспризорными, опытом, какому могут позавидовать многие, к тому же располагая некоторой властью диктовать рецепты и решения, Антон Семёнович вовсе не считает себя всемогущим педагогическим магом. Более того — чувствует беспомощность, ничуть не меньшую, чем в тот момент, когда он, новоиспечённый заведующий никому не известной, затерявшейся в лесу под Полтавой колонии, в полном отчаянии и педагогическом бессилии ударил воспитанника. Миллер справедливо осуждает его за это педагогическое грехопадение.

Что было, то было, жизнь есть жизнь. И всё же... «Без этого мордобоя, — решительно признался он сейчас незнакомой своей оппонентке, — не было бы колонии Горького и не было бы никакой поэмы. Но пусть это не смущает вас: я ведь признаю, что в такой пощёчине есть преступление. Это я говорю совершенно серьёзно — преступление. Бить морды нельзя, хотя бы в некоторых случаях это было и полезно... Я совершил преступление, потому что я был немогущ и была немогуща моя педагогическая техника. Я не мог справиться с пятью ребятами,

а теперь в Дзержинке 1100 ребят, и мордобой невозможен».

Он возлагает немало надежд на «Методику организации воспитательного процесса». Но способна ли она изменить положение в таком учреждении, как Броварская колония? О какой тут педагогике, о какой серьёзной методике может идти речь, если, оказывается, судьбу колонии вершат жулики! Ну хорошо, на место Спивака придёт идеальный, честный администратор, следующий постулатам «Методики», которой его снабдил Наркомат внутренних дел. Но достаточно ли одного этого?

Сама собой напросилась аналогия из его семейного быта недалёких времён. Когда они поженились с Галиной Стахивной, была жива ещё Татьяна Михайловна. Свекровь и молодая невестка словно бы состязались в том, как доставить приятное Антону Семёновичу. И полем их состязания чаще становилась кухня. Он тогда удивлялся: обе пользовались одними и теми же продуктами, одной и той же посудой, одной плитой, даже технология блюд и то была одна — а еда получалась у каждой ну совершенно разная! Почему?..

А тут «ингредиенты» и того сложнее — люди. И люди необычные.

У него всё не выходило из памяти пацаны с блокнотиками в руках. До чего можно упростить и опошлить прекрасную идею ребячьего самоуправления!

Ах, если б только эту идею, если бы только в этой колонии — сколько человеческого опыта, сколько стоивших мук и крови мыслей и открытий часто переводится на язык невежества и пошлости! В любой другой области это имеет пагубные последствия, а уж в воспитании хуже всякого вредительства!

Тот же карцер... Сколько страстей, сколько борьбы оставили позади те, кто сумел ещё в условиях царского режима добиться упразднения карцеров в детских учреждениях! Но вот находится некий Спивак, которому наплевать на здравый смысл, на гуманистические принципы советской педагогики, наконец, на руководящие предписания — и в детском учреждении реанимируется эта ужаснейшая форма унижения личности, тюрьма в тюрьме, как совершенно справедливо называли заменившие карцер зарешеченные спальни мальчишки-дежурные... И не по ошибке какой, ведь по глубочайшему убеждению действовал Спивак! Иначе не написал бы в ответ

на запрет Макаренко сажать провинившихся колонистов в карцер рапорт, похожий на донос!

Миллер упрекает его в том, что в романе слабо прописана роль педагогического коллектива. Что сказать на это? Во-первых, он ставил перед собой совсем иную цель — показать становление ребячьего коллектива. Хотелось пробудить в людях любовь, симпатии к детям — пускай заблудшим, пускай даже падшим, но, как он всегда был убеждён, способным воспарить высоко и гордо. И, кажется, это удалось. И в жизни, и в романе. Разве этого мало?

Но и это не самое главное.

Много лет назад, заканчивая Полтавский учительский институт, он написал выпускное сочинение «Кризис современной педагогики». Ещё тогда, проанализировав опыт дореволюционной школы, он пришёл к выводу, что слабостью, в сущности, всех известных воспитательных систем было то, что объектом педагогического исследования является ребёнок, а не его жизнь. Ещё тогда он понял, что грамотный педагог должен уметь организовать жизнь ребёнка, учитывать в своей работе многообразные влияния на процесс его становления. И вся дальнейшая педагогическая деятельность Антона Семёновича была проверкой этой идеи. Она в чём-то видоизменялась, в ней обнаруживались какие-то новые грани, но в целом он всю жизнь руководствовался ею. И хорошо было, когда рядом с ним работали люди, разделявшие эту идею, — Елизавета Фёдоровна Григорович, Николай Эдуардович Фере, Виктор Николаевич Терский, другие. Но воспитательские скипетры находятся и в руках таких, как Спивак, как «олимпийцы», о которых рассказал он в «Педагогической поэме».

Ему понятен внутренний смысл вопроса, который задала Миллер. Вот, мол, были босяки, беспризорные, малолетние преступники, которые стали в колонии примерными людьми. Где же те взрослые, которые всё это сотворили? В чём их роль? Ведь кто-то же противостоял влиянию преступного мира, стихии, каковой являлась беспризорщина?

Да, он тоже сначала думал, что перед ним стоит весьма скромная задача — с помощью нескольких педагогов-воспитателей поднавести марфет на характеры правонарушителей, приспособить их к предстоящей жизни. На большее он тогда не рассчитывал. Так бы оно и было, если б он руководствовался идеей воздействия

положительного ядра педагогов на отрицательное — колонистов. Но уже совсем скоро, с каждым новым вершком роста коллектива горьковцев, само дело воспитания колонистов стало предъявлять всё новые требования и к нему самому, и к коллективу пацанов, и ко всем взрослым. Так что и вопрос о взрослом коллективном влиянии отпал сам собой. Те, кто работал в ту пору в колонии, увидели, что никаких особых правонарушителей нет, а есть маленькие люди, попавшие в беду. И совершенно очевидной стала цель: не перевоспитывать, а вести ребят к ясной цели, воспитывать так, чтобы росли они настоящими людьми...

Вот такие дела, уважаемая Татьяна Александровна! Так что посади на место Спивака кого угодно, будь он хоть семи пядей во лбу, ничего у него не выйдет путного, если он организует жизнь колонии по принципу противостояния якобы очень и очень правильных людей — воспитателей и заблудших овечек — злочинцев, как на Украине называют правонарушителей.

Мысленный диалог с Миллер, кажется, подсказал Антону Семёновичу выход из положения, в котором оказалась эта колония.

Ну да! Четыре с половиной сотни пацанов — это же четыреста пятьдесят пусть каких-то, но жизненных опытов, четыреста пятьдесят жизненных позиций, нравственных напряжений!

Да не может быть, чтобы, кроме преступного своего багажа, не взяли они от окружающей жизни того доброго и настоящего, что делает людей людьми!

Да, да! Нужно обратиться к ним, к самим колонистам, к их разуму, к их сердцу!

А взрослые... И взрослые, те, кто тут не ради корысти, не могут не глядеть дальше собственной кормушки!

Ах, какое же вам спасибо, дорогая Татьяна Александровна, за вопрос ваш, за претензию вашу, за критику, которая оказалась оселком, на котором отточилось решение!

Что ещё-то вас волнует? А, почему оставил колонию без боя? Почему не сражался за неё до последнего? Прочтите, Татьяна Александровна, «Педагогическую поэму» ещё раз, внимательнее. Нет, не мстил он наркомпросовцам, не хотел, чтобы колония с его уходом превратилась в могилу! «Колония Горького должна была развалиться не потому, что я ушёл,

а потому, что в ней были заведёны новые порядки. Вы же прекрасно понимаете, что выметали не только меня, а решительно всё, что было в колонии сделано: организацию, стиль, традиции, людей, «макаренковщину». Какой же был смысл оставлять ядро — это могло привести к бунту: моё ядро без боя не уступило бы позиций, а бой был заведомо неравный. И я не оглянулся не потому, что мне не было больно, а потому, что оглядываться было нельзя: надо было скорее забыть, чтобы дальше работать. Нет, обвинить меня в развале колонии можно только при большом пристрастии. Я сделал всё, чтобы моему преемнику было легче работать. Моя фигура и фигуры моих друзей могли только мешать. Впрочем, вы не правы и по существу — в самой колонии всё осталось для того, чтобы она могла работать, остался прекрасный коллектив и остались воспитатели — их, правда, потом разогнали...»

Тем не менее колония имени Горького своё дело сделала. Ныне, с передачей её в ведение НКВД, дела там помаленьку поправляются, и жизнь светлеет. Но главное — те сотни пацанов, которым колония помогла встать на правильную дорогу. Кроме того, там выковалась его педагогика, с помощью которой, он уверен, ему удастся и здесь, в Броварах, в условиях совершенно иных, доказать, что единственно правильное отношение к колонисту — это вера в него, в ценность его личности, как бы низко он ни пал, в каких бы немыслимых обстоятельствах ни оказался, какими бы предрассудками ни был заражён, каким бы вредным нормам и традициям ни следовал.

Он сложил вчетверо листочек с письмом к Миллер, спрятал его в планшетку, пожалев, что нет с собой конверта, чтобы отправить тотчас, и достал новый листок.

До сбора тех, кого он пригласил для разговора, ему хотелось набросать хотя бы вчерне план действий.

Кажется, он знал теперь, что надо делать, но предварительно решил обкатать свои намерения, выслушав мнения Осотского и других сотрудников колонии... Он подумал, что сегодняшнее положение в Броварах — это даже и не камень, а огромный валун на дороге его «Методики», на пути того справедливого и умного дела, которому он служит. И доказать свои идеи именно на примере возрождения Броварской колонии — значит, получить неоценимые аргументы, против которых ни у кого не возникнет возражений.

Интерес, любопытство, внимание, заинтересованность — каких только слов не придумано, чтобы обозначить направленность чьей-либо мысли к кому-то или чему-то. И в каждом — свой эмоциональный оттенок, свой особый, неповторимый смысл. Но даже если сложить все эти слова вместе, они не отразят того чувства, с каким наблюдал за происходящим сейчас в колонии Коля Пунченко.

Казалось бы, дело его какое? Крути себе баранку да молчи побольше. Но, уважая это золотое правило, Николай обладал ещё двумя качествами, которые выделяли его из всей шофёрской рати.

Во-первых, он был из тех, о ком говорят, что умеют они ласково обойтись не только с родимой матушкой.

«Фордик» он содержал в исправности, автомобиль ослепительно сиял, как личико невесты, идущей под венец. Но ему было мало, чтобы и Ахматов заметил его рвение и старание. Тот, кто внимательно наблюдал за Пунченко, получал прекрасную иллюстрацию к пословице: «Терпение и труд всё перетрут».

Вот стоят несколько автомобилей перед подъездом наркомата. Иные из водителей, важно восседая за рулём, клюют носом в ожидании «хозяина». Другие читают, часто одну книжку несколько месяцев, хотя, впрочем, есть среди них и по-настоящему заядлые книгочеи. Третьи, вынужденно зажигая, спешат в кружок таких же обменяться мнениями о том о сём — спешат, даже если обменяться и нечем.

Николай не принадлежал ни к одной из трёх названных категорий. Заглушив мотор, он, надо или не надо, вынимал комок ветоши и принимался старательно протирать то лобовое стекло, то фары, то ещё что. Или, открыв капот, с отвёрткой в руках возился в моторе. Создавать видимость трудолюбия у него не было никакой необходимости, потому что он действительно отличался искренней старательностью, которую все видели невооружённым глазом. Однако Пунченко тонко уловил: Ахматову нравится, что он в отличие от других не бездельничает, не ловит гав по сторонам, — и продолжал пускать пыль в глаза, потому что именно это создавало ему режим полного благоприствования во всём. Нужно отвезти тещу в деревню? Ну кто же откажет, если такая просьба исходит от такого старательного

и безотказного человека! И никому не приходило в голову усомниться в пылкой привязанности Пунченко к теще, хотя могли бы: уж слишком часто вояжировала она туда и обратно. Ахматов закрывал глаза даже на «находчивость» Пунченко, которая частенько выходила за рамки дозволенного. Если, к примеру, в колонии, куда они приехали, разводят свиней, то будьте уверены, что без кусочка окорока Пунченко домой не уедет. Не получит в подарок за обходительность свою — так купит, причём по цене не рыночной, не магазинной, а вовсе какой-нибудь чисто символической.

Почему Ахматов, руководитель строгий и проницательный, спускал Пунченко такую его предприимчивость, сказать трудно. Скорее всего потому, что пороки Пунченко были на виду, а это чаще всего воспринимается как некий дар: другой, дескать, за спиной втихаря мог вытворять и не такое.

Так или иначе, но, уверовав в благосклонность Льва Соломоновича, Пунченко малость подзарылся. Точен и бескорыстен он был исключительно по отношению к начальнику отдела, до всех остальных — снисходил, считая их неизбежной помехой в жизни.

Всё изменилось самым неожиданным образом. Впрочем, не изменилось даже, а разбилось, раскололось — вдребезги, вдрызг, насовсем: и мелкая корысть Пунченко, и его привычка создавать видимость служебного рвения, и неточность, которую он себе позволил, как необходимую добавку к достоинствам, которые в нём всеми признавались. И произошло это не по мановению всемогущей волшебной палочки, а волею обыкновенного человека, в руках которого никакой такой чудодейственной палочки не было, — помнача отдела трудовых колоний Макаренко.

Нет, Антон Семёнович не укорял Пунченко, не призывал его к скромности. Но то, что он сделал, так потрясло Пунченко, что был вот он одним человеком — но раз! — и перед вами совсем другой.

А случилось это так.

Однажды Макаренко потребовалось поехать в Ман-туровку, пригород Киева. Подать «фордик» было приказано к восьми утра на улицу Леонтовича, где жил Антон Семёнович. Привыкнув к попустительству Ахматова, Пунченко подъехал в восемь пятнадцать. Макаренко уже вышагивал, заложив руки за спину, перед подъездом. Оправданий, про запас, у Пунченко всегда полный короб.

Но оправдываться не пришлось. Когда «фордик», лихо скрипнув тормозами, застыл, прижавшись к бровке, Антон Семёнович спокойно, будто ничего не произошло, открыл переднюю дверцу, приветливо поздоровался и, усевшись поудобнее, сказал:

— Поехали. Только вот что. По пути завернём на Крещатик, остановимся на несколько минут возле комиссионного магазина. На углу Комсомольского, возле кафе «Троянда».

— Знаю, — ответил Пунченко.

В магазин так в магазин. Он даже вздохнул с облегчением. Дела делами, а видно, и сам Макаренко может позволить себе оторвать несколько минут для собственных нужд.

На углу Комсомольского проспекта и Крещатика Антон Семёнович вылез из машины, подошёл к магазину, чуть замедлил шаг, вглядываясь в вывеску на стекле, и, видимо, убедившись, что уже открыто, дёрнул на себя дверную ручку.

Вернулся он через несколько минут, неся коробочку, в каких продают часы. Пунченко удивился: зачем Антону Семёновичу часы, если у него есть — золотые, именные, которыми его несколько лет назад наградило ОГПУ Украины. Не успел Пунченко поудивляться и понедоумевать, как Антон Семёнович занял прежнее место на переднем сиденье, а когда Николай приготовился нажать на педаль акселератора, услышал:

— Вот. Часы. Носи и больше не опаздывай.

Пунченко машинально принял коробочку из рук Макаренко, раскрыл и ахнул: «Молния», с массивной цепочкой — предел мечтаний! Но это было для него целым состоянием, и в обозримое время такая покупка не планировалась.

Видно, поняв причину его замешательства, Антон Семёнович произнёс:

— Носи, носи, не смущайся. Это тебе мой подарок. Надеюсь, теперь ты опаздывать не будешь?.. Ну, поехали, мы изрядно задержались, а нас ждут к определённому времени.

Ах, как гнал Пунченко в тот раз свой «фордик»! Кажется, мощность двигателя умножилась тою силой, какая заставляла биться ошеломлённое сердце Николая. Он знал, как и все, что Макаренко бессребреник. Но это, в конце концов, его собственное дело. Что касается Николая, он тоже имеет кое-какие принципы и принять ни за что ни про что от чужого человека

дорогой подарок, разумеется, не может. Он понял, что таким образом Макаренко отреагировал на его опоздание. Но слишком уж дорогим получался урок для Колиного кармана! Мог бы сказать просто: так, мол, и так, опоздал, товарищ Пунченко. Нет, так объявили бы выговор, в стенгазете пропечатали, на профсоюзном собрании проработали или ещё что — мало ли способов наказать человека! Но распорядиться его, Пунченко, зарплатой, никто Макаренко права не давал. Это же два месячных оклада!

По дороге до Мантуровки, пока там стоял в ожидании Макаренко, и весь обратный путь до Киева Пунченко угрюмо молчал, перебирая в памяти, у кого может взять займы, чтобы вернуть долг за «Молнию» сегодня же.

Поздним вечером он постучал в кабинет Антона Семёновича.

— Вот, — положил на стол помнача деньги. — Спасибо за науку, — голос его дрогнул.

— Ты, видно, не понял меня, Коля, — услышал в ответ. — Часы я тебе подарил.

— Да нет, Антон Семёнович, не могу я принять такой подарок, — голосом, полным обиды, ответил Пунченко. — Я вам не родственник...

— Пустяки какие! — Антон Семёнович взял со стола деньги и засунул Пунченко в карман пиджака.

Преппирательства Пунченко были пресечены тем, что Макаренко рассердился и решительно произнёс:

— Ну, всё. У меня нет времени на эти ненужные разговоры. Ступай вон и не приставай ко мне со всякими пустяками.

Пунченко хранил эту историю в глубоком секрете. Как он понял, Антон Семёнович о ней тоже почему-то не распространялся. Ещё два дня промаялся Николай, не зная, как поступить, пока жена не дала совет, который показался Николаю стоящим внимания.

Закончив на следующий вечер работу, по дороге в гараж он заехал на улицу Леонтовича, поднялся на этаж, где живут Макаренко, и позвонил в двадцать первую квартиру. Извинившись за поздний визит, попросил Галину Стахивну:

— Задолжал я Антону Семёновичу. Вот, — протянул он Галине Стахивне свёрнутые вдвое купюры, — передайте ему, пожалуйста.

Антону Семёновичу? — переспросила Галина Стахиевна. — Так вы ему самому отдайте.

— Да понимаете, я сегодня в наркомат уже не вернусь, — попробовал слухавить Пунченко, — а вдруг деньги понадобятся ему раньше, чем встретимся...

Плохо же знал Пунченко Антона Семёновича! Так плохо, что не предполагал: и жена у него не могла поступить, как всякая другая в подобном случае. Кроме того, Галина Стахиевна, слава богу, достаточно времени общалась с чекистской средой, окружавшей их в коммуне имени Дзержинского, да и как педагог обладала какой-то интуицией: в поведении Пунченко она чувствовала нечто, не позволившее пойти у него на поводу.

— Нет, нет, — настойчиво отказала она. — Раз брали у Антона Семёновича, ему и верните.

Чтобы как-то сгладить впечатление от её отказа, пригласила Пунченко выпить чашку чая. Николай отнекивался, но Галина Стахиевна оказалась настойчивее его. За чаем он и признался чистосердечно, что произошло. А теперь, сокрушался Николай, и вовсе не знает, что делать, ведь за попытку хитростью втереть ей деньги за часы наверняка влетит ему от Антона Семёновича по первое число.

— Не мучайтесь, — улыбнулась Галина Стахиевна. — Я не выдам вас. Что касается подарка... Антон Семёнович любит делать их и делает от чистого сердца. Так что носите вашу «Молнию», вам ведь часы действительно необходимы. У вас работа любит точность.

Так вот подрубил Макаренко под самый корень в Пунченко и привычку его заискивать перед начальством, и попытки извлекать выгоды из своего положения шофёра, который возит высокое начальство. Там, откуда он никогда не возвращался домой с пустыми руками, удивлялись перемене. Не удивлялся лишь сам Пунченко.

Но было в Николае ещё одно качество, истребить которое не было дано никому, — любопытство. Он и в НКВД пришёл работать, если разобраться, потому что тут, как он предполагал, пищи для его пытливого интереса ко всему хоть отбавляй. К счастью, любопытство его было невинным и корректным. Он не лез ни к кому с лишними вопросами, ему не требовалось делиться тем, что узнавал, с другими. Многозначительно молчать ему нравилось даже больше, чем говорить. И среди того, что остро интересовало

его, после истории с часами стало на первое место всё, что связано с Макаренко. Он оценил, признал в нём качество, о котором иногда позволял себе молвить:

— Ну-у, если Антон Семёнович захочет, что хошь с человеком сделает. Эт-точно!..

Сегодняшний приезд в Бровары словно бы открыл перед Пунченко занавес, за которым должно произойти что-то необыкновенное.

Он всё же передвинул «фордик» к административному зданию, чтобы иметь возможность наблюдать происходящее с более близкой дистанции.

С утра всё было тихо, спокойно и размеренно, Пунченко даже заскучал. Но потом увидел соскочившего с крыльца Спивака, красного и нахотлившегося, пронаблюдал, как тот, прихрамывая, удалялся к проходной, оглядываясь, словно за ним гонятся. И верным шофёрским чутьём понял, что Спивак «сгорел».

Между первой и второй сменами в цехах к административному корпусу потянулись сотрудники производственной части. Заседали недолго. Вышли не то чтобы такие же, как Спивак, но, как понял Пунченко, чубы им Макаренко натрепал крепко.

Вслед за ними собрались воспитатели. Судя по всему, и среди них кое-кто приходил «по шерсть», а вышел стриженным. Двое прошли мимо «фордика», и Николай уловил недовольную реплику, которую обронил один из них:

— Что же, меня босяки учить будут?..

К этому времени Пунченко успел приручить нескольких пацанов, «бросавших косяка» на его машину.

— Ну, иди, иди, — поощрил он одного. — Что, интересно?

Колонист, как ни странно, лишь пожал плечами и отвернулся. Очень, дескать, надо!

— Наверное, шофёром стать мечтаешь? — спросил Пунченко.

Обычно на такой вопрос никто из пацанов не отвечает отрицательно, даже если и не собирается становиться водителем. Этот же огорошил Пунченко:

— Не-е, не мечтаю.

— Странно, — удивился Пунченко. — А кем же ты будешь?

— Диверсантом. Буду буржуйам вредить.

— Вот это да! А ты знаешь, что для этого нужно?

— Знаю, — невозмутимо ответил пацан. — Учиться надо.

— Ну и как? Пока, я вижу, ты в этом деле не очень-то преуспел. Вот, в колонии оказался.

— Это ничего. Учусь и тут. Так что диверсантом всё равно буду.

Лёд тронулся. Вслед за этим пацаном подошли и другие. Перемолвившись с одним, с другим, с третьим, Николай ответил на все вопросы о заморском автомобиле, даже впустил посидеть в кабине, чем окончательно расположил к себе. Так что огонь любопытства в Пунченко поддерживался щедрой информацией, которой обладали пацаны. А знали они, надо сказать, всё. Или, по крайней мере, почти всё: колонийскому беспроволочному телеграфу позавидовала бы любая украинская деревня, где, как известно, шёпотом произнесённое на одном конце её слово всегда отзывается громко и отчётливо на другом.

Вечером то Антон Семёнович, то Загоруйко звонили в Киев. Оттуда тоже звонили беспрестанно. О чём говорили, колонийская «разведка», к сожалению, не знала. Но Пунченко догадывался, чувствовал: всё это вроде артиллерийской подготовки перед боем.

Предположение усилилось, когда Макаренко попросил его срочно съездить в наркомат, найти инженера Оселка, который передаст с ним то, что нужно побыстрее привезти сюда. Пунченко пожалел, что из стройного сюжета его наблюдений, возможно, самое важное выпадет. Но ничего не поделаешь, пришлось ехать.

Павел Адольфович вместе с двумя сотрудниками отдела погрузил на заднее сиденье «фордика» два тяжёлых ящика, спросил:

— Ну как там?

— Нормально, — заторопился ответить Пунченко, потому что посторонние ответы лишали его возможности самому спрашивать и наблюдать.

Вернулся в колонию он перед ужином. Ящики забрали и унесли в клуб. Самого Николая провели в столовую и усадили за стол. И в тот момент, когда он уже допивал компот, раздались дробные удары колокола, висящего перед клубом.

— Что такое? — поинтересовался Пунченко у колониста, который собирал посуду в опустевшей столовой.

— Общий сбор, — сообщил тот.

Пунченко вышел из столовой на улицу. Из всех помещений колонии в клуб группами и по одному, медленно, нехотя, словно на заклинание, тянулись колонисты. Пунченко тоже не возбранялось пойти туда. Он попал в зал, когда народу там было совсем мало. Колонисты сидели, рассредоточившись по всему залу, не занимая, однако, передних рядов. Эта часть пацанов, как понял Николай, веровала в то, что жизнь сплошной праздник: они молчали, с любопытством глядели на пустую сцену, вертели головами и молчали. Потом в помещение влился второй поток. Эти вели себя поживее: перемигивались, перебрасывались какими-то односложными репликами, во взглядах уже не столько любопытство, сколько издёвка, непонятно что означавшая.

По мере заполнения зала картина стала меняться почти молниеносно. Один из колонистов достал из кармана горсть семечек. Угостил соседей, сам стал грызть, стараясь выплюнуть подальше. В углу заklubился дымок папиросы.

В дверях показались Макаренко, Осотский, несколько сотрудников колонии и прошли вперёд, остановились, не садясь, около сцены, о чём-то переговариваясь.

Появление взрослых людей особого впечатления на присутствующих не произвело. Курили теперь напропалую. То тут, то там можно было услышать крепкие жаргонные словечки. Недалеко от Пунченко несколько колонистов давали подзатыльники по стриженной голове сидящему впереди них пацану. Когда тот оглядывался, корчили невинные рожи. Только отвернётся пацан — снова шлепок. Снова немой и беспомощный вопрос на лице пацана — и снова идиотские ухмылки. Наконец тот спросил: «За что?» — «Не знаешь?» — «Нет». — «А вот за то, что не знаешь, ещё получи!» — сказал один и ударил его сложенной лодочкой ладонью по уху.

Пунченко хотел уже вмешаться, но тут услышал, как с другой стороны послышался треск сломанного стула.

— Алё, начальники, зачем собрали? — раздался чей-то голос.

— Не понял, что ли? — ответил ему кто-то из другого конца зала. — Вся отрицаловка тут. Сейчас бить будут.

Тут-то и произошло то, что было для Пунченко и удивительным, и в то же время неудивительным. Макаренко есть Макаренко. Уж, разумеется, о

не для того собрали в зале всю эту шпану, чтоб они натешились вволю.

Антон Семёнович поднялся на сцену и поглядел в зал. Тут же поднялся и Осотский с каким-то рулоном, зажатым у него под мышкой. Рулон оказался большой картой европейской части страны. Макаренко пронаблюдал, как Георгий Михайлович прикреплял карту булавками на заднике сцены. Пунченко разглядел, что на карте жирными красными линиями выкрашены Волга, Нева, Москва-река, Беломорканал. А в самом центре, севернее Москвы, линия была не сплошной, а пунктирной, но тоже красным. «Канал Москва — Волга», — догадался Пунченко. Уж не думает ли Макаренко читать этим обормотам научно-популярную лекцию о строительстве канала? Только этого им не хватает для полного счастья.

Повесив карту, Осотский громко сказал:

— Сейчас с вами будет говорить помощник начальника отдела трудовых колоний НКВД Украины товарищ Макаренко Антон Семёнович. Прошу тишины.

И без просьбы Осотского колонисты заинтересованно притихли. И тут Макаренко заговорил. Голос его, обычно глуховатый, охрип почему-то, оттого прозвучал так внушительно, что все сразу смолкли.

— Я уверен, что ни один из вас до этой минуты не догадывался, зачем в колонии целый день гости, что тут такое делают, что решают представитель наркомата Макаренко и ваш куратор из областного управления НКВД товарищ Загоруйко. Наверное, кое-кто подумал, что речь идёт о печальном событии, которое произошло сегодня ночью... Правильно?

Зал ответил недружным оживлением.

— Если думали так, то ошиблись.

В это время на сцену подняли те самые ящики, которые Пунченко доставил из Киева, и водрузили на них выкрашенные охрой какие-то изделия, похожие на водопроводные краны, только много больше по размеру.

Дождавшись, когда помощники, сделав своё дело, удалятся со сцены, Макаренко снова обратился к залу:

— Прежде чем я сообщу вам самое главное, ради чего все мы тут собрались, хочу сказать прямо: мне очень и очень не понравилось в вашей колонии. Я ведь побывал во всех трудовых колониях Украины, да и не только, так что, сами понимаете, могу сравнивать. У вас есть всё, чтобы колония ваша была лучшей из лучших, а она, может быть,

самая никудышная. И живёте вы тут очень и очень плохо. Хуже некуда...

Зал снова задышал, оживился и снова притих. Все поняли, что Макаренко — это крупный начальник над всеми колониями, и, прошептав, проворковав что-то в ответ на его откровенность, теперь ждали, что же такого необычного он скажет. До сих пор им говорили тут в основном одно: что колония хорошая, а они плохие, что государство проявляет о них заботу, а они платят чёрной неблагодарностью.

Пунченко попробовал на миг представить себе, а что на месте колонистов чувствовал бы сейчас он. Тикающая в карманчике «Молния» частично отвечала на вопрос. Что-что, а перевернуть душу Антон Семёнович может! Но в истории с часами Макаренко действовал, а не говорил. А слова что? Так, ветер мимо ушей. Если он правильно понимает, каждого из колонийской братии до того, как они сюда угодили, не раз увещевали.

Макаренко спокоен, говорит ровным, уверенным тоном, обрамляя каждое слово паузой, как бы дробя речь на порции:

— Завтра... в нашей жизни... наступит... новый день... и это будет... хороший день!

Можно подумать, что колонисты только и ждали, что вот явится в колонию этот невысокого роста человек, и близоруко вглядываясь в их лица, поцарски, не скупясь, пообещает то, что противоречит, кажется, всему, что составляет плоть их жизни. Ведь колония тут, а не пионерский лагерь! О каких чудесах, о чём хорошем может мечтать колонист? О продуктовой пеленке с «воли», если есть её кому передать, о письме, если твои дела кого-то интересуют, о свидании с родственниками, если, конечно, они имеются и не махнули на тебя рукой. Об освобождении, или, как они говорят, о «воле» мечтают. С первого и до последнего дня. И дни эти могут быть какими угодно, но даже при самой богатой фантазии вряд ли справедливо назвать хорошим даже и лучший из них!

Конечно, помощнику начальника отдела трудовых колоний наркомата всё это известно. Но остановиться бы ему на фразе о завтрашнем дне! Ан нет!

— Да, я не оговорился. Для многих из вас завтрашний день может стать первым хорошим днём в жизни. Потому что с него начнётся нечто такое, за что вас будут уважать, вам будут завидовать, удивляться!.. На верное, мы в

наркомате проглядели, что вы оказались в таких условиях: кроме того, как думать лишь о себе самих, вам ничего и не оставалось... То, что произошло раньше — комиссия по делам несовершеннолетних, помещение в колонию, — я считаю глубоким несчастьем, — гулко отзывалось под сводами клуба, — хотя в нём виноваты и вы сами. Но речь не о том. Все несчастья в жизни рано или поздно кончаются. Когда — чаще всего зависит от самого человека... Рано или поздно кончаются, — задумчиво повторил Макаренко. — Да вы, я надеюсь, и сами в это верите. Верите? Зал зашуршал, задышал, задышался.

— А теперь посмотрите на карту, — Антон Семёнович взял у Осотского протянутую ему длинную указку. — Вы, конечно, читали в газетах, слушали по радио о канале Москва — Волга.

Аудитория насторожилась. При чём тут канал Москва — Волга? Здесь ведь не бюро путешествий, где рекламируют маршруты экскурсий.

— Вся страна ждёт с нетерпением окончания строительства. И не просто ждёт. На больших и маленьких заводах — всюду стараются внести свой вклад в строительство. Кто чем. Делают насосы, каких ещё не делали нигде и никогда. Выпускают сверхплановые машины и механизмы, чтобы послать их на канал, строительные материалы. Но, как во всяком большом деле, там тоже время от времени возникают неожиданные трудности. Возникла она и сейчас... Каналу срочно требуется в большом количестве арматура: водные заглушки, вентили и другие важные и довольно сложные пока для нашей промышленности изделия. Предприятие, поставляющее стройке арматуру, с заказом, к сожалению, не справляется.

Колонисты знали, что несколько лет назад на строительстве Беломор-канала использовался труд заключённых и на канале Москва–Волга такие трудятся. Знали и то, что за ударную работу освобождают досрочно. И у многих смутно шевельнулась мысль, что в словах этого человека в военной форме с петлицами НКВД зарыт какой-то глубокий смысл. Какой? И нет ли тут подвоха?

Не успели колонисты разрешить эту загадку, как Макаренко сам ответил на все невысказанные вопросы.

— Вот мы и решили с вами посоветоваться,— продолжал

он. — У вас в колонии мощный литейный цех, прекрасное оборудование, хорошая токарка, фрезерная. Сами вы народ в основном серьёзный, способный на большое дело. А может, возьмёмся за изготовление арматуры для канала? А?.. Вот, вы видите её, — указал он на ящики. — Арматура сложная, но ведь не так страшен чёрт, как его малюют!..

Зал взорвало удивлением, недоверием, восторгом одновременно.

— Кто? Мы?

— Фартовое дело!

— А почему поручаете нам? Мало литеек на воле?

Крики неслись отовсюду. Но Макаренко их не останавливал. Он глядел в зал, улыбаясь краешками губ, бледный и усталый, и молчал. Наконец из общих криков выделился чей-то голос, спросивший серьёзно и осмысленно:

— Ну а если кто не захочет?

— Я думаю, что это невозможно, — ответил Макаренко. — Ни один уважающий себя рабочий не отказался бы! А кроме того, вы и сами знаете, что всякая буза у вас в колонии как раз потому и происходит, что не нашли вы, в чём проявить свои лучшие качества. А они, такие качества, есть в каждом.

— Ну а если?.. — настаивал колонист.

Пунченко был виден только его стриженный затылок, так как тот сидел впереди него. Пацан, высокий и тонкий, как свечка, встал и, взявшись за спинку стула перед собой, ждал ответа на свой вопрос, который, судя по молчанию в зале, интересовал не его одного.

— Я понимаю, что ты имеешь в виду, — сказал Антон Семёнович. — Народ в колонии всякий, все вы люди разные. Но ведь даже самый никчёмный человечик не хочет быть хуже других. Вот вам и предоставляется возможность проявить себя в серьёзном деле. Проверить, на что способен... Ну а если кто-то, спрашиваешь, не захочет?.. Что ж, значит, ему с нами не по дороге.

В зале снова поднялся шум, превратившийся через несколько секунд в настоящий шторм, и Пунченко замер в страхе: да ведь ещё немного, и начнутся беспорядки — как привести неуправляемую толпу в чувство? Но Антон Семёнович отнюдь не собирался выпускать штурвала из рук — вовремя бросил в зал фразу, которая заставила всех смолкнуть:

— Я думаю, что всё это вы обсудите сами, без меня и

решите, как вам поступить. А сейчас...

И снова зал не то чтобы вздрогнул, но прошёл по нему лёгкий гул, в котором слились слова, вздохи, шёпот, скрип стульев. А Антон Семёнович вдруг молодо тряхнул головой:

— А сейчас хочу сообщить вам ещё об одном важном обстоятельстве. Я думаю, вы возражать не будете. Георгий Михайлович, ваш старший воспитатель, настаивает, чтобы в колонии была снята всякая охрана, ворота открыты, решётки с окон сняты...

Если бы сейчас в окно влетела шаровая молния, если бы из-за кулис вывели настоящего слона, это едва ли так поразило, ошеломило, обескуражило бы колонистов, как сказанное Антоном Семёновичем. Они онемели — иначе не назовёшь состояние, в которое их привела такая неожиданная новость.

Антон Семёнович вернул Осотскому указку и тут же бросил в зал вопрос:

— Ну-ка скажи, Дмитро Мирный, правильное это решение?

— Правильное, Антон Семёнович! — звонко крикнул пацан, которого Пунченко видел утром возле ворот колонии. — Хиба ж мы нэ люди?

— Справедливый вопрос, — согласился Антон Семёнович. — А главное — точный. Может, кто-то думает иначе? Хочу спросить у Кости Вельченко. Где он?

— Ну, здесь Вельченко, — поднялся колонист — один из тех, которые задирали слабого пацана перед началом общего сбора, причём, как заметил Пунченко, он-то и был среди них заводилой.

— А ты что думаешь?

Вельченко неопределённо подёрнул плечами.

— Половина разбежится, — крикнул кто-то, не вставая с места.

— А куда бежать? Земля круглая. Всё равно поймают, — буркнул Вельченко, но на вопрос Макаренко так и не ответил.

Пунченко подсадовал: напрасно Антон Семёнович обратился к этому колонисту! Ведь как хорошо ответил Дмитро! Этим разговор и окончить бы. А Вельченко откровенно бравировал перед всеми показной своей независимостью, сводил на нет настроение, которое с таким трудом было тут воцарено...

Макаренко настаивал:

— Так что же ты думаешь, Константин?

— Поздно, — ответил наконец Вельченко. — Поздно нам. Кабы свиные бычий рог да конские копыта...

— Быть человеком никогда не поздно, — остановил Макаренко всплывшую в колонисте велеречивость. — Мастер ставил в пример твою работу в литейном цехе. Чего ж тебе страшиться? А?.. А мы-то рассчитывали в первую очередь на таких смекалистых, работающих хлопцев, как ты! Неужели боязно?

— Ничего не боязно...

Не знал Пунченко, что Антон Семёнович шёл на острый диалог вполне сознательно. И то, что поднял с места Вельченко, а не кого-то другого, и сами вопросы ему — всё имело глубокие корни, и далёкие цели, и точный расчёт. В зале колонийского клуба сплелись сейчас в тугой клубок две стихи: одна — зовущая вперёд, счастливая и светлая, и другая — озарённая перспективой, но пока ещё застывшая в нерешительности.

— Ничего не боязно, — несильно огрызнулся Вельченко на предложение Макаренко.

— Тогда что же тебя смущает? Говори вслух, вместе сейчас и обсудим!

— А, ёлки зелёные! — махнул вдруг рукой Вельченко. — Уговорили! Я вас знаю, товарищ Макаренко, вы раньше в Харьковской коммуне робылы. Пацаны рассказывали, яка там жизнь. Ни тебе карцеров, ни тебе рёшётки. Все заодно. Завод там — как в аптеке, в белых халатах працуют. Рабфак, техникум... А чем мы хуже? Правду кажэ Дмитро Мирный. И дело вы предлагаете — не для дурней каких!.. Мабудь, и у нас получится! Босяковать — это ведь тоже не морс, правду я кажу, хлопцы?

— Правильно!

— Хватит с нас блатной жизни!

— Надурковались!

— Вот и прекрасно! — широко и открыто улыбнулся Антон Семёнович. — Я был уверен, что мы поймём друг друга. Так что будем считать, что почти договорились. Даю вам на размышления неделю. Подумайте крепко, потому что решитесь если — назад поворота не будет. Кто не согласен — переведём в другие колонии, где полегче. Ясно?

Кто-то что-то говорил, кто-то о чём-то спрашивал, но все слова потонули в нестройном:

— Я-асна-а-а!

Они возвращались в Киев.

Пунченко в зеркале заднего обзора, прикрепленном в кабине, видел, что вышедшие проводить Макаренко сотрудники и несколько колонистов ещё долго махали им вслед. Сам же Антон Семёнович, положив на колени планшетку, вжался в самый угол, глядел устало и отрешённо в одну точку.

После общего сбора он минут сорок сидел в воспитательской, что-то торопливо писал. Закончив, вышел. У крыльца его ждали — проводить и попрощаться. Уже ступив на землю, Антон Семёнович приостановился.

— А, совсем старею. Забыл!

— Что забыли? — спросил Осотский.

— Планшетку на столе.

— Сейчас, — развернулся кто-то из сотрудников, но Пунченко опередил его и первым оказался в воспитательской. Пока искал глазами планшетку, обратил внимание на едкий запах табачного дыма и лекарства там. Так иногда пахло в кабинете Макаренко в наркомате. Он взял планшетку и вернулся.

— Спасибо, — поблагодарил его Антон Семёнович и стал прощаться со всеми за руку. — Что же, благословим друг друга на самое хорошее — на победу, — говорил он не то всем вместе, не то кому-то одному. — Всё будет, как задумали, я в этом уверен.

Пунченко трудно было разобраться в тонкостях того, что произошло в колонии, но он чувствовал, как всё тут непросто. Одно дело, когда зовут на какое-то большое дело добровольцев, сознательных людей, и совсем иное, когда речь идёт о правонарушителях. Что будет, когда откроют ворота, снимут охрану? Беспризорничанье теперь вроде бы уже не в моде, но поди усяди в колонии, когда вышел за ворота — и перед тобой весь мир!

Перед Макаренко такого вопроса не стояло. Подобно тому, как видятся уложившему пока первый венец будущего дома мастеру — ему одному! — и весь сруб будущий, и конёк над крышей, и, при небольшом даже воображении, тихий дымок из трубы, и пахучая черёмуха у крылечка, так Антон Семёнович теперь ясно видел завтрашнюю колонию. Какое-то шестое, седьмое или восьмое чувство позволяло ему верить, что ближайшие дни довершат в колонии то, что там сегодня началось.

Пунченко время от времени бросал мимолётные взгляды на Макаренко. Его снедала масса вопросов. Что же и как же будет теперь в колонии? Коль без охраны — значит, вроде бы это уже и не колония вовсе? Неужели Антон Семёнович и в самом деле так верит колонистам, тому же Вельченко, готовому зубами вцепиться в протянутую руку, или это своего рода педагогический приём?

И ещё много вопросов мог бы задать сейчас Пунченко Антону Семёновичу. Но тот замкнулся в себе, нахохлился, сосредоточенный на каких-то своих мыслях, за всю дорогу не закурил ни разу — видно было, что беспокоить его не следует.

Время от времени Антон Семёнович морщился. Николай подумал, что, судя по запаху лекарства, который уловил, когда ходил за планшеткой, у Макаренко перебои в сердце. Поехал на всякий случай медленнее. Антон Семёнович, заметив это, отреагировал:

— Кажется, я забыл сказать — едем на Рейтарскую. Нас ждут.

Пунченко прибавил газу. Антон Семёнович снова задумался. Нет, не к перебоям в сердце прислушивался он, хотя боли за грудиной и под лопаткой действительно не отпускали весь вечер. Наверное, давно надо было всерьёз заняться здоровьем, поехать в санаторий, как советуют доктора, упорядочить режим труда и отдыха. Но поможет ли? Разве может не кипеть даже самое молодое и самое здоровое сердце, разве может душа не плавиться, когда течёт через тебя такая жизнь — не тощий, слабенький ручеёк, а раскалённая лава!

...Наркомат, как всегда в это время суток, демонстрировал все признаки напряжённой работы: раздавались телефонные трели, человеческие голоса, стучали пишущие машинки. Дежурный милиционер, стоящий при входе, бодро козырнув Макаренко, посторонился, освобождая проход.

Антон Семёнович обернулся направо, где висело зеркало, поправил гимнастёрку, сдвинул по ремню тренчик, чтобы портупее сидела потуже, усмехнулся, вспомнив, что на военном языке поправить на себе одежду называется — оправиться.

Подойдя к лестнице, он положил руку на перила и остановился, непроизвольно вздохнув, сам не зная почему. В последнее время

ему часто стали слышны в себе, чего не бывало раньше, предчувствия, кстати, ни разу, как ни странно, не обманувшие. Один из воспитанников коммуны как-то раз уверял, что всегда безошибочно определял, когда предстоит отцовская выволочка: «Я ещё даже ничего не натворю, а уже знаю наверняка: жди бани». Так вот и он помимо воли, каким-то подсознанием стал чувствовать приближение ситуаций, которые принято называть неприятными. Вот и сейчас его вдруг осенило, до него дошло: день, проведённый в Броварах, и всё, что он там решил, вряд ли вписывается в схемы, по которым делаются подобные дела. Какая реакция может последовать, он мог только предполагать, но что хорошего ждать нечего — это уж точно.

— Добрый вечер, Антон Семёнович! — услышал он откуда-то сверху.

Подняв голову, увидел ладную фигуру и широкую улыбку спускающегося по лестнице Михаила Иосифовича Букшпана.

— Давно мы с вами не виделись! — сойдя со ступенек, протянул тот радостно руку. — О, да на вас лица нет! Нездоровы?

— Нет, нет, — запротестовал Макаренко и заторопился отвести распросы в сторону. — Всё в порядке, это, видно, с дороги... Здравствуйте, Михаил Иосифович!

В первое мгновение он искренне обрадовался встрече: с Букшпаном было связано самое замечательное, самое, как он считал, значительное в его жизни — коммуна имени Дзержинского, членом правления которой Михаил Иосифович состоял вплоть до перевода столицы Украины из Харькова в Киев в тридцать четвёртом году. Букшпан сейчас словно бы возвратил ему краски, запахи и движения всего, что осталось позади, дорогого ему и безвозвратного. В то же время он напомнил и о том, что тут уже не коммуна и не Броварская колония, а Наркомат внутренних дел, Киев, год тридцать шестой. И Букшпан уже не председатель культмассовой комиссии ОГПУ, а сотрудник секретно-политического отдела НКВД, грозного, всемогущего и всепроникающего СПО, при одном упоминании о котором всякий маломальски нормальный человек, даже и ни в чём предосудительном не замешанный, чувствовал себя не совсем уютно.

— Действительно, давно не виделись, Михаил Иосифович, — повторил

Макаренко приветствие Букшпана. — Правда, с Тamarой, супругой вашей, общаемся в отделе часто. Приветы ваши она передаёт исправно, спасибо.

— Не очень-то много вы и с нею, да и с другими отдельцами общаетесь, как я понял, — заметил Букшпан. — Жена говорит — в Киеве не засиживается. Не успеет вернуться из одной командировки, тут же спешит в другую...

Антон Семёнович попытался улыбнуться:

— Там, на местах, только и чувствуешь пользу от своей работы. А тут — бумаги, бумаги без конца. А толку от них?..

— Это верно, — согласился Букшпан. — Только и аппарат требует отдачи, дай бог!

Антон Семёнович покачал головой. Уловив это движение, Михаил Иосифович понял, видно, что оно означает, и намекнул:

— Да ведь и на практической работе, Антон Семёнович, полной гармонии не бывает...

Что так, то так. Букшпану хорошо известны гримасы прошлых взаимоотношений Антона Семёновича с педагогическим «Олимпом». Злое, упорное, истовое неприятие «олимпийцами» всего, что делал, что предлагал, о чём говорил Макаренко, превратилось для него в изнурительную многолетнюю борьбу, отнимавшую гораздо больше сил, чем сама работа с воспитанниками. Почти десять лет беспрестанных боёв с Наркомпросом — могли забыть это Антон Семёнович!

Но, может быть, Букшпан имел в виду нечто иное? К примеру, размолвку, которая произошла у них в декабре тридцатого года.

На совете командиров, а затем и на общем сборе коммуны решалась судьба одного из воспитанников. Пацан выглядел даже в такой своеобразной среде, каковой являлся контингент приёмников-распределителей, настолько гнилым, что, безуспешно провозившись с ним несколько месяцев, коммунары вынесли вопрос на обсуждение: что же делать дальше? В отсутствии доброжелательного, внимательного отношения к нему упрекнуть коммунаров было нельзя. Если бы тот заблуждался, ему помогли бы выбраться, если бы затруднялся войти в нормы коммунарской жизни — тоже пособили бы. Но пацан, умный, физически развитый, был ещё и своекорыстен, хитёр и циничен,

и эти его качества на фоне открытых, прямых и добросердечных отношений в коммуне привели к тому, что он сознательно поставил себя вне коллектива. Антон Семёнович называл такой тип людей типом неоправданного действия. В самом деле, не было никакой нужды этому воспитаннику красть, однако же крал — нагло, систематически. Когда коммунары дознались, что автор краж (а в коммуне такие факты были событиями сверхисключительными, а потому вызывали всеобщее внимание), нужно было дать выход их негодованию. Таковым и явился общий сбор, постановивший выгнать воспитанника вон из коммуны, потому что место ему, решили все, в учреждении более строгого режима.

Букшпан тогда выступил в роли защитника подростка от всеобщего осуждения. В пылу наговорил много несправедливого. Самое же обидное было в том, что он сравнил коммуну с лицеем для привилегированных и указал на Прилукскую коммуну, где воспитанники-де во сто крат труднее и запущеннее, но откуда не выгоняют, а пытаются что-то придумывать. Харьковская коммуна, которую на первых порах, до создания там крупного производства, возглавлял он, Макаренко, и коммуна Прилукская, которой командовал Берман, в определённой мере соперничали. И как-то так вышло, что мерилом такого соперничества стало отношение к обеим со стороны сотрудников ГПУ. Дело в том, что Прилукская коммуна хотя и не строилась на средства чекистов, но тоже была их детищем, потому что чекисты шефствовали и над прилукчанами. И, конечно, сравнивали, а сравнивая, безусловно, делали соответствующие выводы и оценками своими публично делились.

Антон Семёновича задел не сам упрёк, а то, что за ним стояло. В нём с детства была неприязнь к неряшливости во всём — и в людях, и в обстановке вокруг них, и в человеческих отношениях. Стремление к опрятности, чистоте было для него почти принципом. Коммунары безупречно и аккуратно одевались, имели белоснежную парадную форму, в то время как в Прилукской коммуне преобладали тёмные, «немаркированные» цвета не только в одежде, но и в самом облике учреждения, и это производило такое впечатление, что-де дзержинцы — «чистенькие». Антон Семёнович пытался многим разъяснить, что содержание в порядке одежды,

идеальная чистота спален и вообще коммуны — важный воспитательный момент, который приучает к аккуратности во всём остальном, дисциплинирует. Но, как говорится, на каждый роток не накинешь платок.

Другое качество, в котором обе коммуны не совпадали ещё более, — отношение к прошлому воспитанников.

У дзержинцев считалось предосудительным, если кто-то из коммунаров вдруг вспоминал свои прошлые «подвиги». И даже когда кто-то из не очень тактичных иностранных гостей вдруг спрашивал у коммунаров, действительно ли они дети улицы и правда ли беспризорничали, пацаны лишь неопределённо жали плечами.

В Прилуках же ну прямо кичились, кокетничали уголовным прошлым... Антон Семёнович считал это бесчеловечным по отношению к пацанам. Кроме того, ему было жаль драгоценной человеческой энергии, растраченной на ненужные воспоминания, переживания. Он был убеждён, что чем быстрее подросток забудет своё преступное прошлое, тем быстрее из надорванного существа превратится в человека, сознающего свою настоящую ценность.

Как-то ему сказали:

— Ваши бы трудности Берману! У него вон педерастия воспитанников захлестнула — страшная штука! А у вас что? У вас интеллигентные мальчики.

— При правильной работе учреждения, — ответил тогда Антон Семёнович, — до педерастии не дойдёт. Значит, ни к чёрту не годны педагоги, которые допускают это безобразие!..

Короче, выпад Букшпана явился поводом для того, чтобы той же ночью, как только коммуна погрузилась в сон, Антон Семёнович засел за пишущую машинку и настроил на имя Букшпана записку, в которой изложил свои педагогические позиции, а также точки зрения по тем из них, что не совпадали с букшпановскими. Не преминул пройтись и по порядкам в Прилуках.

Та давняя докладная записка Макаренко в правление коммуны по поводу разногласий с Букшпаном и такой острой размолвки, как ни странно, не только не отдалила их тогда друг от друга, но, наоборот, привела к сближению.

Но это было давно, а время, кажется, меняется к худшему. Сейчас он не мог бы с полной уверенностью гарантировать, что специфика работы в

секретно-политическом отделе не деформировала в Букшпане отношения к людям, в том числе и к нему. Вот — улыбается, а глаза...

— В коммуне скоро выпуск, — говорит Букшпан, всё ещё не выпуская руку Антона Семёновича из своей. — Приглашены? Мне тоже хотелось бы попасть к ним в такой день, но теперь езжу редко. Дела, дела... Жаль, очень жаль, что не могу разделить с вами компанию. Передавайте и мои самые сердечные пожелания — в этом выпуске много добрых хлопцев из коммуны уходит... Всё же неудобно, что коммуна так далеко от Киева! Привык к частому общению с пацанами, знаете ли! Они ведь как лекарство для души!

— Ловлю на слове. Приезжайте в Бровары, в пятую колонию. Мы там кое-что затеяли. И если душа почему-то болит — вылечитесь моментально... Хлопцы там — не заскучаешь!

— Да я уж слышал. Это правда, что вы там охрану сняли?

— Уже знаете?

— Да весь наркомат о том только и говорит!

— И что же говорят? — насторожился Антон Семёнович.

— Как всегда, кто что. Но я-то, когда услышал, сразу сказал: раз Антон Семёнович так решил, по-другому быть не может. Другого пути, значит, нет.

— Верно, нет. Колония превратилась в нарыв. Проглядели и мы, и областное управление. Нужно было предпринимать что-то неординарное. И немедленно!..

— Рискованно!

— Алмаз алмазом режется.

— Это верно. Но, как говорит один мой знакомый театрал, ошибка статиста может бросить тень и на актёра в главной роли...

— Тут надо исключить ошибку.

— Ладно, — сочувственно посмотрел на Макаренко Букшпан. — Желаю удачи. Нужна будет какая помощь с моей стороны — приходите, звоните... И ещё... Я думаю, что ваш ход в Броварах во всех отношениях правилен. Но судьба вашей затеи будет решаться не только там. И в этой связи хочу дать вам один совет. Я ведь старый аппаратный работник и многое могу предвидеть заранее... Так вот совет мой заключается в следующем: проситесь в ту колонию начальником. До тех пор, пока дела там не поправятся. Вы понимаете, почему так следует поступить?

Нет? Боюсь, что найдутся мудрецы, готовые обвинить вас во всех тяжких. Вряд ли кто ещё поступил бы столь решительно и неожиданно, как вы. Но каждому не объяснишь... Начнутся суды-пересуды. И в первую очередь это помешает делу. А если возьмёте колонию под своё прямое начало, половина обвинений рассыплется в прах: это будет означать, что ответственность вы взяли на себя лично. А педагогический авторитет ваш для всех непререкаем. Вы меня понимаете?

— Кажется, да, Михаил Иосифович. Только, честно говоря, мне казалось, что в наркомате все должны и могут понять...

Они распрощались. Фраза Букшпана — «об этом весь наркомат только и говорит» — занозила и встревожила Антона Семёновича. И пока поднимался на второй этаж, шёл, не заглядывая к себе в кабинет, к Ахматову, мысленно выстраивал предстоящий диалог с начальником отдела.

Днём, когда Антон Семёнович ввёл его по телефону в курс дела, тот не на шутку расстроился, даже засобиравшись тотчас приехать. Но затем, выслушав, что помощник намерен предпринять, успокоился и как-то уж чересчур легко согласился с его доводами, даже спросил, чем сумеет помочь из Киева. И идея с промышленным заказом для строительства канала Москва— Волга принадлежала ему. Антону Семёновичу ещё не было известно, что такой заказ существует.

И всё-таки, зная Ахматова, Антон Семёнович чувствовал, что согласие начальника отдела со всем, что он предложил, — лишь видимая сторона медали, а что с тыльной, можно было только гадать. Разговор с Букшпаном обратил внимание Антона Семёновича как раз к ней...

8

— Приехали? — спросил Лев Соломонович, когда Антон Семёнович отворил дверь к нему в кабинет.

— Утром вы сказали, — напомнил Антон Семёнович, — что прочли рукопись «Методики» и готовы обсудить. Может, и начнём с этого?

— А Бровары сейчас не важнее?

— Успеем поговорить и о Броварах. Но для меня то и другое — одно целое. «Методика» — стратегия, Бровары — тактика.

— Ну, что ж, — легко согласился Ахматов.

Начальник отдела сел за приставной столик напротив Макаренко, давая понять, что беседовать будут не по протоколу. Положил перед собой спички и папиросы, придвинув пепельницу. Значит, разговор надолго.

Ахматов раскрыл знакомую серую папку с серыми завязками. Бережно погладил ладонью первую страницу.

— Антон Семёнович, я несколько раз внимательно и, прямо скажу, с интересом перечитал рукопись. Представлял себя на месте начальника колонии, размышлял: а что бы я взял отсюда?.. Всё разложено в системе по полочкам. А то ведь работает народ, кто во что горазд! Ваша брошюра избавит людей от ненужных поисков, а то и от ошибок. Серьёзный документ! Можно сказать, исторический... Не улыбайтесь, Антон Семёнович! Это действительно так. Ведь до сих пор никто ничего подобного не удосужился создать. Ни у нас на Украине, ни где ещё. Думаю, что руководство наркомата одобрит эту вашу работу.

— Дело не в руководителях наркомата, — сухо заметил Макаренко.

— Это да, — согласился Ахматов. — Однако ж нарком мне как-то сказал: «У вас в отделе такой знаток детской преступности работает, да ещё и писатель, а незаметно, что вы используете удачное сочетание его качеств как надо». Кстати, привлекая вас для работы в наркомате, мы и ждали, что ваш опыт плюс писательское мастерство принесут нам нечто подобное. Разумеется, дело не в наркоме...

В сознание вдруг ворвалась восточная пословица: «Если тигр присел перед тобой на четыре лапы, это не значит, что он собирается с тобой поздороваться». Но думать так об Ахматове было, пожалуй, не совсем справедливо, и Антон Семёнович отогнал непрощеную, пусть и тайную, минутную непочтительность к начальнику.

— Да, — продолжал Ахматов. — Особенно хороши в «Методике» те места, где речь идёт о конкретных вещах, связанных с воспитательной работой. Всё на месте: и теория, если я, неуч, могу о ней судить, и практика, какой она мне видится в наших колониях. Советы, данные в форме подсказок, — как бы вводные задания и ответы на них...

И даже возможные ошибки... Словом, бери, исполняй, и всё будет как надо. Только вот...

С каждой очередной похвалой Антон Семёнович настораживался всё больше. Ему был известен такой приём: одобрить, похвалить, а потом срезать на мелочах. К чему подбирается Ахматов?

— Вот вы пишете, Антон Семёнович, об органах самоуправления, — полистал Ахматов рукопись. — Конечно, прекрасно, когда колонисты помогают администрации. Но, по вашей методике, они чуть ли не сами себя организуют. Не слишком ли широкими полномочиями вы их предлагаете делить? Вот смотрите... «Если администрация считает невозможным выполнение ошибочного решения того или иного органа самоуправления, она должна апеллировать к общему собранию, а не просто отменять решение...» Вы ставите коллектив воспитанников в иерархии отношений в колонии выше, чем персонал воспитателей. Так кто же там есть кто? Воспитатели за воспитанников отвечают или наоборот?.. Но, может, это, так сказать, издержки стиля? Случайность?

— Нет, не случайность, — ответил Макаренко. — И не издержки стиля. Как бы объяснить?.. По распространённому заблуждению, большинство людей считает, что воспитывать — значит читать моральные проповеди. Один произносит душеспасительные речи, другой ему кротко внимает и поступает, как велят...

— Я, конечно, пока незнаком с педагогикой перевоспитания малолетних правонарушителей в такой мере, как вы, Антон Семёнович, но я старый партийный работник и знаю, что воспитание, так сказать, от сердца к сердцу, что горячее, страстное убеждение всегда было и, я уверен, всегда будет главным инструментом в работе с людьми...

— Я не против, Лев Соломонович. Но мы с вами недавно сообща пришли к выводу, что в любой колонии наберётся в лучшем случае пять-шесть человек, имеющих вкус в работе с детьми. Остальные — «должностные лица». Но даже если бы весь персонал отвечал самым высоким требованиям, принципиально неверно строить работу детского учреждения иначе, чем через коллектив, в котором каждый чувствует себя хозяином положения, через органы самоуправления... Ведь мы воспитываем не индивидуалистов, нам нужны люди, которые чувствуют ответственность

не только за себя самих, но и за всех, кто рядом, за общее дело.

— Оно так, только...

— Вот ещё один аргумент. Представим невозможное: все сотрудники трудовых колоний прекрасно эрудированны в вопросах воспитания, каждый из них обладает необходимыми навыками убеждения, умеет влиять на пацана в нужном направлении. Но каковы, по-вашему, его реальные возможности — насколько человек может воздействовать лично?..

Ахматов заинтересованно смотрит на Макаренко и жмёт плечами.

— А вы никогда не задумывались, почему в Красной Армии в отделе-нии десять-двенадцать человек и не более? Столько же и в первичном кол-лективе на флоте — команде. Кстати, такова численность самого маленько-го подразделения не только в нашей армии. А встречали ли вы компанию друзей, приятелей, уличную ватагу пацанов, состоящую более чем из де-сятка человек? Тоже нет... Я не знаю причины такой закономерности. Но она существует! Видимо, человек не может охватить своим влиянием, удержать в поле зрения более десяти-двенадцати других людей... Мы стро-им иллюзии, когда полагаем, что только персонал определяет лицо коло-нии. На самом же деле каждый воспитанник находится под влиянием «сво-ей десятки» гораздо более, чем воспитателя, у которого под началом мно-гие и многие. Вот почему даже если мы сумеем обеспечить каждую коло-нию знающими специалистами, всё равно решающим будет и тогда не ме-тод отдельного воспитателя и даже не метод всего учреждения, а органи-зация этого учреждения, коллектива. И воспитательный процесс — по схе-ме, которую я предлагаю в «Методике»...

— Антон Семёнович, но давайте посмотрим на органы самоуправле-ния с другой стороны. Ведь не они несут ответственность за положение дел, а администрация.

— Вот и плохо, что не несут ответственности! А должны! Как раз от-ветственность и воспитывает, как ничто другое!

— Да мало ли что решат эти самоуправцы! — скаламбурил Ахматов. — За то и угодили они в колонию, что самоуправничали, если можно так сказать. Это ж преступники, правонарушители, хоть и малолетние.

Кстати, наша обязанность не только их перевоспитывать, готовить к будущей жизни. Вы же понимаете, что в данный момент они мешают обществу. Колония есть колония. А вы для них пытаетесь там создать прямо не знаю что. Институт руководителей! Да таких полномочий не имеют нормальные дети в нормальных школьных условиях.

— И плохо, что не имеют. Но не о том речь сейчас. Ставка на работоспособный детский коллектив, на ребячье самоуправление, на веру в каждого, кто попадает в колонию, — моя принципиальная позиция, и я от неё не отступлюсь.

— Ну, хорошо, — поморщился Ахматов. — Вот ещё одна позиция. Вы предлагаете разновозрастные отряды... У одного уже такая воровская биография, что хоть роман пиши, а другой малявка и попал в переплёт впервые, да и то, может, случайно. Выходит, пусть опытный босяк посвящает маленького в тайны воровского ремесла? Так?

— У вас дети есть, Лев Соломонович?

— Знаете же... Трое, — ответил недоумённо Ахматов, — При чём тут мои дети?

— Вы всеми тремя в равной мере довольны?

— Нет, конечно. Витька, — хлопец что надо. Венька — сорвиголова. Ну а Серёжка, тот между двумя огнями...

— Вот! — торжествующе произносит Макаренко. — Все разные, но вам ведь в голову не приходит отделить Витю и Серёжу от Вени...

— У Веньки-то вряд ли есть такой опыт, как у тех, о ком мы говорим, — обиделся Ахматов.

— А если б он, не дай бог, был вовсе никудышным ребёнком, разве б вы стали сооружать между ними стену? Наверное, мобилизовали бы Витю и Серёжу влиять на Веню, а самому Вене ставили в пример двух других братьев. Не так ли?

— Может, и так.

— Так! Так!.. Я представляю себе и колонию как единую семью, интересы которой направлены не в прошлый их опыт, а в будущее. У них должна быть общая цель, большая цель, к которой они бежали бы, задржав штаны, забыв, что было вчера. И один поддерживает другого, растит, поднимает его до себя. Я имею в виду, что в колониях не содержатся, я

подчёркиваю — не содержатся несовершеннолетние, пусть даже и правонарушители, а живут юные граждане, у которых...

— Вы идеализируете, Антон Семёнович!

Макаренко глубоко вздохнул и прикрыл глаза. Что-то в грудной клетке словно бы сдавило всё крепким обручем до такой боли, что впору закричать. В последнее время с ним такое приключалось всё чаще. То ли сказывалось перенапряжение службы в наркомате, то ли скопилась усталость за многие годы жизни, в которой было всё, кроме отдыха и заботы о самом себе. А может, так влияла душная погода.

Ахматов заметил резкую перемену в нём и умолк. Конечно, характер у помощника не конфетка. В своих суждениях категоричен до жёсткости, неуступчив, упрям до непреклонности. Но, с другой стороны, кому лучше знать это дело? Конечно, надо соглашаться с его «Методикой», тем более что ничего иного у НКВД сейчас нет. И Лев Соломонович тоже глубоко вздохнул:

— Что это мы с вами, в самом деле?.. Ладно, Антон Семёнович, будем считать, что вы меня если и не убедили, то уговорили. Давайте брошюру срочно издавать. Но перед тем я всё же просил бы вас кое-что поправить. Вот с теми же выдворениями из колонии... Ну пусть не просто удалять, а препровождать в приёмники-распределители на определённый срок. Или в другое учреждение. А то ведь наши мудрецы... Ого-го! Вы меня поняли?

— Понял, — ответил Макаренко.

Разговор, если разобраться, был обычным для аппарата. Такие происходили постоянно. Но что-то оставило непонятно-горький осадок, что-то тронуло душу печалью, в которой пока не было сил разбираться. Он знал за собой такую слабость: в момент сильного нервного напряжения он мог за час-другой устать до полного изнеможения, словно несколько суток подряд без сна и отдыха выполнял изнурительную физическую работу.

— Понял, — повторил Макаренко. — Только не возьму в толк, Лев Соломонович, а зачем же делать всё в расчёте на дураков?

Ахматов достал из кармана галифе носовой платок и вытер чисто выбритую голову. Макаренко заметил, как у него побагровел затылок, как затем пурпур словно бы стал сползать всё ниже и ниже — по лицу, шее и скрылся под воротником форменного френча.

Как и многие другие, Лев Соломонович считал постановку воспитательной работы в коммуне имени Дзержинского идеальной и, конечно, понимал, что именно на её опыте и построены в основном рекомендации «Методики». Однако же сопротивляется. Почему? Нежелание принять за должное определённый риск, с которым сопряжено воспитание в колониях? Возможно вполне. Одно дело — воспринимать результат чьих-то усилий, не замечая или стараясь не замечать, что этот результат достигнут также и ценой некоторого риска. И совсем другое — когда нужно рисковать самому и поощрять на риск других людей... Хороша же цена комплиментам, которые расточал Ахматов!

— Антон Семёнович, — совладал с собой Лев Соломонович, — нельзя же так! Отчего вы такой неуступчивый? Ну прямо гранитная скала! Ведь не может один человек быть прав, даже если он и семи пядей во лбу. Отчего вы не хотите пойти на эти маленькие уступки?

Макаренко посмотрел на Ахматова так, что не только глаза, но даже и морщинки вокруг них стали грустными.

— Маленькие уступки... Однажды мне такой совет уже давали. Восемь лет назад... Жрецы педагогического «Олимпа» расчихвостили тогда мою воспитательную систему как вредную, а меня заклеили самыми последними ругательствами. Ну, Наркомпрос заволновался. С одной стороны, воспитательная система неправильная, а с другой — результаты работы, каких не было ни у кого. Положение у них было и впрямь сложное. Вот тогда и приехал ко мне один из руководящих деятелей Наркомпроса и почти такими же словами, как вы, стал уговаривать сделать маленькие уступки. Мол, уступи в мелочах, зато выиграешь в главном.

— Ну а вы?

— Я отверг все компромиссы. А через некоторое время написал в Наркомпрос заведующему управлением социального воспитания Арнауту, что не имею никаких оснований усомниться хотя бы в одной детали воспитательной системы, которая заложена в колонии имени Горького. И не могу ничего изменить, не рискуя делом...

— Ладно, Антон Семёнович! — Ахматов вынул из пачки папиросу, постучал мундштуком по ногтю, освобождая от крошек высыпавшегося табака. Медленно прикурил. — Как это говорили ваши колонисты?.. «Або славы добыты, або дома нэ буты...» Рискнём!

Макаренко выглянул за окно. Во дворе буйно цвели каштаны, время от времени порывами лёгкого ветра в кабинет заносило их нежный, как запах мочёного яблока, аромат. Но всё равно было душно.

Сейчас бы куда-нибудь на природу! Хотя бы на день-два! Он подумал, что, в сущности, аж с двадцатого года, со дня назначения на должность заведующего колонией под Полтавой, скоро шестнадцать лет, у него практически не было того, что называется ласкающим слух словом — выходной. Правда, в тридцать втором году председатель правления коммуны, в то время секретарь парткома ОГПУ, Александр Осипович Броневой настоял, чтобы он взял отпуск и поехал подлечиться: случавшиеся у Антона Семёновича перебои в сердце удержать в секрете не получилось, узнал о них и Броневой. Коммуна была на подъёме, и он рискнул, уехал. Правда, не на курорт, а в Москву!

Теперь смешно вспоминать. Первые дни, живя в гостинице «Маяк», он наслаждался полным освобождением от дел. Однако отдых — театры, музеи, выставки — изматывал больше, чем работа. Он не сразу понял, почему. Потом сообразил: проснувшись, настороженно ждёт, что вот-вот прорежет тишину звук коммунарской трубы, возвещающей побудку; где б ни был, чем бы ни занимался, мысленно вёл разговоры то с одним коммунаром, то с другим... Это было как наваждение, от которого не избавишься нигде. Ему невыносимо хотелось видеть своих пацанов, без которых, оказывается, жизнь не в жизнь.

Двумя годами раньше он, прервав работу над «Педагогической поэмой», написал очерк «Марш 30-го года» — о коммуне имени Дзержинского. Из ГИХЛа ответили, что, хотя форма произведения несколько необычная, очерк интересен и будет опубликован. После, как понял Антон Семёнович, рукопись переходила из рук в руки разным редакторам, и не было видно конца этому перекидыванию. То ли редакторы не понимали его, то ли он редакторов. Но «Марш» уже был для него отрезанным ломтём, и теперь Антон Семёнович решил продолжить тему.

Взяв напрокат пишущую машинку, вылезал из гостиничного номера только к вечеру. И через какие-нибудь три недели на столе лежала повесть «ФД-1» — триста шестьдесят три страницы

машинописного текста о том, что «выпало на долю коллектива в славном боевом тридцать первом году», итогом которого стал пуск в коммуне первого в СССР завода по производству электросверлилок. Работа увлекла, потому что дала Антону Семёновичу возможность продумать многие теоретические концепции, осмыслить сделанное. Связь педагогики с политикой. Воспитательная роль образования и производительного труда. Достижение дисциплины в коллективе. И ещё многое, волновавшее его в ту пору...

Там же, в гостинице «Маяк», задумал пьесу «Мажор», сделал к ней первые наброски — перечень действующих лиц, общие указания к постановке, продумал содержание.

А письма в Харьков летели всё чаще и были полны всё более острой жадной знать всё: шьют ли уже белые парадные костюмы, начали ли работать внутришлифовальные станки и автомат Самсон Верке, как показал себя четырёхшпиндельный Гилдмейстер, какой отряд идёт первым по дисциплине, как дела в новом оркестре, как ведут себя Томов, Зырянов, Широнова, объявили ли соцсоревнование по производству. И однажды, вернувшись поздно вечером в номер, принялся — как-то само собой вышло — собирать чемодан...

— Антон Семёнович! — услышал он голос Ахматова, возвращающий в реальность. — О чем задумались?

— Разве не о чем? — ответил Макаренко.

— Ну хорошо, — заторопился Ахматов. — О «Методике» договорились. Теперь потолкуем о Броварах.

В течение нескольких минут Макаренко сжато, вдаваясь лишь в самые необходимые детали, рассказал обо всём, с чем там столкнулся и что двигало им в его решениях. По всему, Ахматов понимал и разделял его убеждение, что найден выход не только правильный, но и единственно приемлемый в сложившихся обстоятельствах. Но тянул, не говорил прямо, что его смущает.

— Что я сделал не так, Лев Соломонович? — спросил Антон Семёнович.

Ахматов некоторое время помолчал, катая кончиками пальцев по столу толстый, красный с синим, карандаш, заточенный с обеих сторон.

— Вы ведь, наверное, думаете, что я руководствуюсь

принципом бытейской надёжности: лучше не сделать, чем ошибиться...

Сказал и посмотрел на Макаренко. Помощник безмолвствовал, глядя на него усталыми глазами, утратившими синеву. Усмехнувшись, Ахматов снова покачал головой и продолжил:

— Нет, я не боюсь ошибок. Да и невозможны они теперь в Броварах, я уверен, что там всё закончится так, как вы и задумали. Броварская затея для вас не эмоциональный порыв. Ваши действия ясны и понятны. Но вы даже не представляете, какие баталии мне пришлось сегодня выдержать! Десятки звонков — и все по Броварам. Я уж не принимаю в расчёт разъярённого Спивака, который появился тут перед вечером и пытался доказать, что действовал, строго руководствуясь указаниями сверху. Действительно, шкурник, причём воинствующий, и я не уверен, что не забросает инстанции жалобами теперь и на меня. Ну, да дело не в Спиваке, хотя даже и он, каналья, оперировал всем тем, знаете ли, против чего и возразить нечего. Ведь это же принципиальнейший момент, Антон Семёнович, — изоляция правонарушителей! Ведь колония — учреждение не только воспитывающее или, как мы говорим, перевоспитывающее. Она учреждение карающее, что бы вы ни говорили о гуманизме и милосердии.

— Наказание может носить самые разнообразные формы, — заметил Антон Семёнович. — Совсем недавно, между прочим, судьбу провинившегося решал, например, сельский сход. Да иному было куда предпочтительнее заплатить штраф, отбыть принудработы, чем встать перед односельчанами и выслушать всё, что о нём думают! На примере моих коммунаров видно, что публичное осуждение часто действует гораздо внушительнее, чем наказание, каким бы строгим оно ни было!

— Даже если речь идёт о матёром рецидивисте?

— Я имею в виду тех, — уточнил Макаренко, — кто не представляет опасности для окружающих. Для кого-то, безусловно, нужен режим, строгая изоляция — для маньяка-наильника, для патологического вора-«медвежатника», для совершившего государственное преступление, для убийцы... Но остальные, но большинство...

— Страх перед наказанием должен сдерживать.

— Не наказание страшит, а боязнь осуждения, боязнь ярлыка... А противопоставляя правонарушителей обществу,

мы своими руками пододвигаем их к созданию особого мира. Страшно сказать... Преступного!

— Антон Семёнович, не доросли мы, не дожили до такого времени, когда принципы гуманизма можно провести в жизнь без ущерба для большинства членов общества. Преступник подчас живёт, пользуясь благами, предоставленными обществом, наравне с честным, незапятнанным тружеником. Я как-то запросил данные о льготах для учащихся школ ФЗУ. Там ведь собраны не уголовники, это будущие рабочие, корень наш, так сказать. Казалось бы, о ком позаботиться надо скорее — о них или о наших подопечных? Так вот, выяснилась прелюбопытная деталь. То же обмундирование... Фэззушник бережёт его пуще глаза, знает, что другого не дадут раньше времени. А наши воспитанники? Одежду рвут, бросают, пускают на обмен, по-моему, даже порой специально стараются остаться без одежды, чтобы под этим предлогом не выйти на работу, на построение... И вот мы ломаем головы, как выделить колонисту то под видом спецодежды, то ещё под каким-то надуманным предлогом в полтора, а иногда и в два раза больше, чем нормальному советскому парню-фэззушнику, будущему рабочему. Это как, справедливо? Или ещё деталь. Приезжаю как-то в Волчанскую колонию, спрашиваю у воспитанников, есть ли претензии, жалобы. Один и говорит: «Гражданин начальник, селёдки не дают!» — «А что это тебе так селёдки захотелось?» — «А не захотелось, гражданин начальник, положено!» Вот как! Он знает, что ему положено, а вот о долге, между прочим, не помнит!

— Это всё частные детали, хотя и важные, мы же с вами ведём речь о принципиальной идее.

— Частная, общая, — проворчал Ахматоз. — Тут хоть с общей, хоть с частной точки зрения смотри — всё одно. Нам пока что каждый шаг вперёд, хоть в экономике, хоть в морали, с болью, с кровью, с колоссальным перенапряжением даётся! А они мешают! Вот почему люди не могут пока что быть гуманнее, добрее, мягче с ними. И всё тут! И это их право! А от нас ждут, чтобы мы оградили, избавили их от хулигана, вора, от любого, кто ведёт себя противоправно.

Макаренко посмотрел на него с пристальным и, пожалуй, даже ожесточённым интересом. Прищурившись, произнёс:

— Меня давно, Лев Соломонович, волнует такой вопрос: в двадцать четвёртом, в год смерти Ленина, у нас приговаривался к лишению свободы лишь каждый четвертый из тех, кто прошёл через суд. Сейчас — более половины. А сколько их ссылают и высылают без суда и следствия? Мы этого не знаем. Не знаем и статистики Особого совещания. Почему так?

Ахматов поморщился. Он пожалел, что был откровенен с помощником во время вчерашнего вечернего разговора и сегодня утром. Он понимал, чем чреваты такие разговоры. Но и оборвать Макаренко, уйти от ответа тоже не мог.

— Разве вам самому не ясно? — сделал он попытку соскользнуть с колеи, по которой Антон Семёнович направил беседу, но, встретив жёсткий, прямой взгляд его, сухо, нехотя ответил: — Это необходимость, Антон Семёнович, суровая, жестокая, но необходимость.

Антон Семёнович достал новую папиросу, медленно раскурил её.

— Мы с вами ведём бесполезный спор. У нас нет объективных данных ни в пользу гуманистических тенденций в пенитенциарной политике, ни в пользу карательных мер. Время покажет, кто из нас прав. Одно знаю. Зло и жестокость могут породить только зло и жестокость... Как-то бы хотелось, чтобы мы побольше проявляли к пацанам благородства, честности, чуткости, некоторого даже рыцарства, если хотите! Конечно, это тоже не объективная категория — рыцарство, но я не юрист, а педагог и смотрю на всё просто человеческими глазами. Каким ты хочешь увидеть человека, таким он и будет. И это моё убеждение нерушимо!

Толкнув дверь своего кабинета, Антон Семёнович обнаружил, что она не заперта.

Завхоз наркомата Яша Френкель не раз выговаривал ему:

— Вот гляжу я на вас, товарищ Макаренко, и удивляюсь: во всём вы человек аккуратный и интеллигентный, а почему же кабинет свой не запираете? Как ни прохожу мимо — боже ж мой, открыто, а вас нету.

Этот неугомонный, подвижный, небольшого роста, почти пятидесятилетний человечек очень напоминает Антону Семёновичу близкого его сердцу Калину Ивановича

Сердюка, завхоза колонии имени Горького. Тоже вечно хлопочущий, до полного самозабвения одержимый тысячами забот, но никогда не жалующийся на занятость.

В наркомате никто не зовёт Френкеля по отчеству. Тем не менее он держится с достоинством гофмейстера при дворе короля крупной державы.

Он с любовной трогательностью следит за внешним порядком в наркомате: в кабинетах чистота и уют, окна прозрачны, как первый осенний ледок на замерзающем Днепре, краны, выключатели и мебель исправны, урночки на месте, ковровые дорожки (там, где им быть положено) вычищены и аккуратно заштопаны. Так бывает ухожен только дом, где хозяйка довольна мужем и счастлива вершить здесь покой, порядок и тишину.

Деятельность Френкеля вполне можно считать образцовой. Может, именно поэтому его тут как бы не замечают, а если и замечают, то воспринимают не совсем всерьёз. Вот если бы по углам лежали кучи сора, если бы мебель скрипела, краны текли, а выключатели висели на одном проводе, тогда, возможно, зауважали бы.

Раз в месяц Френкель учиняет генеральный обход помещений. Его обследования немало забавляют сотрудников.

Вон он по-хозяйски степенно входит в очередной кабинет. «Здравствуйте, люди добрые!» — «Здравствуйте, здравствуйте, Яша». Он мгновенно находит неисправности, если они, конечно, есть, и что-то чиркает в блокнотике. Теперь бы и удалиться. Но деятельная натура не позволяет ему уйти просто так. И он словно бы ставит тут свою печать:

— А вы? Всё мулюете?

Не «малюете», а именно — «мулюете», так и произносил.

— Мулюем, мулюем, Яша...

— Ну, мулюйте, мулюйте, — величественно разрешает Френкель и, успокоенный, исчезает так же внезапно и тихо, как появился, вздохнув на прощание: — От, боже ж мой!..

Сотрудники знают один его маленький секрет: уважая всё, чем занимаются наркоматовцы, Френкель всё-таки никак не может смириться, что здоровые, «як плэминны бугаи», мужики с таким важным видом занимаются писаниной, словно какие-нибудь ни на что иное не годные

дореволюционные писарчуки. Разве же для мужчины работа — водить пером по бумаге? Может, поэтому Яша смотрит на ответработников несколько свысока, делая исключение только тем, кто бумаги не пишет, а подписывает. Хотя ему ничего не стоит указать место даже и им. Обнаружив однажды на столе наркома Балицкого разбитый графин, он удержался от прямого упрёка, однако, не смущаясь присутствия хозяина кабинета, всё же проворчал:

— Если все будут графины бить... Проворчать-то проворчал, но на этом дело не кончилось. Разбитый графин лишил Френкеля покоя.

Согласно какому-то циркуляру, подписанному самим же наркомом, в случае порчи казённого имущества полагалось проводить служебное расследование. Когда имущество приходило в негодность не от старости, а по вине сотрудника, с последнего взыскивалось материально или по меньшей мере морально. Разбитый наркомом графин был дорогой, хрустальный, и Френкель вцепился в его осколки мёртвой хваткой. Он составил акт и передал его в Финотдел. Там опешили:

— Яков, ты с ума сошёл!..

— От, боже ж мой!.. Ничего не сошёл. Нигде не сказано, что наркомы могут бить казённые графины.

— Яша, не наркомы, а нарком, не графины, а один-единственный графин, и надо полагать, что случайно. И потом — не беспокоить же наркома такими пустяками!.. Спиши...

— Не спишу. Через три дня зарплата. Вот и вычитите.

Дошло до Балицкого. Тот вызвал Френкеля, и они долго о чём-то говорили. В приёмную завхоз вышел с таким видом, словно ему только что вручили орден. А в ближайшую получку нарком отсчитал требуемую сумму и попросил внести её в кассу по ордеру Френкеля.

После этого случая бедному завхозу проходу не стало. При случае и без случая кое-кто считал своим долгом подковырнуть:

— Яша, расскажи, как товарищу Балицкому выговор объявил...

— А вы спросите у самого наркома, — с достоинством не отвечал, а отвечал завхоз и обиженно поджимал губы, не желая вступать в дальнейшие пререкания. Писарчуки — они и есть писарчуки, и им никогда не понять, что без

него, Френкеля, всё в наркомате затрещало бы по швам.

Единственное подразделение, где случай с наркомовским графином не комментировали, заметил Яков, был отдел трудовых колоний. Завхоз догадался, что обязан этим Макаренко. Яков не знал в наркомате никого, кто умел бы так, как Антон Семёнович, входить в интересы других, умел слушать и понимать человека вне зависимости от его должностной величины. И вообще — замечательный человек Макаренко. Единственный недостаток в нём знал Френкель — Антон Семёнович то и дело забывает закрывать дверь. А если и замкнёт, то обязательно забудет ключ в замочной скважине. Вот уж действительно — и на старуху бывает проруха! Ни за что не подумаешь, что такой организованный, такой собранный человек может оказаться недисциплинированным. Френкель с ним и так, и сяк — Антон Семёнович только застенчиво жмёт плечами:

— Казните, Яша! Виноват. Привычка! У меня в колонии имени Горького и в коммуне имени Дзержинского не было ни замков, ни запоров. И привыкнуть к иному, оказывается, так непросто!

И лицо при этом — как у ребёнка: ясное, виноватое. Ну как с луны свалился! Никак не поймёт человек, что тут не колония и не коммуна, а наркомат, и не простой какой-нибудь, а внутренних дел. Тут в каждой комнате, и у него самого тоже, столько секретов, что за самый никудышненький из них иной отдал бы полжизни. Так что сейфы должны быть опечатаны, а двери запорты. Мало ли!

Макаренко всё это тоже понимает хорошо, но всё равно нет-нет да и оставит дверь незапертой.

На кого-нибудь другого Френкель давно бы пожаловался Стрижевскому в секретариат. Но поступить так с Макаренко не мог. Он не простил бы себе, если бы такому хорошему человеку объявили взыскание. А у Стрижевского с этим делом, как говорится, не заржавеет.

И тогда Френкель решил на меру, которая, как ему казалось, не могла не повлиять на Макаренко...

Дело в том, что кабинеты и помещения наркомата имели такую особенность: если пройти по ним, то, без всякого преувеличения, можно собрать полную антологию советского плаката. Тут и «Окна сатиры РОСТА» времён гражданской войны, и учебно-пропагандистские

братьев Стенбергов, и политические: на международные темы — Дейнеки и Эллиса, на внутренние — Дени и Каневского, и карикатуры недавно возшедших в зенит творческой славы Кукрыниксов.

Антон Семёнович не любит никаких излишеств в рабочем кабинете. Всё, что тут есть, необходимо. И на стенах ничего без цели и смысла. Карта Украины с треугольничками, которыми Макаренко обозначает дислокацию трудовых колоний. Те, где он побывал, обведены кружочком, некоторые не по одному разу. Под ними аккуратно написаны цифры — даты посещения. Ещё висят два портрета в красивых рамках из вишнёвого дерева — Сталина и Горького. Не фабричные, из магазина Когиз*, а нарисованные, очевидно, кем-то из воспитанников. Френкеля (а именно он время от времени разносил рулоны свежих плакатов по подразделениям наркомата) он попросил ничего иного у него не вешать. И не просто попросил, а попросил настойчиво, пока Яков не согласился:

— Хорошо.

И теперь завхоз, сознательно нарушив слово, в отсутствие Макаренко пришил прямо над столом в его кабинете плакат — из тех, которые теперь встретишь всюду: склонившиеся над картой красноармейские командиры, а из-за угла выглядывает угрюмая косматая морда. «Враг не дремлет!» — гласила подпись под рисунком. Френкель очень надеялся, что уж теперь-то Макаренко исправится. Не зря же образованные люди придумывают такие умные и правильные призывы.

...Антон Семёнович щёлкнул выключателем и сразу увидел припленный над столом плакат. Он понял, чьих рук это дело, и попробовал улыбнуться, тронутый заботой Френкеля. Но у него ничего не вышло. В другой раз этот маленький курьёз погрел бы душу, но сейчас, после трудного разговора с Ахматовым, он только усугубил душевную маету. Антон Семёнович прошёл на своё рабочее место. На столе прямо перед ним лежали знакомые альманахи с «Педагогической поэмой». Откуда они тут взялись? Кто-то посетил кабинет ещё, кроме Френкеля. Ага, Прейслер. От него и записка: «Антон Семёнович, я не смог дожждаться Вас, извините, что вторгся (воспользовался пребыванием тут

* Когиз — в 30–40-е годы книготорговое объединение государственных издательств.

неподкупного Робеспьера — Френкеля). Журналы из нашей библиотеки. Кажется, и Вы найдёте тут кое-что любопытное. Н. П.».

Антон Семёнович ещё не остыл от полемики с Ахматовым, резко переключиться на иное не было сил. Он отодвинул стопку с журналами в сторону и дёрнул ручку нижнего ящика стола. Оттуда он вынул горсть пустых гильз для папирос и лаковую коробочку с табаком, источавшим пряный запах. Это было его любимое занятие — набивать вручную папиросы.

Собрать в кучу разбежавшиеся мысли ему помогало и другое рукоделие — заточка карандашей. У него на столе всегда стоит деревянный стаканчик с карандашами, зачиненными один к одному, тонко, с длинными, аккуратными конусами грифельков.

Но набивать папиросы — занятие всё же более предпочтительное хотя бы потому, что заготовленное курево тратится быстрее, чем тупятся и ломаются карандаши.

Антон Семёнович достал всё необходимое. Машинально щёлкая затвором приспособления, заправил табаком первую гильзу. Взялся за вторую. Получалось это у него ловко, быстро и уверенно, как бы само собой. Антон Семёнович сосредоточился только на папиросах. Все другие мысли оказались словно на мели. Думалось вяло.

Он не был удовлетворён разговором с Ахматовым, хотя и удалось «отбить» все претензии начальника отдела к рукописи «Методики» и отстоять свои решения по Броварской колонии.

Макаренко прошёлся по кабинету. Пять шагов к двери, пять обратно. Что-то мешало найти мысль, которая время от времени показывала, словно рыбёшка, играющая в волне, блестящий серебряный бочок, но тут же падала вглубь. Он включил настольную лампу, вырубил верхний свет и снова сел за стол. Взгляд упал на журнальные книжки, оставленные Преислером. Что Коля имел в виду?

Журналы были читаны-перечитаны так, что отдельные листки оторвались. Некоторые из них кто-то заботливо подклеил. Читают! Вот, кстати, аргумент в пользу «Методики»! Надо было сказать Ахматову, что в «Педагогическую поэму» он в беллетристической форме вложил, в сущности, всё те же самые теоретические концепции, что и

в «Методику». Почему же роман не вызвал возражения Ахматова?

Вздохнув, Макаренко взял журнальные книжки за корешки, все три вместе, и другой рукой распустил веером обрезы. Внимание привлекли какие-то красные значки на полях. Вот ещё. Ага... Три восклицательных знака напротив строк: «В просторном зале увидел я наконец в лицо весь сонм пророков и апостолов. Это был... синедрион, не меньше. Высказывались здесь вежливо, округлёнными любезными периодами, от которых шёл еле уловимый приятный запах мозговых извилин, старых книг и просиженных кресел. Но пророки и апостолы не имели ни белых бород, ни маститых имён, ни великих открытий. С какой же стати они носят нимбы, и почему у них в руках священное писание? Это были довольно юркие люди, а на их усах ещё висели крошки только что съеденного советского пирога...»

Это было описание заседания Украинского научно-исследовательского института педагогики, вынесшего педагогическим воззрениям Макаренко беспощадный приговор: «Предложенная система воспитательного процесса есть система не советская...»

Даже во сне он ещё не раз присутствовал на этом судилище. Ведь не каждый день так безжалостно громят твои полки и батальоны!

Хотя что ж, это было не в первый и не в последний раз.

Критическое осмысление сложившейся практики пришло к нему лет примерно через десять после того, как он впервые переступил порог класса в качестве учителя. И когда в семнадцатом году заканчивал институт, представил на суд выпускной комиссии работу, которая называлась «Кризис современной педагогики». С этого, вероятно, и началось...

В начале двадцатых годов едва ли не все школы страны затеяли нескончаемую карусель экспериментов. Началось со всеобщего увлечения программами ГУСа— Государственного учёного совета, так называемыми «комплексами», когда ликвидировали урочную систему, предметное построение учебного плана школ. Вместо систематического изучения учебных дисциплин сделали ставку на единый комплекс сведений о природе, о труде, о человеке. «Комплексы» затем подновили — ввели комплексные проекты. Чуть позже появились «Дальтон-планы», бригадный метод обучения...

Макаренко не отошёл от урочной системы, считая её проверенной временем. И это было, конечно, вызовом «Олимпу», готовому верить кому угодно и во что угодно, только не мнению строптивца Макаренко. Прошло время. Как собственную победу праздновал Антон Семёнович постановление Всесоюзного партсовещания в тридцатом году, на котором был рассмотрен вопрос о системе народного образования — методическое прожектерство осудили, дали указания о коренном изменении учебно-воспитательной работы школы. А через год ЦК партии принял постановление «О начальной и средней школе» — с извращениями в организации обучения было покончено. ЦК определил, что основной организационной формой учебной работы является урок с твёрдым составом учащихся в классе и определённым расписанием.

Или постоянный спор Антона Семёновича с «Олимпом» по поводу трудового воспитания. «Олимпийцы» категорически выступали против того, чтобы колонисты работали в поле и сами зарабатывали себе хлеб насущный. Ещё далеко было до идеала, к которому стремился Макаренко, — самоокупаемости детского учреждения, но сколько жёлчи и грязи было вылито, чем только не кидались в него! «У вас тут организована конкуренция между воспитанниками: кто больше сделает — того хвалят, кто меньше — того порицают, — кипел сарказмом один из «олимпийцев». — Мне желательно было бы услышать от вас: известно ли вам, что мы считаем конкуренцию методом сугубо буржуазным, поскольку она заменяет прямое отношение к вещам отношением косвенным».

Поди разберись в этом словесном тумане. И что такое отношение к вещам прямое и косвенное? Они так считали — и это как приговор, который не может быть обжалован.

В другой раз: «Вы выдаёте воспитанникам карманные деньги и выдаёте не всем поровну, а, так сказать, пропорционально заслугам. Не кажется ли вам, что вы заменяете внутреннюю стимуляцию внешней и при этом сугубо материальной?»

Чего было во всём этом больше — искреннего заблуждения, идеализирования, свойственного не только педагогике? Или же непроходимой человеческой глупости в официальном мундире должностного лица? Но в конце выходило — болото высокопарной некомпетентности,

в которое лженаучные мужи и наркомпросовские чиновники тащили дело воспитания. С кем советовались? С такими, как он, Макаренко, практиками?

«Олимпийцы» организовывали одну проверку колонии за другой. Комиссии и инспектора тем только и были заняты, что собирали материал для дискредитации Макаренко. И нужно было обладать волей и выдержкой, чтобы не сорваться, иметь достаточно веры в своё дело, чтобы устоять против всех этих явных и тайных козней.

Под откос пошла и идея Антона Семёновича создать в Харьковской области трудовой корпус, объединив работу всех трудовых колоний. Многие из них находились на грани полного развала, другие держались на энтузиазме сотрудников, их колоссальном перенапряжении и всё равно дышали на ладан. Он предлагал тогда взять за основу доказавший жизнённость опыт колонии имени Горького. Сперва согласились. Галина Стахивна, в то время заведовавшая комиссией по делам несовершеннолетних Харьковского округа, была назначена руководителем управления по руководству колониями, Антон Семёнович — её заместителем по педагогической части. Заведование производством поручили Николаю Эдуардовичу Фере, образцово поставившему такую работу в колонии имени Горького. Уже прошёл организационный период, объединение набирало силу, но «Олимп» только на время затаился, притих, чтобы накопить силы и снова броситься на педагогику Макаренко.

Поскольку аргументов против объединения колоний не было, «олимпийцы» с Макаренко и не спорили. Но и не выслушивали до конца. Его план, где всё было представлено как целостная система, растащили по частям, отказали по мелочам на самых формальнейших основаниях в важнейших организационных деталях. В результате вышло так примерно: по его модели сшита тройка для красивого мужчины. Но недели на заказчика один жилет. Даже штанов не выдали. Как бы выглядел человек в таком одеянии? Между тем везде говорили: это и есть педагогика Макаренко. Не иезуитство ли! О персонале и говорить нечего: объединение задавили самыми нелепыми назначениями, самыми дикими кандидатами.

Неприятие Макаренко на «Олимпе» принимало порой формы прямо-таки зоологической ненависти. Всё, что он делал,

истолковывалось превратно. Порой не останавливаясь даже перед ложью.

Харьковская газета «Висти», например, поместила карикатуру с подтекстовкой. «Чемпион хамства» — так называлась эта клевета. Макаренко изобразили с засученными рукавами гимнастёрки, сжатыми кулаками и раскрытым до невероятной ширины ртом, из которого фонтаном лились выражения, приписываемые ему ретивым газетчиком: «Историческая фраза Макаренко: — Всех корреспондентов и всех репортёров — в шею!»

Заканчивалась заметка словами: «Макаренко, кроме детей, в колонии воспитывает ещё и свиней в свинарнике. Как он воспитывает детей — не знаем, а вот как его воспитывают свиньи — теперь видно всей Украине. Не завидуем детям!»

Но самым беспощадным ударом для его педагогики стало выступление Надежды Константиновны Крупской на Восьмом съезде комсомола. Даже спустя годы он помнил слово в слово то место в её речи, где говорилось о колонии.

«Я бы хотела, товарищи, обратить ваше внимание на то, до чего докатыаются отдельные школы. В первой книжке журнала «Народный учитель» за нынешний год описаны воспитательные приёмы, которые употребляет один Дом имени Горького на Украине. Там введена целая система наказаний — за один поступок меньше, за другой больше. Там есть такие поступки, за которые полагается бить, и там создалось такое положение, которое не может не возмущать до глубины души каждого, не только коммуниста, но и всякого гражданина Советского Союза. Там говорится, что воспитатель должен наказывать ученика, — он может бросить в него счётами или набрасывается на него с кулаками, может бить палкой, кнутом. Там описывается сценка, как заведующий домом посылает провинившегося в лес для того, чтобы он принёс прутья, которыми «воспитатель» будет его хлестать.

Дальше идти, товарищи, некуда. Это не только буржуазная школа — это школа рабская, школа крепостническая, и если даже только один такой факт есть, необходимо с ним тщательно бороться...»

В журнале «Народный учитель», на который Крупская ссылалась, был опубликован пространный, в тридцать пять страниц, очерк о горьковцах — «Навстречу жизни». Молодая, начинающая журналистка Надежда Остроменецкая

в отличие от тех гангстеров пера, которые совершали набеги на колонию исключительно с бандитскими целями, провела у горьковцев три летних месяца, стараясь честно разобраться в педагогической системе, с помощью которой поднимали к жизни таких пацанов, которые ещё бы чуть — уже разучились ходить и разговаривать. Всё ей тут понравилось, всё приводило в восторг. Очерк получился искренним и, в общем-то, правильно обрисовал жизнь колонии. Порадоваться бы! Но как знал Антон Семёнович, когда просил Остроменецкую поправить некоторые детали, не соответствовавшие действительности: эти «бантики», изобретённые самой журналисткой без помощи пацанов, любителей сочинять легенды и кое-что нафантазировавших в рассказах о колонии ради хохмы, ради розыгрыша доверчивой Остроменецкой, — всё это могло обернуться боком. Так оно и случилось.

Ни то, что колония имени Горького, считай, одна во всей Украине стояла как крепость посреди моря расхлябанности и дармоедства, ни то, что воспитательная деятельность Макаренко не знала поражений, — ничто не принималось во внимание. Крупской верили безоглядно, Крупская — ошибаться не могла. Но промахи делают, увы, даже великие.

«После Вашей статьи, — жаловался Антон Семёнович Остроменецкой, — меня здесь стали доедать вконец. После речи Н. К. Крупской на комсомольском съезде, в которой она упомянула о Вашей статье, я уже не видел никакого выхода, как уйти из колонии».

Несколько утешало: Горький написал, что, прочтя очерк «Навстречу жизни», «едва не разревелся от волнения, от радости». Но утешение это было слабое, поскольку и сам Алексей Максимович признавался в своей покорности обстоятельствам, которые порой оказывались сильнее его самого: «Настроение Ваше, тревогу Вашу — я понимаю, это мне знакомо, ведь и у меня растаптывали кое-какие начинания, дорогие душе моей, например — «Всемирную литературу».

К кому было апеллировать, к чьей взывать справедливости, где требовать правды?

К счастью, идеи его не остались беспризорными. Их подобрали, точно так, как подбирали беспризорных пацанов чекисты. И не только подобрали, но и доверили принять участие

в организации коммуны имени Дзержинского.

Антон Семёнович помнил слово в слово документ, от которого начала свой отсчёт история этого удивительного коллектива, — обращение председателя ГПУ Украины Всеволода Аполлоновича Балицкого ко всем сотрудникам органов ГПУ республики: «Увековечивание памяти нашего незабвенного вождя и учителя Феликса Эдмундовича Дзержинского ознаменовалось важнейшим фактом: усилиями украинских чекистов, при поддержке советской общественности построен лучший памятник первому чекисту — организована детская трудовая коммуна имени Ф. Э. Дзержинского...» Далее говорилось о том, что содержаться коммуна будет за счёт ежемесячных полупроцентных отчислений от зарплаты сотрудников ГПУ.

Чекисты помогали коммуне не только материально. Сам председатель ГПУ, секретарь парткома Броневой, председатель культбыткомиссии Букшпан, другие руководящие сотрудники, несмотря на свою колоссальную занятость, отнюдь не формально участвовали в работе правления коммуны, бывали там постоянно.

Антон Семёновича занимало тогда такое обстоятельство. Допустим, рассуждал он, они прекрасно знают своё дело, но ведь невооружённым глазом видно, что в педагогических теориях они разбираются весьма и весьма мало. Почему же они не боятся педагогической практики? Не получится ли как в известной крыловской басне, когда пироги пёк сапожник, а сапоги тачал пирожник?

Но этого, к удивлению и счастью, не случилось.

Нет, чекисты не засели спешно за учёные педагогические труды, чтобы подковаться в вопросах воспитания, тем более не указывали Макаренко, какими воспитательными методами надо воздействовать на вчерашних нарушителей. Они дали Антону Семёновичу полную свободу действий, безусловно доверяя ему. А главное — относились к коммуне и коммунарам так, как относятся по-настоящему добрые, любящие и заботливые родители к своим детям, являя тем самым замечательный пример целенаправленной, организованной народной педагогики.

Первое же тесное общение с ними обнаружило в них, как писал Антон Семёнович в «Педагогической поэме», высокую нравственную себестоимость, открыло те самые

качества, которые он в течение многих лет пытался воспитывать в своих питомцах. Это совпадение было как озарение: да ведь вот же он — идеал, который всегда рисовало ему его воображение, идеал, который он выводил из всей философии новой жизни! Рассказывая в третьей части романа о своей встрече с чекистами, он не смог удержаться от признаний в любви и не нарисовать этих выношенных в сердце строк: «Как известно, у наших интеллигентов идеал похож на квартиранта: он занял чужую площадь, денег не платит, ябедничает, въедается всем в печёнки, все пищат от его соседства и стараются выбраться подальше от этого идеала...

Теперь я увидал другое: идеал не квартирант, а хороший администратор, он уважает соседский труд, он заботится о ремонте, об отоплении, у него всем удобно и приятно работать... Увидел я и много других особенностей: и всепроникающую бодрость, и немногословие, и отвращение к штампам, неспособность разваливаться на диване или укладывать живот на стол, наконец, весёлую, но безграничную работоспособность, без жертвенной мины и ханжества, без намёка на отвратительную повадку «святой жертвы».

И, наконец, я увидел и ощутил осязанием то драгоценное вещество, которое не могу назвать иначе, как социальным клеем: это чувство общественной перспективы, умение в каждый момент работы видеть всех членов коллектива, это постоянное знание о больших всеобщих целях, знание, которое всё же никогда не принимает характера доктринёрства и болтливости, пустого вяканья. И этот социальный клей не покупался в киоске за пять копеек только для конференций и съездов, это не форма вежливого, улыбающегося трения с ближайшим соседом, это действительная общность, это единство движения и работы, ответственности и помощи, это единство традиций...» Только на этой почве могло возникнуть учреждение, о котором Алексей Максимович Горький, посетив коммуны, сказал: «Это окно в коммунизм». Только на этой почве могли не только сложиться в определённую концепцию, но и получить практическое воплощение его, Макаренко, педагогические замыслы, родившиеся в колонии имени Горького. В коммуне господствовало новое отношение к человеку, забота о нем, большевистское внимание к каждому его шагу. Труд, учёба, отдых коммунаров — всё действовало в нерасторжимой композиции, органично

вплетаясь в жизнь страны. А это и должно было являться основой социалистической педагогики, считал Антон Семёнович.

Чаще, чем с другими, коммунарам довелось общаться с секретарём парткома ГПУ Александром Осиповичем Броневым.

С одинаково внимательной любовью Броневой решал и капитальные вопросы производства и строительства, вопросы быта и маленькие вопросы отдельной личности. Оставаясь всегда другом коммунаров, он никогда не отказывался сказать в глаза коммунару и всему коммунарскому коллективу правду, всегда умел направлять их волю и мысль на настоящую большевистскую дорогу. И потому к нему так просто было обращаться с просьбами, и даже любой пацан легко высказывал своё мнение.

Это он, Броневой, привёз в коммуны известие, от которого дух захватило:

— Будем строить завод. А на нём производить «американки».

«Американками» звали электросверлилки. Тогда, в двадцать девятом году, электрическая дрель была столь диковинной штукой, как если бы вдруг в Харькове начали расти бананы.

Сверлилки ввозили из-за границы за валюту. И вот уже сквозь дыры в ветхих строениях «стадиона», как величался столярный цех, всё отчётливее и отчётливее проступали очертания будущего фантастического завода, где стояли не допотопные станки, добытые на свалках, а новенькие, современные зуборезные автоматы Марата, универсальные револьверы Гассе и Враде, револьверно-сверлильные Арчдейль, плоскошлифовальные Самсоны Верке, от самих названий которых кружилась голова.

Это он, Александр Осипович, постоянно привозил в гости к коммунарам всевозможные делегации, в том числе и зарубежные. За первые пять лет коммуны в ней побывало только посланцев других стран более двухсот. И не только коммунисты, рабочие.

В тридцать первом, когда уже был пущен завод электросверлилок, с коммуной пожелал познакомиться премьер-министр Франции Эдуард Эррио. Он долго ходил в сопровождении высокого начальства по коммуне, внимательно расспрашивал воспитанников, как им живётся, и в конце концов сказал: «У нас во Франции такого нет, и оно,

увы, просто невозможно». А потом хитровато улыбнулся и спросил у Броневского: «Ну а такое ваши коммунары смогли бы сделать?» — и показывает свой фотоаппарат. Тут откуда-то вынырнул юркий малыш-коммунар, берёт у Эррио его «лейку» и говорит Александру Осиповичу: «А почему бы и нет? Подарите — посмотрим». Когда премьер-министру перевели, что он сказал, тот рассмеялся и подарил ему свой фотоаппарат.

Этим дело не кончилось. Александр Осипович уже заболел новой идеей: а что, а почему бы и не завод фотоаппаратов? В рекордно короткие сроки был разработан проект, и уже через два года после приезда в коммуны Эррио дзержинцы выпустили три первых опытных образца «ФЭДов» — никто, никогда у нас в стране не брался за изготовление механизмов такого высокого класса точности.

Изумительные темпы развития коммуны, её организационная структура, воспитательная система, хозрасчётное производство, прошагавшее семимильными шагами от кустарных мастерских до предприятия, где производится сверхточная техника... Воспоминание обо всём этом опахнуло Антона Семёновича мятежным ветром пережитого.

Он прикрыл глаза и словно снова увидел своих судей с «Олимпа» здесь, в полутёмном кабинете НКВД. Со времени чёрного того заседания в НИИ педагогики он не встречался более практически ни с кем из них. Вскоре Антон Семёнович расстался с колонией имени Горького, делами которой ведал Наркомпрос, и вот уже восемь лет — в системе НКВД. Так что никто из судей особо не постарел, не изменился.

Вот профессор Чайкин, идейный вождь харьковских педологов. Он и в жизни — как в романе. Невзрачный, полурыжий, полурусый, не то с бородой, не то без бороды. Громил всё подряд: и организацию труда в колонии, и систему поощрений и наказаний, постоянно нападал на социалистическое соревнование у горьковцев, считая, что оно «развивает идею меркантильного порядка». Чувство долга, на которое Макаренко тоже делал ставку в воспитании, смешивал со всем, с чем только можно было смешать, так как это-де идея буржуазных отношений. Бичевал призыв Макаренко воспитывать чувство чести, потому что, по его мнению, эта категория «напоминает офицерские привилегии, мундиры, погоны»... Колонийское производство, с по-

мощью которого в колонии нашли основу создания коллективных перспектив, называл средством материального обогащения, в силу чего, дескать, оно педагогической наукой не может быть признано в числе факторов педагогического влияния, так как вульгаризирует идеи трудового воспитания...

Тот Чайкин был чем-то похож на героиню рассказа Чехова «Драма» Мурашкину, замучившую известного драматурга чтением своей бездарной, бесконечно длинной пьесы.

Сейчас Чайкин смотрит униженно и кротко. Таким Антон Семёнович запомнил его по последней встрече. Чайкин привёз к нему в коммуны своего сына, над которым производил какие-то свои педагогические эксперименты — и этим издёргал, надломил психически. Отдавая его в руки Макаренко, едва не встал на колени:

— Спасите!

Как ни избегал Антон Семёнович копаться в прошлом своих воспитанников, здесь не удержался узнать, как же этот воинствующий проповедник схоластики пестовал своё чадо. Шаг за шагом, осторожно, не задевая воспоминаний мальчика, распутывал ниточки воспитательских ухищрений профессора и находил по пути одно педагогическое безумие за другим, одно кликушество за другим.

Вот семья Чайкина приехала на море. Сын боится воды. Отец ведёт мальчугана на берег:

— В воду!

Мальчик с тревогой оглядывается на мать. Но отец безжалостен:

— Ну! Ты мужчина или не мужчина? У тебя есть гордость?

Нет, не из гордости мальчуган идёт в воду. Не себя он хочет проверить на мужественность — ему это ещё не дано. Он хочет доказать отцу, что не трус, что вполне самостоятельный мужчина, что ему всё нипочём. И вот вам первый опыт бравады — не потребность проявить себя, а показная храбрость с дешёвым чувством мнимой победы!

Случилось раз Чайкину-младшему наругать матери. Профессор-папа суров и непреклонен:

— Ты оскорбил мать, ты не имеешь права пользоваться её трудом. Вот тебе деньги — я ведь ещё обязан тебя содержать — и поступай как хочешь и можешь.

Отпрыск не прибежал на следующий день вопреки ожиданиям профессора ни с извинениями, ни с раскаянием. Наоборот, ему понравилась самостоятельность, понравилось выглядеть в кругу ровесников респектабельным и независимым. Но деньги, выданные отцом, быстро иссякли. Изъял из шифоньера отцовские бостоновые брюки, которые тут же продал на толкучке за бесценок. Затем из дома уплыли одна за другой несколько других дорогих вещей. Профессор схватился за ремень: — Ты чей сын? А? Ты босяк по натуре своей! Ты не человек!..

Сколько их было, инквизиторов от педагогики! А кроме них, науськанные наркомпросовскими дамами, одна за другой ехали в колонию комиссии, ревизии, инспекции из департаментов иных — хозяйственники, санитарные врачи, финансисты. И все — нацеленные раскрыть очередное «преступление» Макаренко. Это не столько мешало его собственной работе (в конце концов ко всему можно притерпеться), сколько выбивало из колеи остальных сотрудников. Даже многотерпеливый и преданный друг Елизавета Фёдоровна Григорович, все годы педагогической практики Макаренко делившая с ним тяготы и привыкшая, кажется, ко всему, и та время от времени ломалась:

— Как же так? Работаем, работаем, забыв о себе, а приезжают какие-то бояре, исследуют нас, как под микроскопом, важничают, поучают. Так жить невозможно!

— Возможно, — успокаивал её Антон Семёнович, — возможно. А главное, дорогая Елизавета Фёдоровна, надо!

...Антон Семёнович сидел, закрыв глаза, перелистывал воспоминания — и, словно в кинематографе, пробегали в памяти кадр за кадром картины его противостояния с неприятелями — «олимпийцами», борьбы с ними, борьбы безжалостной и беспощадной. Кажется, только ею одной и была наполнена вся его жизнь. Легко было бы объяснить это судьбой, если бы он в судьбу верил. Но дело, видно, совсем в ином.

Вдруг ни с того ни с сего вспомнилась ранняя молодость, девятьсот одиннадцатый год, станция Долинская, где он тогда учительствовал.

Прямо посреди станционного посёлка, на площади возле школы,

приземлился самолёт. В моторе случилась какая-то неполадка, и лётчик, совершавший перелёт из Киева в Севастополь, вынужден был сесть и прожить в Долинской три дня, пока не приехали и не починили мотор механики.

Этих трёх дней было достаточно, чтобы не только ученики, но и все жители посёлка успели привязаться к весёлому и простому поручику. И вдруг через несколько дней после того, как он улетел, в школу пришёл станционный телеграфист и принёс телеграмму, в которой сообщалось, что поручик не долетел-таки до Севастополя, снова упал и теперь лежит в Николаеве с переломанными ногами и руками. Горю учеников не было предела. Они рыдали, не скрываясь, не стыдясь слёз и друг друга.

И тогда кто-то предложил послать поручику телеграмму и в ней всё написать — как они его любят, как они за него волнуются и что готовы помочь чем только возможно. На телеграмму собрали — по копейке, по семитке, по алтыну — четыре рубля пятьдесят девять копеек и тотчас отбили телеграмму.

А через неделю Макаренко вызвал на соседнюю станцию жандармский штаб-ротмистр.

— Сегодня вы собираете деньги на телеграмму, а завтра...

Напрасно молодой учитель убеждал жандарма, что это же замечательно — патриотический порыв учеников. Ротмистр был возмущён:

— Сегодня деньги на телеграмму, а завтра?.. И вообще — вас не касается!

Живи, мол, и не высывайся! Такой мыслью должен был руководствоваться в своей жизни каждый.

Но вот горячий и бешеный революционный поток, казалось бы, открыл для каждого возможность чувствовать себя и быть действительно человеком. И вдруг — «олимпийцы»... Антон Семёнович с болью в душе доискивался ответа на вопрос: почему, откуда, по какому праву на каких-то участках главенствуют такие типы? Почему они позволяют себе издеваться над новым? Что даёт им силу? Почему сыпят песок в глаза тем, кто трудится не покладая рук во имя людей и их настоящего и будущего? Выходит, революция сама по себе мало что изменила в человеке?

Он не нашёл тогда ответа. Любой из них не вмещался в его представления о том, что правильно, а что нет.

Объяснить же всё простой формулой, что старое не сдаётся без боя, было бы чересчур наивным.

В глубине души Антон Семёнович гордился своей принадлежностью к НКВД. Странно, но именно эта служба в наркомате принесла ему почти физическое осязание того широкого, размахнувшегося во все стороны света тысячами километров полей, лесов и морей государства — СССР. Правда, в последнее время чувства эти несколько поослабли, уступив место подспудно зревшей тревоге, природу которой он ещё не понимал. Он гнал прочь догадки, но они осеняли его всё чаще. А посоветоваться было не с кем.

Не так давно совершенно случайно Антон Семёнович узнал, что инициатором его назначения в наркомат был Броневой. Добиться этого было, наверное, не совсем просто. Ведь между скромной должностью заведующего педагогической частью коммуны и нынешней — дистанция огромнейшего размера. Значит, доверял Александр Осипович ему, надеялся, видел в нём специалиста, способного принести большую пользу на уровне наркомата, не утонуть в сложных водоворотах аппаратных течений. Что ж, с трудом, но на плаву. Хотя, сдаётся, держаться всё труднее.

Как же не хватает сейчас рядом такого же бодрого, такого уверенного в нём человека! Оставайся Александр Осипович и по сей день в Наркомате внутренних дел, многое в судьбе поисков, которые он, Макаренко, вёл, наверняка решалось бы иначе. Но вскоре после переезда Антона Семёновича в Киев тот и сам получил новое назначение — заместителем наркома здравоохранения Украины. Виделись теперь редко, от случая к случаю, к тому же докучать другим людям своими заботами Антон Семёнович не любил...

Ничто не изменилось в отношении Антона Семёновича к сотрудникам НКВД в целом, к органам внутренних дел вообще. Но что же изменилось? Что? Может, его собственные воззрения стали другими? Не стали. Разве другие люди пришли в наркомат? Пришли, конечно, но так, естественная прибыль-убыль. Почему же разрушился стройный ансамбль взаимного доверия, принятия каждым каждого таким, каков он есть? Конечно, если разобратся, ему не так уж часто приходится биться головой о стену, доказывая своё. Но почему, когда порой требуется точность решения в каком-то вопросе, дело решается категорическим императивом:

этого нельзя, потому что нельзя? Или наоборот: это необходимо, потому что необходимо...

Кстати, что же имел в виду Прейслер, принеся ему журналы с «Поэмой»?

Впрочем, что гадать? «Кажется, и Вы найдёте тут кое-что любопытное...»

Нашёл, конечно. Чего же тут искать, если и так всё ясно. Вот сидит уже добрый час и вместо того, чтобы заниматься делом, предаётся вовсе ненужным воспоминаниям. Делу от них пользы мало.

Коля имел в виду, безусловно, подчёркивания, по которым при желании нетрудно проследить чуть ли не всю историю баталий Макаренко с тогдашними деятелями Наркомпроса Украины. Кем-то эти пометки сделаны, разумеется, преднамеренно.

В сознании всплыл чей-то вопрос, заданный однажды уже тут, в наркомате: «Кстати, Антон Семёнович, а в чём это вы не ладили с наркомпросовцами? Вроде там народ сидит неплохой...» Он ответил тогда, что природа этого конфликта отнюдь не исключительна. Не так уж редко веяния, выходящие за пределы обыденного, представляются чем-то злостным и, как правило, сопрягаются с представлением о зачинщике. Собеседник вроде бы удовлетворился ответом. Но в каверзном его вопросе нетрудно было угадать попытку получить некое доказательство от противного: что же это, мол, ты за человек, товарищ Макаренко, если не мог ужиться с просвещенцами!

Вот странные люди! Почему-то не отметили, не подчеркнули в романе места, где говорится, а во что обходилось ему стоять на этих педагогических редутах, какой каторжной была все те годы его личная жизнь.

Женился и то аж на пятом десятке лет, всё не до того было.

Антон Семёнович снова встал из-за стола, прошёлся взад-вперёд по кабинету. Сел и вынул из портсигара новую папиросу. Где-то совсем рядом билась, аукала чрезвычайно важная и необходимая мысль, способная расставить по своим местам все его размышления, вопросы и догадки. Но он никак не мог добраться до неё сквозь усталость, впечатления прожитого дня и завалы других мыслей — ненужных, второстепенных. Желание докопаться до сути было прямо-таки физическим мучением, будто привязали тебя к столбу, а под тобой развели костёр.

Избавление пришло самым неожиданным образом. Настойчиво затрещал телефон внутренней связи. Антон Семёнович поднял трубку.

— Слушаю.

Дежурный бюро пропусков спросил:

— Товарищ Макаренко?

— Да, слушаю.

— Антон Семёнович, тут к вам какой-то Сватко пришёл.

— Сватко? Пропустите!

— Никак не можем, Антон Семёнович, у него нет документов.

— Хорошо, сейчас я сам выйду.

11

Возле дежурного милиционера в вестибюле стоял Афанасий Сватко, воспитанник коммуны имени Дзержинского. Впрочем, воспитанник теперь уже бывший. Прошлой весной он ушёл из коммуны, оставив Антону Семёновичу коротенькое письмо: «Жить больше так не могу. Простите меня. Афанасий». Где он всё это время находился и что делал, догадаться было нетрудно. Оброс, глаза — в двух тёмных провалах, скулы — что острые углы, на плечах, без сорочки и даже майки, традиционный наряд беспризорника — «клифт», засаленная, рваная кофта.

— Здравствуйте, Антон Семёнович!

— Здравствуй, Сватко. А я думал, что ты раньше придёшь.

— Нет, только сейчас.

— Ну пойдём ко мне.

Он взял руку Афанасия в свою и крепко пожал. Вместе поднялись в кабинет.

Афанасию больше всего хотелось закрыть глаза и, может быть, даже расплакаться. Но он знал, как ценил Антон Семёнович сдержанность в мужских отношениях, и только глупо улыбался.

Молчал и Макаренко.

У него никогда не водилось любимчиков среди воспитанников, никто не пользовался особой, исключительной его благосклонностью. Но были среди них те, за чьим становлением он следил с наибольшим вниманием, — манившие его богатством натуры, сложностью характера, уникальностью

какого-то качества. Он вёл их по жизни, относясь гораздо строже, чем к остальным, редко прощал промахи, ошибки, вообще поступки, которых те вполне могли избежать, если бы задались целью оценить своё поведение со стороны.

Непростым воспитанником был и Сватко. С первого же дня его пребывания в коммуне, несколько лет Антон Семёнович испытывал постоянно боязнь потерять его, так как видел сквозь открытость, ровность в поведении затаённую жажду по чему-то такому, чего он и сам не знал.

Сватко был необыкновенно начитан, писал стихи и слыл в коммуне литературной звездой первой величины. Он охотно помогал Терскому, организатору клубной работы в коммуне, в редколлегии стенгазет «Коммунар» и «Шарошка», в драмкружке у Антона Семёновича, создавал в бесчисленных количествах стихотворные заставки для «капустников», сатирические миниатюры для «живой газеты». И со временем так привык блистать, что стал довольно охотно беседовать с коммунарами и гостями коммуны о своих выдающихся способностях и качествах, поражая всех цитатами и замечательной памятью.

Но чем выше становился статус Сватко как кумира, тем непонятнее для всех он вёл себя. Например, часто уходил с уроков в школе и со слезами на глазах говорил, что не может делать всё так, как другие. Имея склонность к литературе, именно на этих уроках положительно не мог сосредоточить своё внимание на чём-то определённом. Когда требовалось изложить на бумаге какую-то мысль, он уже на втором или третьем слове затормаживался и нетерпеливо чертил геометрические фигуры, рисовал зверушек и птиц.

Антон Семёнович не сразу, не вдруг понял, в чём дело. А раскусив сей крепкий орешек, забеспокоился. У Сватко начал формироваться тот честолюбивый тип характера, при котором редко кто может прожить без сильных внутренних и внешних раздражителей. Сам того не сознавая, Сватко деятельно и страстно искал острые впечатления, вообще что-то необычное. То купил и поставил на тумбочке в спальне бюстик Маяковского и чуть не до обмороков доходил в спорах, доказывая, что Маяковский — самый великий поэт всех времён и народов. То увлекался чтением исторических романов, между тем на уроках истории скучал всё откровеннее. То вдруг с яростью брался за самый тяжёлый

физический труд, явно желая довести себя до полного изнурения.

Антон Семёнович знал, чем это чревато. И однажды вечером, когда у него в кабинете, как обычно, полно набилось народа, dokonчил свои дела, поглядел, кто тут присутствует, нашёл Сватко и рискнул затеять разговор, вроде бы не имевший отношения к Афанасию, а на самом деле начатый персонально для него.

— Ну, кто помнит, сколько весил Вронский, как звали его лошадь и какое это имело значение для развития сюжета в «Анне Карениной»?

Такие литературные игры пользовались в коммуне большой популярностью. Каждый мог блеснуть эрудицией, поломать голову, ну а кто не мог, тому и так сходило: сиди и слушай, о чём говорят умные люди.

Пацаны постарше «Анну Каренину» уже читали и, поморщив лбы, принялись сыпать ответы, один другого смешнее и остроумнее, но Антон Семёнович каждый раз отрицательно качал головой: не то.

— Ну а ты что думаешь, Сватко? — наконец спросил он. — Почему молчишь?

Действительно, как это все забыли о Сватко? Почему не являет своих познаний общепризнанный эрудит?

Он и впрямь мог ответить с ходу, но посчитал, что первый вопрос Антона Семёновича задан для разминки, поэтому снисходительно отмалчивался. Но раз Антон Семёнович спрашивает именно его, отчего же не ответить?

— Лошадь звали Фру-Фру, — сказал он, — а Вронский весил, если мне не изменяет память, семь пудов. На скачках Вронский сломал лошади хребет, потому Анна и обратила на него внимание.

Пацаны с торжествующим интересом глядят на Антона Семёновича: верно ль ответил Сватко, в этой литературной пикировке как бы представляющий команду воспитанников в отличие от Антона Семёновича, который представлял самого себя.

— Ну, не совсем точно, Вронский весил не семь, а шесть пудов, ну тоже, конечно, много. И внимание Анна Каренина на него обратила гораздо раньше. В это время у них любовь полыхала уже со всею силой. В остальном ты прав. Когда Фру-Фру, на которой скакал Вронский, сломала спину, а сам Вронский упал, Анна не смогла сдержаться и

выдала себя волнением, чем навлекла на себя гнев мужа — тот счёл её поведение неприличным для светской дамы... Ну ладно. Оставим Вронского и Карениных разбираться в своих делах, а мы перенесёмся в другое произведение... А хорошо ли ты, Афанасий, читал «Мёртвые души»?

— Читал.

— А помнишь ли, какая была привычка у супруга помещицы Коробочки?

— Сейчас... А, вспомнил! Любил, чтобы перед сном ему чесали пятки.

— А что? — рассмеялся кто-то из пацанов. — Ничего себе привычка! Я бы тоже хотел, чтоб мне перед отбоем кто-нибудь чесал. Ха-ха!

— Крапивой? — тут же последовал едкий вопрос другого воспитанника.

— И чуть повыше, — под общий хохот добавил третий.

Коммунары — народ серьёзный, потому чрезвычайно склонный к юмору, острый на словцо, сдобренное перцем. Индивидуализм в коллективе считается распоследним делом. Вог почему общественное мнение тут же с помощью фырканья, междометий и коротких реплик — «Помещик, он и есть помещик!», «С жиру ещё и не то начнёшь выкамаривать!» — заклеимило позором супруга помещицы Коробочки, прихватив заодно и того коммунара, который почему-то не понимал, что нормальный юноша должен сам себе чесать и пятки, и всё другое. Однако разговор тёк дальше.

— А я тоже знал одного, — молвил Антон Семёнович. — Был у нас на железной дороге, ещё до революции, инженер — имел точь-в-точь такую же привычку. Но со временем пяток ему оказалось мало. Потом захотелось, чтоб чесали всё сильнее и сильнее. От чесания перешел к растиранию. Наконец довёл себя до того, что нанял двух молодцов, которые за солидную плату по утрам и вечерам разминали, растирали всё его тело жёсткими щётками. Иначе же инженер впадал в крайнее раздражение, мешавшее жить не только окружающим его, но и ему самому.

— У, буржуй! — вырвалось у кого-то из пацанов.

— Почему же буржуй? — возразил Антон Семёнович. — Это был трудящийся человек. Но вот не умел держать в узде свои привычки. Кстати говоря, подобным образом — от меньшего к большему — развиваются

дурные привычки не только физические. Ну а теперь ещё вопрос...

Сватко не слышал следующего вопроса. Умный, чуткий не только к тонам и полутонам в словах и интонациях, он уловил, в чей огород камень — рассказ Антона Семёновича. Антон Семёнович же, хорошо понимая, сколь жестоко было обнажить перед Афанасием перспективу возможной его деградации, тем не менее шёл на эту операцию сознательно.

Промучившись несколько дней в размышлениях о себе, Сватко пришёл к нему и, опустив глаза долу, сказал:

— Всё равно мне чего-то не хватает.

Что ж, это хорошо. Нормальный человек всегда не удовлетворён собой.

Разрешите уйти из коммуны! Куда, позволю спросить?"

— Не знаю.

Такой уход я разрешить не полномочен.

— Как же быть?

— Подумать.

— Уже думал.

— И что же?

— Решил твёрдо.

— Ну что ж, раз решил, тогда обращайся в совет командиров. Ты знаешь, что подобные вопросы в его компетенции.

— Не поймут.

— Ну, если ты считаешь, что товарищи, которые с тобой делят всё, что у них есть в жизни, не способны понять, апеллируй в правление.

— Я подумаю.

С неделю или чуть больше Сватко ходил как в воду опущенный. Потом исчез. Кто-то из старших коммунаров погоревал:

— Хороший парень. Жалко. Пропадёт.

— Не пропадёт, — уверенно заявил Антон Семёнович. Он понимал всю степень риска, когда обнажал перед Сватко суть его неудовлетворённости и сознательно доводил до крайности. Он знал также, что здоровое в парне возьмёт верх рано или поздно. И не ошибся.

И вот теперь, спустя чуть больше года после того события, они сидят друг напротив друга и молчат. Впрочем, говорить было не о чем. Оба понимали, что хочет сказать каждый.

Наконец Макаренко проговорил:

— Всё хорошо, что хорошо кончается. Для тебя было полезно увидеть настоящую беспризорную жизнь. Ты хватил её такой, какая она есть на самом деле, и теперь знаешь, что к чему.

— Антон Семёнович, я хочу просить вас, чтобы меня направили в Прилуки, в трудовую колонию.

— Почему именно туда?

— Там колония для взрослых. А мне уже двадцать.

— В трудовые колонии для взрослых направляют только по суду. Ничего такого за тобой нет. Поедешь в Бровары. Это здесь, под Киевом. Там недавно организована колония несовершеннолетних, но дела в ней что-то не заладились.

Антон Семёнович коротко рассказал Сватко, в чём дело.

— Так что поедешь туда. Работать. Поможешь мне вывести её в люди.

— Есть в Бровары! — ответил Сватко и даже встал со стула, улыбаясь во всю ширь лица. Прощён! И не пришлось выслушивать ни упрёков, ни каких других таких слов, в которых не было надобности, потому что сам себе он говорил их не раз.

Антон Семёнович написал записку.

— Вот, отдашь Георгию Михайловичу Осотскому, ты его должен знать по коммуне, в Броварах он старшим воспитателем.

— Помню.

Передав Сватко записку, Макаренко вынул из кармана деньги.

— Антон Семёнович, не надо, прошу вас! Я не могу взять.

— Возьми! — приказал Макаренко. — А теперь давай попрощаемся. Через несколько дней мы увидимся. Сейчас ступай ко мне домой — переночуешь, приведёшь себя в порядок, и отправляйся в Бровары.

— Спасибо, Антон Семёнович. Только я, пожалуй, пойду не к вам, а к Грише Галкину. Раз в Броварах такое дело, сагитирую и его.

Галкин был недавним выпускником коммуны, жил в Киеве, хотя с Макаренко не встречался. Антон Семёнович подумал немного и согласился:

— Ну что ж, если это не нарушит его планов, было бы хорошо, чтобы и он поехал в Бровары. А завтра я попробую прислать туда ещё кого-нибудь.

Оставшись один, вернулся за письменный стол, вынул стопку бумаги, решительно бросил на первую страницу: «Начальнику отдела трудовых колоний НКВД УССР т. Ахматову Л. С. Рапорт. Настоящим докладываю...»

А о чём, собственно, докладывать? В чём оправдываться? И зачем ко всем разговорам, которые велись, нужна ещё и бумажка? Любой работник, в любой сфере деятельности имеет право на риск, если это направлено на улучшение дела. Чего стоили бы все цели, все труды человеческие без риска? Разве ответственность, которую он взял на себя, не является гарантией того, что Броварская колония будет развиваться так, как направил он её своими решениями? Идеи, которыми он руководствуется, извлечены из его опыта — как же можно им не доверять!

Разумеется, никто не застрахован от ошибок. Были они на его воспитательном поприще. Особенно на первых порах.

Он начал учительствовать в семнадцать лет. Молодость не помешала тем не менее услышать в себе ропот на затхлую тишину в провинциальном учительском мире. Пять программных уроков в день, самовар, который подавался в учительскую на большой перемене. Для большинства учителей школа не была средоточием их интересов, поэтому после пятого урока спешили по домам. Интересы начинались во второй половине дня. Вечерами шли в сад общества трезвости. Смотрели спектакль, который ставила любительская труппа, занимались критикой гуляющей публики, их костюмов, манер и неумелого флирта. Тоску топили старым, испытанным средством — в вине.

Однако жалованье учителя железнодорожной школы позволяло Антону Семёновичу не только одеваться у Казачка — лучшего портного Кременчуга, но и тратить довольно значительные суммы на газеты, книги и журналы. Сколько себя помнит в ту пору, всегда был с книгой. Интересовался всем подряд — философией и социологией, астрономией и естествознанием, художественной критикой и политэкономией. Что же касается художественной литературы, прочёл, кажется, буквально всё, начиная от Гомера, кончая Кнутом Гамсуном и Максимом Горьким.

Начитанность его очень скоро обнаружилась всеми, и вокруг него образовался кружок крюковской интеллигенции,

состоявший из нескольких учителей, врачей Химченко и Димары, ветврача Голобородько, священника отца Дмитрия Григоровича и его жены Елизаветы Фёдоровны, кое-кого ещё. Спорили о литературе, посещали кинематограф, катались на лодках, иногда отправлялись на днепровские острова, где купались, лежали на песке и снова спорили, спорили, спорили...

Всё это тоже не приносило ничего, кроме скуки. Ушёл с головой в работу, попробовал внести в неё кое-какие новации. Это были первые его попытки вырваться из замкнутого круга.

В конце каждой учебной четверти педагоги готовили карточки, на которых проставляли отметки учеников по различным предметам. Ученики возвращали их с подписью родителей. Чтобы внести дух состязательности в учёбу своих питомцев, Антон Семёнович придумал классифицировать учеников по успеваемости. Он выводил среднее арифметическое из полученных отметок и затем распределял учеников по порядку: первый ученик, второй ученик и так до конца. В классе у него было тридцать семь учеников. В карточке самого слабого ученика поэтому делалась запись: «Тридцать седьмой и последний». Однажды таким «тридцать седьмым и последним» оказался Дмитро Примака — мальчик не столько малоспособный, сколько слабый физически из-за болезни. Как потом оказалось, у него была чахотка. Когда Дмитро получил свою карточку, то так расстроился, что ушёл домой, не дожидаясь окончания уроков. На следующий день он не пришёл в школу. Не было его на уроках ни на третий, ни на десятый день. А потом однажды прямо на урок пришёл его отец. Едва сдерживая рыдания, он сказал:

— Сегодня ночью мой мальчик умер. Я пришёл вам сказать об этом и ещё спросить вас: для какой цели вы поставили в его четверти, что он тридцать седьмой и последний? Зачем вы обидели мальчика, которому оставалось жить всего десять дней? Он так горевал, бедный, что он «последний». Это вы, Антон Семёнович, нехорошо поступили, очень нехорошо. Я знаю, он бы всё равно умер, но зачем было причинять мальчугану ненужные страдания?

Антон Семёнович не помнил, что и отвечал убитому горем отцу в своё оправдание, но урок он получил на всю жизнь: принимаясь за новое, зная наверняка, чем оно закончится. Такую уверенность он мог не иметь в

начале своей учительской карьеры. Но теперь позади три десятилетия труда и поиска, и в праве на риск он себе отказать не может.

12

Занятый разными мыслями, он не сразу заметил, как открылась дверь, и на пороге возник Ахматов.

— А, вы ещё здесь?

— Да, хочу набросать для Броваров кое-какие планы, хотя бы на ближайшие дни... Проходите, пожалуйста, садитесь...

— Вы действительно уверены, что в Броварах всё будет в порядке? Или... Меня не покидает ощущение, что вы... как бы это сказать... Мне кажется, что вы сознательно обострили там ситуацию. В этом что, есть какая-то педагогическая цель?

Макаренко ответил не сразу. Трудный день, нелёгкий вечер опустошили его до такой степени, что дискуссировать о чём-то серьёзном ему было не по силам. Сегодня не раз приходила в голову мысль о какой-то роковой закономерности: практически каждый раз, когда начинал, затевал что-то, требовалось прежде «ободраться» о бесконечные вопросы, инструкции, запреты и инстанции. И такое повторение, возможно, было ему и полезно, приносило новые знания, обогащало новым опытом. Бровары едва ли приносят что-то новое. Нет, это не взятие важной стратегической высоты. Тогда что? Если иметь в виду его всё более крепнущее намерение уйти на профессиональную писательскую работу, не есть ли это арьергардный бой отступающего полководца? Возможно. Но и такой бой тоже надо было выиграть, подобно тому, как через сто лет после Куликовской битвы русскому войску потребовалось выдержать бескровное, испытывавшее волю и выдержку противостояние на реке Угре, чтобы хан Большой Орды Ахмат, без толку прождав сражение, повернул свои тысячи вспять, потому что уже не мог не считаться с окрепшим Московским государством, обретающим целостность и силу.

Что ж, тоже важный элемент и стратегии, и тактики — умение донести до других свою педагогическую веру. И, наверное, плохой он стратег и тактик, если не может убедить даже того, кто по своему положению и уму должен понимать всё как надо без всяких пояснений. Когда молодой

сотрудник говорит, что несовершеннолетний правонарушитель едва ли не враг народа и Советской власти, тут ясно: ещё не вызрел и своего мнения не имеет. Но Ахматов! Очевидно, не раз держал перед глазами те же страницы Маркса, Ленина, что и он, Макаренко. Тогда неужели не ясны ему поступки, решения и образ мыслей помощника? А если ясны, откуда этот ползуаговорщический тон, участвовавшие ссылки и экивоки на кого-то, кто может, дескать, не так понять, истолковать вкривь и вкось его, Макаренко, страстное и честное нетерпение в деле? Антон Семёнович был предельно откровенен с Ахматовым во всём. Хорошо понимая, что на Льве Соломоновиче лежит вся полнота ответственности за работу отдела и подчинённых ему подразделений, без устали объяснял, мотивировал, раскладывал по полочкам каждый шаг — уже и студент-первокурсник педвуза понял бы и либо принял, либо отверг его программу. Но нет — снова и снова вопросы, вопросы, вопросы, бесконечные экзамены, отнимающие время, силы и, если на то пошло, усердие. Разве он чем-то нанёс урон делу?

— Цель...

Он придвинул Ахматову портсигар со своими самодельными папиросками...

— Конечно, ситуация была и без того острая, верно. Ахматов кивнул головой.

— И обострил я её, вы верно угадали, сознательно. Знаете, ещё работая с горьковцами, я заметил: когда происходило нечто чрезвычайное, из ряда вон выходящее, я получал самый полный педагогический приход. Я не знал, в чём дело, только почувствовал, что тут зарыт какой-то важный секрет. И стал ждать новых неприятностей уже без того содрогания, как прежде: знал, что сумею извлечь из них какую-то педагогическую выгоду. Простая и самая распространённая ситуация: воспитанник украл у товарища некую вещь. Да кол вытеши у него на голове, доказывая, что красть плохо, ничего не получится с твоей доморощенной педагогикой, пока такое вот воровство реально не покажет каждому, что это действительно пакостно. И вот вам выход гнева, столкновение мнений, жизненных позиций — взрыв, одним словом! И тут твоё дело только чуть-чуть, совсем немного, тонко и осторожно подправить эту коллективную стихию, придать ей нужное направление. Я много думал о природе этого явления, а

со временем научился пользоваться им, как инструментом.

— Так что же, нужно провоцировать такие взрывы?

— Зачем же? Жизнь постоянно преподносит огромное множество нестандартных ситуаций, которые ставят человека в необычные условия, заставляет мобилизовать свои убеждения, жизненный опыт, привычки, навыки. И тут только не зевай!

— Ну а Бровары? — направил Ахматов разговор в ту конкретность, которая его волновала, судя по всему, гораздо больше, чем педагогические воззрения помощника.

Вот и поговорили! Ну конечно! Очень нужны Ахматову его рассуждения! Педагогические тонкости, о которых пёкся помощник, были для него скорее чем-то вроде гарнира к основному блюду — внешней стороне дела.

Старое, известное явление, на борьбу с которым Антон Семёнович потратил столько сил! Но как же он не разглядел этого раньше?

Впрочем, если бы и разглядел, распознал, что бы изменилось? Да ничего. Всё равно пришлось бы каждый раз объясняться, как делает это сейчас. Потому что так себя поставил Ахматов, так, видно, понимал свою роль в их сотрудничестве — нечто вроде отдела технического контроля, своего рода цензуры или чего-то подобного. Выходит, весь год они не были единомышленниками — оба сосуществовали в параллельных плоскостях, каждый со своими идеалами, целями, принципами. И если обошлось без конфликтов, то какие же качества Ахматова позволяли ему терпеливо выслушивать его и даже соглашаться?

Антон Семёнович не был готов с ходу ответить себе на этот вопрос и с тоской подумал, что сейчас, хочешь или не хочешь, нужно продолжать диалог, всё же имеющий практический смысл. Ведь как ни крути, а от Ахматова тоже во многом зависит, быть или не быть пятой колонии учреждением, где утвердился его, Макаренко, педагогическая, гражданская, наконец, человеческая вера.

Снова сдавило грудь. Стараясь не выдать своего состояния, Антон Семёнович возможно спокойнее проговорил:

— Я никогда не организовывал взрывов в тех коллективах, где довелось работать. Воспитанники тотчас

обнаружили бы нарочитость, и тогда прости-прощай их доверие. И здесь тоже не было ничего нарочитого. В Броварской колонии представляется возможность проверить мои предчувствия в массовом масштабе, в масштабе большого коллектива. Там каждый воспитанник живёт сам по себе, а значит, невольно противопоставляет себя коллективу, а если говорить в широком смысле, то обществу в целом.

— Ну, если вставшие на путь исправления, а такие наверняка есть, противопоставляют себя отрицательно настроенным, — заметил Ахматов, — что же в этом плохого?

— Вот этого-то как раз там и нет. Есть толпа разрозненных индивидуумов, в которой существуют некие группы, образовавшиеся на принципах преступной иерархии. А мы их развалили одним махом, предложив программу, в основе которой лежит наше, социалистическое начало. Это первый шаг, ещё не сам взрыв, а только его зарождение. Мы привели конфликт к такому состоянию, когда никакая эволюция уже невозможна. Сейчас в душах колонистов идёт, если хотите, гражданская война. Но мы предложили им громкое дело, нужное всей стране. И вот представьте себя на их месте... Вчера они чувствовали себя всего лишь осуждёнными, наказанными, они были поставлены в условия конфликта с обществом. Сегодня поднимутся до роли людей, которым дана возможность проявить свои патриотические чувства...

— Они должны проявлять патриотизм, честно искупая свою вину перед обществом и перед законом. А с патриотическими затеями мы и без них управимся,— хмуро произнёс Ахматов.

Антон Семёнович, не глядя на начальника отдела, жёстко ответил:

— Увы, мы снова вернулись к разговору, который уже вели.

Ахматов посмотрел в окно, за которым уже разливалась предутренняя синева, бросил взгляд на разложенные по столу бумаги, потом на часы:

— Ну что ж, счастливо оставаться, — подал он руку на прощанье.

Макаренко устало опустился на стул. Подумал: Галина Стахивевна сейчас, наверное, досматривает предутренние сны. Как права она, насколько же несовместимо то, что он может и хочет, с тем, какими возможностями для этого располагает! Обязанностей — трудно назвать,

каких среди них нет, и лишь права отнюдь не рядового аппаратного работника Макаренко — словно за высоким колониальным забором.

В последнее время он стал реже делиться с женой. А то оседлает своего любимого конька: «Аппарат — не твоя стихия, Тосенька! Для тебя это всегда будет китайской грамотой».

Он и сам понимал, что теперь от него требуются такие действия, когда весь его прошлый опыт вроде бы и нужен, но и не нужен одновременно.

Но, может, он сам в этом виноват? Может, действительно в чём-то он всё-таки не прав? Может, и впрямь ставит телегу впереди лошади? Может, потребности исправительно-трудовой практики диктуют иные правила и законы, чем те, которыми руководствуется он?

А если так, то что же получается? Его идеи в этих условиях, попросту говоря, преждевременны, если не сказать точнее — без надобности. А колония имени Горького и коммуна имени Дзержинского — пока лишь частный, возможно, случайный опыт, явивший собой исключение из правил, которые он напрасно игнорирует?

Галя права: писательство сегодня, наверное, более близкий путь к утверждению его педагогической веры. Но куда он совсем не сменил на новое оружие своё нынешнее, будет биться здесь, в отделе трудовых колоний НКВД Украины, и в Броварах. Только бы ничего не помешало!

Через час он стал складывать бумаги. Надо было собираться домой. Слева, на углу стола, лежала стопка накопившихся за последние недели центральных и республиканских газет, которые он успел лишь просмотреть и держал для более подробного чтения, когда выдастся досужий час. Антон Семёнович отрешённо посмотрел на стопку. Бросилась в глаза большая статья в «Правде» двухнедельной давности — «Как мы организовали Дом пионеров и детские парки». Выступал с нею секретарь МК и МГК ВКП(б) Хрущёв. Не часто встретишь в печати материалы о внешкольном строительстве, и то, что автор статьи такой крупный партийный деятель, конечно же, не случайно.

Не удержавшись, Антон Семёнович пробежал глазами по тексту. Взгляд задержался на второй колонке.

«В Москве у нас 500 тысяч школьников. Встал вопрос, как организовать детский досуг в городе...»

Антон Семёнович с удовлетворением отметил: вот, пока учёные педагогические мужи таскают друг друга за волосы в поисках правильной воспитательной теории, большевики, засучив рукава, спокойно и без надрыва принимаются за разрешение очередной важной проблемы. И быют именно в ту точку, которая в настоящее время действительно одна из самых болезненных в организации целенаправленного воспитания молодой поросли.

«Вот если бы и Ахматов обладал такой прозорливостью», — не без сожаления подумал Антон Семёнович и продолжал чтение.

«Ещё в прошлом году мы с товарищем Булганиным видели против Парка культуры и отдыха огромное количество детей. Берег напоминал птичьи базары, о которых рассказывают исследователи Арктики. Дети были предоставлены самим себе. Это неправильно. Нельзя строить работу с детьми в летнюю жару только на занятиях в красных уголках. Ребёнок есть ребёнок, с этим надо считаться. Подвижность в ребёнке не беда, а положительная черта, с ней не бороться надо, а организовывать её. А некоторые наши воспитатели, даже комсомольцы, требовали от пионеров только дисциплины и были довольны теми, кто ходит руки по швам, поворачивается по команде, спокойно сидит, слушает и потом уходит».

Правильно ставится вопрос. Только не превратить бы это нужное и важное дело в дежурную кампанию, кавалерийским наскоком проблем внешнего влияния на детей не решить. Уж очень всё легко получается у руководителя московских большевиков! «Мне пришлось видеть много ребят в парках, — пишет он. — Когда спрашиваешь их: «Кто, ребята, придумал устроить такие парки?» — сразу отвечают: «Сталин. Сталин». Правильно отвечают! Когда спрашиваешь: «Ну а вы как же должны ответить на эту заботу о вас?» — говорят: «Хорошо учиться» или «Отлично учиться».

Ах, если бы всё зависело только от количества внешкольных учреждений и детских парков!

Следующие строки заставили Антона Семёновича поморщиться.

«В Измайловском парке, — писал Хрущёв, — я спросил: «Кто из вас катался на буферах?» Один поднял руку и ответил: «Ездил, но больше не буду». Там есть Коля,

замечательный паренёк, развитый. Он там заводила, запевала, вожак. Этот в красном уголке сидеть не будет — ему играть в войну, в «Чапаева», там его место. Я сам питаю слабость к таким ребятам, но их надо уметь организовывать, не давать стихии разгуляться, а организовать её».

Что же, всё верно. Обуздать можно любую стихию. Уличную тоже. Но само по себе ничто не вершится.

13

Утром Букшпан пригласила к Ахматову Прейслера, Савчука, Суржика и Оселка. Начальник отдела куда-то торопился и уже стоял около двери, пристраивая под мышку поудобнее кожаную папку-«подхалимку».

До недавнего времени неременным атрибутом учрежденческого работника были планшет, полевая сумка либо портфель, в которых они носили деловые бумаги. Теперь же и то, и другое, и третье вдруг начало исчезать, вытесненное всевозможными папками — кожаными, дерматиновыми, картонными, клеёнчатыми. И как-то сразу им приклеили название — «подхалимка». Папка была достаточно удобна для переноски документов, но с нею же вошло в привычку идти и по вызову вышестоящих — захватив на всякий случай всякого рода справочные материалы, копии докладных записок, отчётов и других бумаг. В любой момент «подхалимка» помогала не оказаться застигнутым врасплох неожиданным вопросом. В голове всего не удержишь. А спросит руководитель о чём — пожалуйста, любая справка в самом буквальном смысле слова под рукой.

Первыми начали носить папки служащие невысокого положения, молодёжь, студенты. Однако и те, кто постарше, и работники руководящего звена очень скоро тоже поняли, что папка — это очень удобно, потому и у них «подхалимка» быстро вошла в обиход.

Ахматов не считал себя ретроградом и среди руководящего состава наркомата приобрёл папку в числе первых.

Сейчас он стоял около двери, направляясь, очевидно, к высшему начальству.

Ответив на приветствие подчинённых, сказал:

— Антон Семёнович что-то задерживается — ушёл сегодня из наркомата под утро. Ну, он человек пунктуальный, скоро будет. А я уезжаю, вернусь к вечеру.

Так что вынужден передать своё распоряжение через вас. Скажите, что я разрешил направить вашу дружную четвёрку в Бровары — надеюсь, понимаете, зачем... Хотя бы на недельку. Пусть он всех отвезёт и введёт там в курс дел. Сами-то как, согласны?

Факт, что бригада отдела трудовых колоний ехала в Бровары на легковушке, свидетельствовал о том, что их миссии придавалось важное значение. Такого случая, чтобы автомобиль выделялся рядовым сотрудникам для поездки за город, вообще никто не помнил. Молча рассуждая, что бы это значило, все четверо направились к себе в кабинет.

Макаренко пришёл и впрямь буквально через несколько минут. Явившись к нему, Прейслер с Савчуком, Оселок и Суржик остановились как вкопанные. Поистине день сюрпризов!

Все знали, что Антон Семёнович не был франтом, а тут он прямо-таки сиял каким-то щёгольством, фасонистостью. Но в чём дело? Сразу и не понять. Новая португеза, скрипнувшая, едва он слегка развернулся в кресле, когда они вошли? Но что ж тут особенного! Сменил и сменил. Обычное дело. Белоснежный подворотничок? Но и в этом не было ничего особенного: даже в командировках Макаренко ухитрялся каждый день подшивать свежий. Всегда спокойный, несколько даже медлительный, сейчас он непривычно быстрыми движениями открывал и закрывал ящики стола, вынув оттуда какие-то бумаги, клал их в планшетку — жесты выдавали нетерпеливость. Но и тут понять нетрудно: торопился...

Так или примерно так рассуждали молодые люди, разгадывая перемену в помощнике начальника отдела. Но это продолжалось всего несколько мгновений. Антон Семёнович поднял голову от ящиков стола, и взорам открылось его лицо: на месте замечательных макаренковских усов белела незагоревшая полоска чисто выбритой кожи.

— Ой! — обронил Прейслер.

— Если я правильно понял, Коля, это у вас вместо приветствия сегодня? — спросил Макаренко. — Правда, оно где-то уже использовано. Ага, вспомнил! Есть такая игра — «в садовника». «На златом крыльце сидели царь, царевич, король, королевич...» Знаете?

— Знаю, — машинально ответил растерявшийся Прейслер.

Это были необыкновенные усы — пышные, густые, волосок к волоску, всегда ухоженные, хотя никто не видел, чтобы Макаренко специально охорашивал их. Людей молодых такие обычно взрослят, пожилых — молодят. У Макаренко они были в этом смысле нейтральны, только редкая проседь в них выдавала, что усы принадлежат человеку, уже пожившему на веку.

Коля тайно мечтал отрастить себе такие же. Не сейчас, конечно, — тут не оберёшься насмешек, — а в отпуске. Чтобы заявиться на службу уже с готовыми к эксплуатации усами. Он даже купил на Бессарабском рынке у старого торговца, промышлявшего подержанной металлической галантереей, специальную расчёску из свинцового сплава — такими пользовались в незапамятные времена гусары, уланы, драгуны и вообще все, кому усы полагались. Подговаривал и Савчука: «У тебя длинное лицо, усы скрыли бы это». Когда же друг сердито отмахивался от назойливых советов, приобщал к прежнему аргументу новый: «А вот Чехов утверждал, будто мужчина без усов — всё равно, что женщина с усами».

Короче, усы были предметом тайных замыслов Коли, поэтому хоть и понимал он, что совершает бестактность, но не удержался от вопроса:

— Антон Семёнович! Как же это?..

Он держался из последних сил, чтобы не произнести слов, которые так и просились на язык, и сам того не заметил, что показывает на свои пока воображаемые усы.

Антон Семёнович рассмеялся, разгадав его жест.

— А-а, вот что тебя смутило! Понимаешь, как-то дал сгоряча обещание, что сбрую, едва произойдёт событие, которого ждал многие годы, как засидевшаяся невеста. И оно произошло!

Он взял со стола газету, сложенную так, что сверху оставалась одна какая-то статья, остальные оказались отогнутыми и завёрнутыми книзу.

— Надеюсь, прочитали?..

— Что? — за всех спросил Прейслер.

— Как? — едва не вскричал Макаренко. — Вы не читали?

Молодые сотрудники продолжали стоять, не проходя, у двери, а Антон Семёнович против обыкновения словно бы и не замечал этого и не предлагал сесть.

— Разве вы вчера не читали газет?

— Вчера наше «Динамо» с одесситами играло... Антон Семёнович посмотрел на молодых людей с укоризной, покачал головой:

— Вышло постановление о педагогических извращениях в системе Наркомпросов. Вот что произошло! Вы представляете, как это развязывает нам руки?

Они не очень представляли, поэтому молча наблюдали за тем, как он встал, накинул через плечо ремешок планшетки, потом почему-то снял её и вообще находился, как им показалось, совсем в ином мире и измерении. Но вот Макаренко словно б вернулся в реальность. Подошёл к сотрудникам и, заgreбая их широким жестом, пригласил сесть.

— Мы продолжим разговор в дороге. Да, да, Лев Соломонович мне встретился в парадном, так что я в курсе. А пока подождём, минут через несколько ко мне кое-кто ещё подойдёт...

Он продолжал ходить по небольшому пространству кабинета — и походка у него была какая-то тоже новая: он не шёл, а будто плыл над полом. Теперь понятно. Достаточно прочесть «Педагогическую поэму», особенно третью её часть, как станет ясно, отчего такой праздник у Макаренко. Пока никто не собрался и они всё ещё были одни, Прейслер решил подбросить в костёр макаренковской радости сухую веточку:

— Хорошо, что в нашей системе эти черти-педологи не успели свить себе гнездо.

— Вы считаете?

— Ну, конечно, мы ведь, слава богу, от наркомпросовских учреждений никак не зависим.

— Если бы это было так! — скорее себе, чем Прейслеру, ответил Макаренко. — Да, в Наркомате внутренних дел не исповедуют философии педологов. Но ведь наши сотрудники должны же пользоваться какими-то теориями! И представьте себе, именно лучшие из нас оказываются в плену педологических влияний. Это у тех, кому на всё наплевать, вопросов и сомнений нет, а если человек болеет за дело, они есть. Где ищет ответы? В литературе. Но в какой теоретический или методический источник ни заглянешь — везде торчат уши педологии!

— Поэтому вы не советовали нам читать специальную литературу? — спросил Оселок.

Можно было не спрашивать и можно было не отвечать. Всем известно, какими путями Макаренко осуществляет

среди сотрудников, если так можно сказать, педагогический всеобуч.

Не испытывать в этом нужду тут не могут. Ведь, в сущности, вплоть до нынешнего, 1936 года исправительно-трудовой педагогики, как науки, в стране ещё не создано. А Антон Семёнович имел собственный опыт, дававший ему право делать какие-то выводы, знал едва ли не обо всех известных в стране и за рубежом, в прошлом и настоящем специальных воспитательных учреждениях. Вопреки ожиданиям он неохотно анатомировал собственные педагогические находки, редко ссылаясь и на чужой опыт. Гораздо чаще подвигал подчинённых к педагогическим истинам иным путём — советовал читать Карамзина и Чехова, Горького и Шолохова, Тютчева и Маяковского. Там, говорил, есть правда жизни. А это надёжнее, чем неверные теории, которых развелось предостаточно.

Рекомендации выполнялись охотно, тем более что советы Макаренко, как правило, завязывали какой-то сюжет или хотя бы сюжетец, следить за которым сотрудникам отдела было довольно любопытно.

Недели три назад, например, он спросил:

— Ну, признавайтесь, кто не читал «Бывшее и думы»?

Когда в отделе одолели названный роман, Антон Семёнович сразил их, высказав совершенно неожиданную мысль:

— Заметьте, Герцен не был педагогом, но как ярко и точно он охарактеризовал системы воспитания в разных странах! Английская школа — воспитание характера, выдержки, здравого смысла. Немецкая — обширность образования, склонность к теории и философии. Французам присуще внешнее многообразие. Каждая несёт свойства нации, черты своей истории.

— А наша? — спросил тогда Павел Адольфович Оселок.

Он когда-то недолго проработал в коммуне имени Дзержинского, тогда ещё не набравшей силу, завройзводством.

Ему была непонятна тогда педагогическая кутерьма, как он называл всё, что нафантазировал в коммуне Макаренко, — эти советы командиров, общие сборы, где зелёные пацаны шумно обсуждали производственные неудачи и отсутствие оборотных средств и чуть не с кулаками набрасывались на него, инженера, за то, что он не может придумать

ничего иного, кроме изготовления примитивной столярки.

Теперь Павел Адольфович понял, что ему не хватало оптимизма, которым жила коммуна, фантазии, позволившей бы угадать очертания будущего почти фантастического завода. Потому и ушёл на другую работу, считая своё инженерное усердие в коммуне бесплодным.

И вот снова встретились Павел Адольфович и Антон Семёнович — теперь под крышей наркомата. И, осознав свою прошлую бескрылость и теоретическую ограниченность, инженер Оселок почувствовал, что «педагогический червячок» всё сильнее грызёт и его.

Вот и в связи с «Былым и думами»... Вопрос, заданный им Макаренко, не был праздным. Его действительно интересовало, а какими же свойствами обладала или обладает русская школа.

Как и всегда, Антон Семёнович не отделался скорым ответом.

— Вообще говоря, российской школе всегда было характерно стремление к тому, — подробно рассуждал он, — чтобы впитать в себя всё разнообразие воспитательных систем, потому что в её традициях — некий универсальный подход к воспитанию. Другая черта — стремление ничего не уничтожать в природе человека, а всё совершенствовать. Если хотите получить более подробный ответ, почитайте-ка притчу Григория Сковороды «Благородный Еродий», радищевскую «Беседу о том, что есть сын Отечества», статью «Вопросы жизни» Пирогова, «Что делать?» Чернышевского, «Власть тьмы» и «Анну Каренину» Толстого. И конечно, речь Ленина на Третьем съезде комсомола...

— Ого, Антон Семёнович! Мне ж не надо столько. Мне для общего представления. Я ж инженер, не воспитатель.

— А вы всё же почитайте... Зацепит — скажете...

«Зацепило» Оселка или нет, молодые люди не знали пока, но вопрос, заданный им сейчас Антону Семёновичу, показался лишним. И так ясно.

— Антон Семёнович, — чтобы вернуть разговор в прежнее русло, спросил Суржик, до сих пор не проронивший ни слова. — А как же в издательствах ваш роман пропустили? Вон когда вы уже ругали педологов! А ведь осудили-то их только теперь!

— Так ведь в издательствах тоже народ сидит

думающий, имеющий своё мнение, — пожал плечами Антон Семёнович.

Никаких иных мотивов, кроме стремления восстановить справедливость, у Макаренко не было... Он честно старался разобраться в педологической, если так её можно нарек, теории. Но едва Антон Семёнович брал в руки какой-нибудь теоретический источник, принадлежащий жрецам педологии, как у него опускались руки. Как квалифицировать эту теорию? Бред сумасшедшего, сознательное вредительство, гомерическая, дьявольская насмешка над всем нашим обществом или простая биологическая глупость?

Самое обидное заключалось в том, что огромной практической важности дело — воспитание миллионов советских детей, будущих рабочих, инженеров, астрономов — предлагалось решать и нередко решалось при помощи простого тёмного кликушества и при этом на глазах у всех...

В кабинет вошли один за другим Яша Френкель, Серёжа Броневой, а вслед за ними — Сева Шмигалёв с Машей Бобиной. Впрочем, Маша теперь уже не Бобина, а тоже Шмигалёва, поскольку совсем недавно, как шутили в наркомате, «самый быстрый и точный фельдъегерь НКВД» Всеволод Шмигалёв и «самая красивая из всех статистов НКВД» Маша Бобина стали мужем и женой.

Все собравшиеся уже знали о «перевороте в Броварах», так что долго объяснять, что от них требуется, не пришлось.

Осенок откомандировывался в Бровары, чтобы перестроить производство на новую продукцию. Как и что — он понимал сам и, перекинувшись с Макаренко несколькими соображениями, ушёл к себе.

Френкеля Антон Семёнович попросил поглядеть мудрым взглядом на колониальное хозяйство, найти среди воспитанников таких парней, которые смогли бы навести в нём порядок и кому Яков передал бы свои «профессиональные секреты». Френкель поначалу засомневался:

— Антон Семёнович, вот боже ж мой! Я ж, простите меня, никогда воспитательной работой не занимался. Надо мной же, стариком, смеяться начнут!

— А вам и не надо воспитывать. Научите хозяйствовать!.. Кроме вас, честное слово, никому!

— Ну хорошо, Антон Семёнович! Это я с радостью, особенно, если вы сами договоритесь с моим руководителем о командировке.

— Считайте, что уже договорился. Сколько времени нужно вам на сборы?

— Ну, пока дам тут кое-кому поручения, то, сё...Дней двух-трёх, я думаю, хватит.

— Яша, дорогой, не дней — часов сколько? Нужно, чтобы колония уже сегодня гудела, как улей! Вы понимаете?

Френкель сперва полез пятернёй в смоляные свои кудри, потом хлопнул в ладоши:

— Вот боже ж мой! Вот это я понимаю! Вот это по мне!

— Ну и замечательно, Яша. Мы сейчас отправляемся в Бровары и тотчас присылаем Пунченко назад за всеми, кто пока остаётся. Теперь с тобой, Серёжа... Ты меня извини, я знаю, как много у тебя и своих дел, но тут положение безвыходное. Нужно помочь коллективу стать бодрым. Спорт, военное дело, игры... Среди персонала нет ни одного, кто чувствовал бы вкус к этому. Надо найти таких среди воспитанников. Какую-то бы им изюминку, что-то бы такое, на что рты бы раскрывались от удивления!

— Ну, Антон Семёнович, коль всех вы мобилизуете, как на войну...

— Считай, Серёжа, что на войну.

— ...Как на войну, то что же меня-то уговаривать! Сделаю несколько телефонных звончков — и готов. Давно я с пацанами дел не имел. И, если откровенно, сколько вас знаю, всегда мечтал хоть раз оказаться в деле рядом с вами.

Сергей частенько приезжал в коммуну вместе с Александром Осиповичем — и по своей охоте, и старший брат этого хотел: «Причащайся — такого человека, как Макаренко, нечасто встретишь...»

Сергей, как и все в многочисленной семье Броневых, обладал эмоциональной, поэтической натурой и без братниных подталкиваний был влюблён в Макаренко, в коммуну, в коммунаров, во всё, что от них исходило.

Всегда, к примеру, стояло перед глазами прекрасное и незабываемое зрелище — колонна коммунаров, открывавшая в Харькове октябрьские и Первомайские парады трудящихся. Красное знамя, шестидесятитрубный оркестр, красивая форма коммунаров, полуоборот лиц к трибуне, откуда ребятам приветливо улыбаются и машут руками Косиор, Постышев,

Петровский, Скрипник... Оркестранты отбивают чёткий шаг в такт музыке, звучит по-военному протяжное «ура-а-а!». Ну кто ещё, кроме Макаренко, мог изобрести такую радость для ребят, познавших горе беспризорщины!

Десятки раз восторженно пересказывал Сергей в семье, друзьям и знакомым, с каким тактом, с какой любовью Макаренко обращался с коммунарами. В его собственной семье рос, уже заявляя о себе сложным характером, восьмилетний сын Лёнька. Сергей растил его, словно бы держа перед собой педагогическую хрестоматию, где записаны были случаи, которые он наблюдал в коммуне.

Вот стоят. Макаренко, Александр Осипович и Сергей у здания общежития, возле благоухающего розами цветника. Антон Семёнович деликатно, спокойным тоном окликает:

— Коля, подойди!

Подожёл смуглый парнишка лет пятнадцати, вытянулся и доложил:

— Слушаю вас, Антон Семёнович!

— У меня к тебе есть поручение. Нужно поехать в город и купить сто тетрадей в линейку. Ясно?

— Ясно.

Макаренко расстегнул свой планшет, с которым он, кажется, никогда не расставался, достал оттуда деньги и дал их парнишке.

Через несколько минут к нему подходит другой коммунар, даже не мальчишка, а, по сути дела, ещё совсем малыш, и озабоченно говорит:

— Антон Семёнович, напрасно вы дали Кольке Цыгану деньги. Он не вернётся.

Макаренко нежно погладил, светлые волосы взволнованного коммунара и ответил:

— А я ему верю...

Когда братья возвращались из коммуны, заметили на дороге Цыгана, идущего по направлению к городу. Александр Осипович велел притормозить машину и пригласил подростка доехать с ними. Как горели глаза его, как светилось лицо! Доверили! Он едет в одной машине с председателем правления коммуны!

Когда братья остались одни, Александр Осипович сказал:

— Макаренко поступил смело. Этот Цыган имеет

десять побегов из разных колоний. Но я уверен, что он не покинет коммуны.

И точно: вскоре парень уже стал членом совета командиров.

В другой раз они приехали в коммуну поздно вечером. Антона Семёновича нашли на репетиции драмкружка. Пока они с Александром Осиповичем о чём-то беседовали, Сергей терпеливо ждал их. И тут услышал откуда-то издали льющуюся тихую, нежную украинскую песню, которую напевали девчата. Это была счастливая песня. Подумалось: вот оказались девчонки в коммуне — и тотчас забыты все невзгоды. Они продолжали пение и тогда, когда прозвучал сигнал отбоя. Антон Семёнович поднялся и подошёл к ним. Молча, с лёгкой улыбкой стоит минуту, другую. Наконец самая бойкая замечает его:

— Что, разве уже отбой? Пора спать?

— Какая ты, Шура, догадливая!

— Девчонки, по койкам!

Маленький, казалось бы, незначительный эпизод. Но с какой тонкостью, с каким тактом и мягкостью разрешилось то, на что иной горе-педагог истратил бы немало «педагогического пороха» и наверняка вызвал бы недовольство воспитанниц!

В прошлом году Антон Семёнович уезжал в Киев, куда его вызвали в НКВД и где он получил назначение на должность помощника начальника отдела трудовых колоний наркомата. Броневые опоздали на начало прощального вечера и услышали только конец выступления Макаренко. Раньше Антон Семёнович не раз говорил, что расстаться с коммуной для него было бы невозможно. Но тут глухой, спокойный голос его ничем не выдавал волнения.

— Я рад, — звучало в глубокой тишине, — что в коммуне за прошедшие годы исчезли клички Кобра, Свистун, Кусачка, Скокарь и всякие прочие, унижающие достоинство человека, и что живут в коммуне люди, имеющие фамилии и имена. У каждого на лицевом счёте складываются результаты замечательного труда на производстве, все вы учитесь. И когда стукнет каждому из вас восемнадцать, я знаю, вы снова вспомните улицу, но только потому, что по улицам катают в колясках детишек влюблённые молодожёны — чего и вам желаю...

Тут все рассмеялись и дружно захлопали в ладоши, а Антон Семёнович продолжал:

— Цените жизнь, умейте быть по-настоящему счастливыми людьми. Большинство из вас накануне вступления в самостоятельную жизнь — так пронесите через неё незапятнанными наши коммунарские традиции!..

И тут вдруг смолк, положил руку на пианино, затем жёстко спросил:

— Кто сегодня дневальный?

— Я, — поднялся хлопец.

— Почему пыль на пианино? Трое суток ареста!

— Антон Семёнович, — взмолился юный коммунар, — но ведь вы прощаетесь!

— Ничто не освобождает, не должно освобождать человека от его обязанностей перед коллективом! Запомните это!

Таким, как всегда, требовательным и добрым увидели его в тот вечер коммунары. Запомнил это прощание и Сергей, сейчас гордый тем, что представилась возможность не только наблюдать Макаренко, но хоть немного окупиться в счастливое дело, которое тот вершил.

...Броневой ушёл собираться. Антон Семёнович посмотрел на часы. Время приближалось к одиннадцати.

— Ну что, мои дорогие, — обратился он теперь к Шмигалёвым. — Вам, я думаю, не надо объяснять ничего. Побудьте в колонии, сколько сможете. Дело там себе найдёте сами. Поменьше педагогики, побольше дела, коммунарской закалки...

Сева был выпущен из коммуны два года назад. По рекомендации Антона Семёновича его приняли в отдел связи наркомата фельдъегерем. Мария окончила в коммуне рабфак, поступила в учительский институт, а получив диплом, пришла работать в НКВД, и тоже по совету Антона Семёновича. Её удивило тогда, что такая сложная процедура оформления сюда для неё, бывшей беспризорницы, не только прошла без сучка и задоринки, но и предельно упростилась магической запиской Макаренко: «Прошу о назначении т. Бобиной, бывшей коммунарки коммуны имени Дзержинского, на должность статистика УВ отделения. Бобина честный, работоспособный и политически выдержанный работник.

Муж её, также бывший коммунар, работает в НКВД УССР в отделе связи. А. Макаренко».

— Спасибо за доверие, Антон Семёнович! Не подведём! — широко улыбнулся Сева. — Только вот боюсь рядом с Машей оказаться совсем никудышным помощником...

— Не скромничай, Всеволод, — возразил Макаренко. — В тебе талантов зарыто дай бог каждому! Весельчак, балагур, плясун, гитарист!

— Не плясать же и балагурить вы меня посылаете!

— Никому не известно, что там делать придётся. Так что давайте, ребята! Худо там! Надо вытаскивать мальчишек. И персоналу (нам, к сожалению, придётся многих из нынешних сотрудников оставить) показать, как можно по-человечески просто и сердечно завоевать пацана. А вы это умеете оба. Добро?

— Добро.

— Трёх часов на сборы достаточно?

— Есть три часа на сборы! — по-коммунарски са-лютнул Сева.

— Через три часа у парадного ждите Пунченко. До встречи! Ну а вы, хлопцы, как я понял, к выезду уже готовы? — спросил Макаренко у молодых сотрудников, ждущих своей очереди получить задание.

— Готовы, Антон Семёнович, — за всех ответил Прейслер.

— Ну тогда ступайте к машине. Я вслед за вами. Поговорим по дороге.

Проводив всех, он всласть покурил несколько минут, закрыв глаза. Как ни горячи были дела в Броварах, он с удовлетворением думал о постановлении ЦК по педологам.

Педологи... Будь то биологизаторы вроде Блонского, Аркина, Арямова, утверждавшие, что развитие ребёнка обуславливается главным образом биологическими закономерностями, или социологизаторы типа Басова, Залкинда, Выгодского и Моложавого, считавшие, что решающим фактором воспитания является среда, — всех этих законодателей педагогических мод и течений объединяла слепая вера в фатальную зависимость судьбы детей от чего угодно, но только не от целенаправленного воспитания. Сколько сил пришлось отдать, думал сейчас Антон Семёнович, чтобы не пускать ни в колонию, ни в коммуны педологов с их бессмысленными анкетами и тестами, которыми эти иезуиты определяли степень умственных способностей,

пригодность ребёнка к воспитанию и обучению в нормальной школе! Он-то выстоял, но сколько детей в иных местах оказалось зачисленными в категорию «умственно отсталых», «дефективных», «трудновоспитуемых»!

Педологи были особенно бесчеловечны, когда на них находил каприз быть человеческими. И тогда появлялись чудовищные средоточия несправедливости — особые школы для детей, признанных «дефективными», и, наоборот, для тех, кто попадал в разряд «одарённых». Какие только попытки не предпринимались, чтобы причесать под эту гребёнку и колонию имени Горького!

Или укоренившийся не без помощи педологов подход к детям как к чему-то расщеплённому на части, а не целостному. Это же чистейшей воды фрейдизм, когда воспитатель оказывается в роли некоего «надсмотрщика», подавляющего или, пользуясь терминологией педологов, «сублимирующего» инстинкты воспитанника. Не этот ли подход царит ныне и в колониях НКВД?

Прикрываясь фразой, педологи сумели извратить сформулированное Лениным понятие общности и вечности воспитания, направив свой поиск на биологическую сущность воспитания, в частности, на наследственность, на элементарные формы ухода за ребёнком. Если поверить их теориям, не пытайся искать причины успехов и неудач педагогической деятельности и, наоборот, найди условия, при которых проявляются стихийные силы в воспитании.

По дороге в Бровары кто-нибудь из отшельцев, тот же пытливый Прейслер, спросит: «Как же так? Ведь не год и не два эта наука процветала. Куда же смотрели?» Кто ответит?.. Нет, утверждать, что смотрели и не видели, было бы несправедливо. Уже потому, что педология развенчана. Значит, кто-то думал об этом давно, постановление не могло возникнуть в одночасье. И ваш покорный слуга потратил не один год жизни на борьбу с нею. Так что обвинение всех в попустительстве педологам несправедливо. Но вы правы, скажет Антон Семёнович, сия, с позволения сказать, наука процветала не год и не два. В то же время всё, что волнует десятки, сотни тысяч практиков-педагогов, находится в стороне от научных магистралей. Это видно по тем же выпускникам педагогических вузов: знают очень и очень много, а вот усмирить расшалившегося малыша не могут. Таких примеров он мог бы привести много, да тот же Прейслер, наверное,

не раз и сам убеждался, что наиболее ценные кадры в колониях отнюдь не педагоги, но, может быть, и они, но главное — люди с правильной коммунистической установкой... Природа не любит пустоты. Педологи заняли чужое место на Олимпе. Но это лишь подтверждает мысль, что место пустовало.

Размышляя, Антон Семёнович не заметил, как погасла папироса, а на колени насыпался пепел. Всё. Пора.

Если бы Френкель наблюдал за ним сейчас, то порадовался бы: замкнув дверь, Антон Семёнович вынул ключ и спрятал его в карман.

14

Сегодня воскресенье. Однако Пунченко спозаранку уже на ногах. Успел дозакрепить и вымыть до блеска «фордик» и около восьми утра, как и обычно, ожидал начальника отдела возле подъезда его дома. Когда Ахматов вышел, он стоял у машины, опершись о крыло, и подставлял, щурясь, лицо тёплому утреннему солнцу.

— Ну и что? — нетерпеливо спросил Лев Соломонович, даже не поздоровавшись.

Пунченко не надо было объяснять, что имеет в виду начальник отдела.

— Да, кажись, всё в порядке, — ответил он. — Смехота! — хохотнул, вспомнив что-то.

— Что смехота? — насторожился Лев Соломонович.

— Ну, ходят за нашими, как цыплята за наседками. Вот ведь как их Антон Семёнович!..

— А ворота?

— Ворота? Ворота открыты.

— Ну и как? — спросил Ахматов, усаживаясь в кабину. Его беспокоило, пожалуй, больше всего другого — не ринулись ли колонисты в них, не воспользовались ли предоставившейся возможностью легко и просто «сменить обстановку».

Пунченко нажал стартер.

— С этим там чётко. В воротах два колониста с красными повязками. Кому разрешено выходить за территорию, тем, как я понял, выдаётся пропуск.

— Ага, — облегчённо произнёс Ахматов. — Ну а ещё что там интересного?

— Да я многого-то и не видел, — ответил Николай.

— Когда обедал, как раз объявили общее построение во дворе... Ну, строились, что там говорить, абы как. Из Георгия Михайловича Осотского строевик, я извиняюсь, что из моего «фордика» аэроплан. Тут выходит Сергей Осипович Броневой. Ну этот — орёл! Сами знаете — красавец, выправка, а главное, орден на груди, а это кое-что... «Вы кто? — спрашивает. — Мужики или так себе? А ну, кто в Красной Армии служить не собирается, пять шагов вперёд!» Конечно, никто не вышел. Потоптались, потоптались, кое-как построились. А он мне: «Разве это строй? Шеренга должна быть как по струне! Р-разойдись! В шеренгу по четыре становись!» И так раза три: то «разойдись», то «стройсь»... Ахматов немного успокоился. И скорее всего он пересилил бы своё беспокойство. Ехать в Бровары значило бы задеть самолюбие Макаренко, и без того, как он понял, чем-то взвинченного. И то, в самом деле: кому ещё справиться с этим коллективом лучше и правильнее, чем Антону Семёновичу. Но едва Лев Соломонович сел за стол у себя в кабинете, раздался телефонный звонок.

— Доброе утро, — услышал он голос замнаркома, куратора управления исправительно-трудовых учреждений. — Ну что там, в Броварах?

«Началось!» — с тревогой замер у телефона Ахматов.

— Я пока видел только водителя, товарищ замнаркома. Докладывал. Всё идёт по плану.

— Значит, оснований для беспокойства нет?

— Думаю, что нет, товарищ замнаркома.

— Думаете так или нет на самом деле? — пророкотал голос в телефонной трубке. — Вы считаете, что информации водителя достаточно, чтобы иметь представление о происходящем в учреждении? Макаренко там?

— Нет, поздно вечером вернулся. В наркомате будет к девяти — так условились.

— Гм. Ну вот! А кто же в Броварах командует?

— Там куратор колонии из областного управления Загоруйко, послана группа усиления из отдела.

Конечно, Суржик, Оселок, Савчук и Прейслер никакой группой усиления не являлись. Но назвать сотрудников отдела именно так было солиднее и означало, что Ахматов держит руку на пульсе событий в колонии номер пять и управляет ими.

Отвечая, он, словно в шахматной игре, попробовал

вычислить весь диалог на несколько шагов-реплик вперёд. Выходило так, что замнаркома удовлетворила бы лишь информация, принадлежащая ему, начальнику отдела трудовых колоний, и не ниже уровнем.

— Я сейчас собираюсь туда выехать, товарищ заместитель наркома.

— Это правильно, — похвалил голос на другом конце телефонного провода. — Поезжайте.

«Сейчас стоит с трубкой в руке, смотрит в окно, и вид у него такой, будто держит в руке гранату, а вот бросить её в отдел трудовых колоний или подождать, не знает», — подумал Лев Соломонович.

Воскресенье в наркомате официально выходной день. Но всё руководство НКВД и в управлениях вплоть до начальников отделений появляются с утра, как и в будни. Рядовые сотрудники тоже приходят, правда, ненадолго. Если не кинут на какой-нибудь нечаянно вспыхнувший участок, считается вполне корректным через час-другой уйти домой или куда-то ещё без доклада и предупреждения. Очевидно, потому, что к вечеру руководить уже нечем, разъезжаются и руководители. Хотя частенько именно конец дня некоторые из них любят посвятить и делу, для которого рядовые исполнители не нужны. В частности, ничто, как понял Ахматов, не мешает сейчас заместителю наркома взять да и махнуть в Бровары, поглядеть на месте последствия реформ помнача отдела трудовых колоний Макаренко. «Только этого для полного счастья и не хватало!» — встревожился Ахматов и поспешил упредить события:

— Вам позвонить, товарищ замнаркома, когда вернусь?

— Позвонить, позвонить, — повторил замнаркома одно слово так, словно бы вдумываясь в него. — Позвоните, конечно...

Через час Ахматов был в Броварах.

Ещё издали он обратил внимание на какое-то движение людей вокруг колонии. Когда подъехали ближе, увидел, что десятка два пацанов соскребают с наружной стороны забора надписи и рисунки и красят его подсинённой побелкой. Заметив приближающуюся чёрную легковушку, некоторые из них работу прекратили и, то и дело оборачиваясь в сторону дороги, принялись что-то обсуждать. Лев Соломонович приказал Пунченко затормозить, вылез из машины.

За забором был слышен оживлённый, но спокойный

гомон, голоса, главным образом, молодые, но время от времени раздавались и голоса поматерее, взрослые.

— Линейка должна сиять, как проспект! — различал Ахматов глуховатый бас Броневого, кому-то что-то объясняющего.

— Лана! — ответили ему.

— Не «лана», а «есть!», — поправляет Броневой.

— Есть! — отвечают ему, и вслед за тем часто зацокало что-то похожее на удары лопатой о земляную твердь.

Очевидно, где-то рядом, сразу за стеной, сооружали линейку для построения.

Лев Соломонович подошёл к воспитанникам.

— Здравствуйте, хлопцы!

Колонисты недружно ответили и теперь уже все не малярничали, а ждали, что скажет приехавший начальник — судя по двум ромбам в петлицах, высокий. Только один из подростков, ни на что не обращая внимания, продолжал бодро замазывать побелкой огромную розу, изображённую в обрамлении колючей проволоки, и в такт движениям кисти, закреплённой на палке, тихо подпевал:

*Когда я свой закончу путь,
Не поминайте воров,
А схороните где-нибудь
В канаве под забором!*

— Что ж ты, — засмеялся Ахматов, завязывая разговор, — такую несвёлую песню поёшь?

Юный маляр обернулся, обнаружив перепачканную побелкой морду-ленцию, беспрестаннодвигающуюся и меняющуюся, но это были не гримасы — просто с неё и из прищуренных глаз пацана всё время соскакивали маленькие чертенята. «Надо ж! — удивился Ахматов. — Как можно с таким прекрасным лицом угодить в колонию!» Он знал, что весёлые, неунывающие люди крайне редко оказываются людьми плохими, а уж тем более преступниками.

— А мы, гражданин начальник, других пока не знаем, — ответил колонист и улыбнулся ещё шире.

— А-а, — согласился Ахматов, чтобы чем-нибудь заполнить паузу в разговоре, и тут же нашёлся: — Но со временем, я думаю, научитесь и другим. А?

— Научимся, — не возражал весёлый маляр. — Нам теперь многому учиться придётся.

— Что ты имеешь в виду?

— А вот, — указал пацан на стену. — Тут столько непризнанных гениев таланты свои проявили! А теперь приходится соскабливать.

— Ну, разве это достойное художество? — с ноткой игривого сомнения ответил Ахматов, заразившийся от пацана его смешливостью, и посмотрел тему в глаза.

— Ет да, — легко согласился тот. — Потому и говорю. Теперь и души наши будут выскабливать...

Подросток отвечал как по писаному. Лев Соломонович решил продолжить диалог с ним, тем более что остальные колонисты окружили их и с любопытством следили за разговором.

— Что так? Почему — выскабливать? — спросил Лев Соломонович.

— А-а! — словно бы уличая его в хитрости, потряс головой колонист. А то вы не знаете, что у нас тут творится!

— Что же у вас происходит?

— В НКВД работаете — и не знаете? — вёл свою роль пацан.

— Не знаю, — постарался таким же ироничным тоном ответить Ахматов.

— А вы проходите в колонию, — пригласил пацан, продолжая отпустить из глаз по одному и стайками весёлых своих чертенят, — увидите.

— Ну раз приглашаешь, воспользуюсь такой возможностью. А вы тут что же — одни? Без воспитателя?

— А что нам воспеты? Работа бузовая, сами справимся.

— И... того... Разве нет желания... ну-у, — Ахматов пробежал по левой ладони указательным и средним пальцами правой руки.

Спросил и окинул взглядом всех. Пацаны задвигались, завертелись, отвернулись, попрытали глаза, почему-то избегая ответа. Весёлый, разговорчивый маляр тоже отвёл взгляд и часто заморгал длинными, пушистыми ресницами.

— Так как же? — настаивал на ответе Ахматов.

— Одын кудысь подавсья, — ответил стоявший позади всех колонист, высокий, тонкий и тоже перепачканный,

как и прежний собеседник Льва Соломоновича, побелкой.

— Подорвал? — употребил Ахматов принятое среди колонистов словечко, которым они называли бегство «на волю».

— Та куды ж вин подинеться? Весь свит тюрьма, — разохотился на философствование подросток, тоже поощрённый вниманием Ахматова. — Жрать захочеть — прийде.

— Ага. Ну ладно. Доброй вам работы. Надолго тут?

— Мабуть, до обида...

Перед входом в колонию стояли группами и по одному десятка три женщин и мужчин с сумками и свёртками в руках. "Обычная для такого учреждения картина: любвеобильные родители приехали на свидание со своими чадами. Как ни хотелось Ахматову быстрее узнать главное, происходящее сейчас за этими стенами, он не удержался и подошёл к ним.

— Обычно по воскресеньям разрешают свидания сутра, после завтрака, — с неудовольствием объяснил ему мужчина в суконном картузе. — А сегодня у них, видите ли, аврал. Пока не закончат — никаких свиданий.

Родитель понял, что имеет дело с каким-то высоким начальством, и, всё время поправляя галстук-«стричку», выдававший в нём счётного работника, спросил:

— Может, нашим сделают исключение? Что ж мы тут маемся? Повидаемся и уедем, а они свою работу после свидания закончат.

Ахматов взглянул на часы. Было около двенадцати. Скоро обед. Он сообразил, что, видимо, до этого времени родителям рассчитывать на свидание не приходится. Уклончиво ответил:

— Ну, администрация, наверное, помнит о том, что вы здесь.

— А какая ж теперь тут администрация! Говорят, Макаренко и Спивака, и вообще всю администрацию разогнал, — прокомментировал его слова мужчина в суконном картузе.

— Откуда у вас такие сведения?

— Да как сказать, — замялся мужчина, но тут нашёлся: — Но это верные сведения. И колонисты говорят, — кивнул он на подростков, которые красили забор.

— А какими же ещё сведениями вы располагаете? — пряча тревогу, спросил Лев Соломонович.

— Да никакими, в общем-то. Макаренко мы знаем, читали его книгу. Раз так сделал, значит, надо. Однако мы беспокоимся.

— Раньше надо было беспокоиться, — сдерживая невесть откуда взявшееся раздражение, произнёс Ахматов, — пока ваши дети были с вами и пока вели себя как надо.

— Это так, товарищ начальник, — встряла в разговор женщина, стоявшая рядом. — Только ведь дети и в тюрьме дети...

Проводить работу с родителями в планы Ахматова не входило. Прощавшись, он направился к воротам. При входе ему козырнули, приложив руки к голубым беретам, два воспитанника, одетые в новую, ещё не отвисевшуюся по фигурам форменную колонийскую одежду — тёмно-синие брюки и куртки. На ногах у них были тяжёлые, на заклёпках, ботинки из свиной кожи, тоже новые. «Жарко, — отметил Лев Соломонович, — а летних тапочек на складе, видно, не нашлось». Дежурные, посмотрев на него, переглянулись между собой, но вопросов никаких не задали, очевидно, не зная, как вести себя с ним дальше.

Ахматов спросил:

— Дежурите?

— Дежури́м.

— Всё в порядке?

— В порядке.

— Ну дежурьте, дежурьте.

Он беспрепятственно прошёл на территорию и окинул её взглядом. Слева от входа, как он и предполагал, обустроивалось нечто вроде строевого плаца. Между пацанами уже не было Броневого, голос которого он узнал несколько минут назад, — теперь его подвижная фигура мелькала в противоположной стороне пустыря, с которого начиналась территория колонии. Там уже сияли свежеструганными, воскового цвета боками столбы волейбольных площадок, три пацана приминали деревянными коротышами землю вокруг оснований турничка. Ещё человек пятнадцать поднимали с помощью верёвок, подвигивая жердками, физкультурную трапецию.

Посреди поля сиротливо лежал огромный, чуть не в человеческий рост, мяч, похожий на футбольный. Лев Соломонович

однажды был на стадионе «Динамо», когда там играли в эту необычную игру, изобретённую то ли Броневым, то ли его активистами-динамовцами. Называлась она — пушбол. Что означало это слово, как оно появилось на свет, никто не знал, но его приняли, как и саму игру. По три человека с каждой стороны должны были вкатить мяч в ворота противника. Разрешалось бить его ногами, руками, головой, чем угодно, можно было кидать и даже нести. Именно потому-то, что разрешалось и нести, игра носила характер весёлой, комичной забавы: обхватить руками такой огромный мяч удавалось мало кому. Вот почему, если на футболе зрители оглашали стадион свистом и криками, то во время пушбольных матчей (если так их можно было назвать) на пол-Киева раздавался тысячеголосый хохот.

Лев Соломонович знал, что такие мячи не делают на фабрике, что порой игра даже прерывается, когда последний из нескольких существующих у динамовцев склеенных и сшитых вручную пушбольных мячей вдруг выходит из строя. Он по достоинству оценил щедрость Броневого, не пожалевшего отдать колонистам такую ценность.

Если бы не эти две группы колонистов — на строительстве строевого плаца и спортивной площадки, — можно было подумать, что колония вымерла. Больше не было видно ни человека, если не считать ещё одного дежурного — прохлаждающегося перед входом в административное здание. К нему-то и направился Лев Соломонович.

— А где же народ? — спросил он.

— Кто где, — широким жестом показал подросток во все стороны. — В цехах, в общежитии, в клубе. Воскресник у нас.

— А ты, значит, один?

— Нет, не один. Тут в кабинете заведующего арестанты сидят.

— Арестанты? — с удивлением переспросил Ахматов.

— Ну, не совсем арестанты. Волынщики. Кто от работы отлынивал, тех сюда привели, на лёгкий труд.

— Что же это за такой лёгкий труд? Ну-ка пойдём посмотрим!

В кабинете начальника колонии было несколько подростков. Несмотря на открытое окно, чувствовалось, что

тут обильно курили. Лев Соломонович повёл носом и удивился:

— Что у вас тут, соревнование по курению проходило?

Колонисты встали с мест, молча глядели на незнакомого им военного.

— Чем занимаетесь?

— Вот, — показал один.

На столе лежали стопками вырезанные из ватмана буквы алфавита. На полу — размеченные по шаблонам листы. Ахматов обратил внимание, что размечают уже «п» и «р».

— Это для аппликаций, сейчас принесут материю, будут клеить плакаты, — объяснил дежурный.

Через несколько минут Ахматов знал, что привёл сюда их «сам представитель наркомата товарищ Прейслер» и дал задание — чтоб к обеду в колонии висела наглядная агитация. Прейслер же и посоветовал организовать работу по поточному методу: двое размечают, третий разрезает листы, четвёртый режет буквы по наружному и внутреннему контуру. Короче, у каждого своя работа.

— Ну хорошо, — удовлетворился ответами Лев Соломонович, когда ему объяснили всю технологию. — Успеете?

— А сколько уже?

— Одиннадцать.

— Ого! Давай, пацаны! — призвал один из колонистов, и все дружно заработали ножницами, линейками, карандашами.

«Чертовщина какая-то! — с радостным удивлением подумал Ахматов. — Не колония, а образцово-показательная школа! Все работают, все заняты, никто не слоняется без дела...» Если бы не одинаковая форма на всех, можно было подумать, что колонистов подменили старшеклассниками какой-нибудь киевской школы. Он знал, что определённая часть колонистов, придерживающихся традиций и «законов» преступного мира, считает для себя чуть ли не постыдным выполнять какую бы то ни было работу. Эта колония не могла составлять исключения. Так где же они, такие колонисты?

Он вышел наружу. Пока беседовал с «арестантами», на территории произошли некоторые изменения. Перед клубом стоял грузовик, с верхом наполненный стульями. Возле него кружила стайка колонистов, среди кото-
рых

Лев Соломонович узнал наркоматовского фельдъегеря Севу Шмигалёва. Ахматов направился к ним. Увидев его, Шмигалёв оторвался от дела и, кажется, несколько растерялся. Лев Соломонович понял, в чём дело: Всеволод был раздет выше пояса, и на всём его теле, на спине, руках, груди, припорошенных пылью, не было ни одного квадратного сантиметра кожи, свободной от татуировок. Следы беспризорного детства.

— Принеси мою рубаху, там, в швейном, — положил он руку на плечо одного из воспитанников, и тот тут же бегом побежал исполнять просьбу. — Здравствуйте, Лев Соломонович. Извините за непарадный вид, работаем, — извиняющимся тоном произнёс Шмигалёв.

— Здравствуйте, Сева, — протянул ему руку Ахматов, стараясь не рассматривать татуировки. — Как вы тут?

— Нормально! С утра чистим колонию. Разбили народ по бригадам. Распределили наряды, до обеда должны закончить. Кое-кто, правда, не успевает, но вот мои хлопцы, — показал он на тех, кого привёл сюда, — аварийно-спасательная команда. Где прорыв — там и мы.

В это время пацаны начали разгружать автомашину. Один из них, опёршись ногами о борт кузова, снимал и передавал вниз связанные парами стулья. Остальные, взяв по две связки, тут же уносили их. Стоять и одновременно работать таким образом было непросто, и, не удержавшись, пацан качнулся, выронил связку, а тот, который принимал груз внизу, не рассчитал, и стулья упали.

— Ну что же ты? — мягко укорил его Шмигалёв, обернувшись на звук упавших стульев.

— А как он сдаёт? — оправдывался пацан, объясняя свою неловкость. — Смотреть надо!

— «Как», «как», — незлобиво передразнил его Шмигалёв. — Ты принимай, а как — будешь после думать. Рома, стань и ты наверху, будет быстрее. В темпе, ребята, в темпе!

Принесли шмигалёвскую сорочку. Всеволод ловко, одним движением влез в неё и стал застёгивать пуговицы.

Он явно, как показалось Ахматову, обрадовался, когда, расспросив у него, где можно найти наркоматовцев и куда подевался Загоруйко, Лев Соломонович направился в сторону производственных корпусов. Отойдя на

порядочное расстояние, Ахматов услышал, как он скомандовал мальчишкам:

— А ну, пролетарии, нагружай!

Лев Соломонович оглянулся. Всеволод стоял, широко расставив ноги, на голову ему была водружена одна связка стульев, по одной он держал в вытянутых руках, теперь пацаны пытались приладить сверху ещё две.

— Ну хорош, хорош! Завалите! — хохочет Шмигалёв и широко, как при морской качке, расставив ноги, направляется к входу в клуб.

Путь до производственных корпусов проходил мимо общежития. Окна спален были настежь раскрыты, из некоторых торчали головы колонистов. Они мыли стёкла и о чём-то звонко переговаривались с тем, кто находился внутри жилых секций.

Он не успел проследовать дальше, как входная дверь резко распахнулась, и на пороге появился Яша Френкель в сопровождении пышнотелой женщины и двух пацанов, идущих за ними следом. Заметив Ахматова, Френкель остановился. Лев Соломонович подошёл к ним.

— Направляемся к товарищу Загоруйко, — объяснил ему Френкель. — Надо что-то делать, так же нельзя, я вам скажу! Разве же так можно в нормальном учреждении? Нет, вы будьте мне, пожалуйста, любезны, вы объясните, куда девались простыни, куда уплыли наволочки?

Женщина, раскрасневшаяся до такой степени, что, кажется, вот-вот вспыхнет, пыталась что-то сказать, но Яков был разгорячён не меньше и не давал ей вставить ни слова в поток своего прямо-таки первородного возмущения:

— Вы представляете, Лев Соломонович? По книгам значится две тысячи четыреста шесть простыней, а в наличии нет и половины... Нет, нет, вы мне ничего не говорите, гражданин Потебня, я уже слышал все ваши оправдания! Вам нужна ревизия, иначе ж на бедных мальчиков можно свалить всё, что угодно. Вы понимаете, Лев Соломонович? Нет, вы ничего не понимаете, потому что этого понять никак нельзя. Если вы думаете, что воспитанники спали на простынях, то вы очень сильно ошибаетесь, уважаемый Лев Соломонович. Мальчики на простынях не спали. Простыни тут выдавали тем, как утверждает гражданин Потебня, — нет, вы помолчите, гражданин Потебня, вы своё слово вместе с начолом Спиваком уже

сказали, теперь тут будут говорить другие, — она утверждает, Лев Соломонович, что простыни выдавали только за хорошую работу и примерное поведение. Выдавали, говорит гражданка Потебня, и тут же эти простыни исчезали. Как вам это нравится? Не нравится? А кому же понравится? И мальчикам не нравилось. Нет, вы будьте любезны выдать всем, а мне объяснить, почему недостаёт половины!

От державной обстоятельности Френкеля, к которой в наркомате все привыкли так же, как и к самому Якову, в нынешнем его состоянии не осталось и следа. Он никого не слышал, ничего не видел, им владело негодование, кажется, самое крайнее:

— Мне Антон Семёнович доверил разобраться, что тут, извините, к чему, и я, будьте уверены, разберусь. Да, вот так и порешим, гражданка Потебня, вы не понимаете, а я понимаю. Извините, Лев Соломонович, мы вас не будем загромождать всеми этими делами. Однако учтите: начкол Спивак считает, что он свои обязанности исполнял исправно. А что мальчишки спят без простыней, которые разворовали неизвестно где, а может, и он сам, это, по-вашему, как? Ну, извините, Лев Соломонович, извините. Вы, наверное, ищите наших товарищей из наркомата? Они в цехах, в цехах, там вы их и найдёте...

Ахматов уже понял, а точнее, почувствовал, что любая точка в колонии сейчас представляет собой напряжение, что риск Макаренко строился, наверное, в расчёте именно на него, на то, что оно обязательно вызовет к жизни энергию, способную привести коллектив в состояние работоспособности, нацеленности на положительные дела.

Он повидал сотрудников своего отдела, поговорил с Загоруйко, Осотским, побывал в цехах, в школе, заглянул в клуб, в общежитие, в столовую — и везде слышал это подбадривание: «В темпе, в темпе, ребята!» — слова, которые чем-то напоминали ему горячий призыв времён гражданской войны и первой пятилетки «Даёшь!». И всё больше верил в коллективную стихию, о которой так часто говорил, как о могучей центростремительной силе воспитания, Макаренко, и в то, что Антон Семёнович называл взрывом, и в ту самую оптимистическую гипотезу, которую тот считал краеугольным камнем своей педагогики. Последние сомнения рассеял, как ни странно, Савчук. Лев Соломонович ценил его

обстоятельность в работе, но всегда считал, что ему не хватает расторопности, аппаратной хваткости. Но сейчас от медлительности Савчука не осталось и следа, и скорее от Прейслера, чем от него, можно было ожидать таких слов:

— Нет, всё-таки это здорово, Лев Соломонович! — проговорил он, утирая пот со лба, когда Ахматов нашёл его в литейке, где Николай, пристроившись в шеренгу колонистов, двигал вместе с ними лопатой-грабаркой кучу производственного хлама.

Они отошли чуть в сторону. Савчук, одетый не в свою, а в чью-то чужую одежду, часто дышал, запыхавшись с непривычки, лицо его незнакомо светилось радостным возбуждением.

— Когда работаешь вот так, рядом с ними, слышишь слева дыхание одного, а справа сопит другой, забываешь обо всём на свете. Помнишь только, что не имеешь права отстать. Наверное, и они, колонисты, чувствуют то же самое. Вот ведь какие дела, Лев Соломонович!

— А как они восприняли вас, приехавших невесть откуда, невесть за чем?

— Прекрасно восприняли! Мы ведь не командуем ими, а делаем то же, что и они. Только, может быть, лучше, быстрее. И долю труда стараемся брать на себя самую тяжёлую. О себе ничего сказать не могу, сами понимаете, а вот поглядеть со стороны на Прейслера, на Шмигалёвых, на тех двоих, что приехали раньше нас, воспитанников Антона Семёновича Сватко и Галкина... Это... Это зачаровывает, Лев Соломонович! Я думал, что персоналу в колониях и надо так, а не строить из себя бог весть что...

— Ну а персонал? — поинтересовался Ахматов.

— Среди них есть, конечно, люди с дрянцой, Спивак тут подбирал сотрудников, удобных ему, ни в чём не перечащих. Но есть и народ толковый. А вот один — смотрите!

Он указал на формовочный плац, где на каком-то ящике стоял ни дать ни взять дирижёр или уличный регулировщик — невысокий человек в кепке с трубкой в зубах и показывал кому-то руками то в одну, то в другую сторону и что-то кричал, неслышное отсюда. Пацаны, повинаясь его жестам, что-то несли, что-то переставляли с места на место, а сделав одно дело, глядели на него, и он снова простирал руки, указывая новые цели.

— Это Хуторянский, мастер. Спивак уволил его за что-то. Не сработались. Но Антон Семёнович вчера встретился с ним, поговорил, и старик забыл все обиды, вернулся. Утром мы тут митинг проводили, так он тоже выступить попросился. «Раз, — говорит, — вы такое дело важное задумали, я тоже с вами и не уйду из цеха, пока модели для новых изделий не будут готовы...»

— Ну а воспитанники?..

— Что же воспитанники! Вы же видите сами, Лев Соломонович! Чудеса, да и только! Уму непостижимо! Кто рассказал бы, что Колонию можно так вот одним махом взнуздать, не поверил бы!

Среди всего, что волновало Ахматова, далеко не последнее место занимала мысль об избиении Спивака. Как бы то ни было, а спускать на тормозах такое происшествие было нельзя, и тянуть резину означало вконец заволокитить дело.

— Ну, — объяснил Савчук, — в колонии секрет Полишинеля и то, кто это сделал, и почему, и зачем, и как. Но тут забавная штука получается, Лев Соломонович... Можно, конечно, сказать, что это сделали воспитанники, а можно считать, что и вовсе не они.

— Не понимаю.

— У них тут недавно, вы, наверное, знаете, был групповой побег.

— Это мне известно, — нахмурился Ахматов, вспомнив свои баталии с Макаренко в связи с этим.

— Некоторые из них и скрывались тут поблизости, кое-кто — в самих Броварах. В колонии знали, где, и даже коллективно подкармливали их, тайком передавали пищу — «подогрев» у них называется.

— Так-так-так...

— Более чем интересно. Вот эти-то, можно сказать, бывшие воспитанники и взяли на себя расправу со Спиваком, как они говорят, за его несправедливость.

— Что значит — «они говорят»?

— Да потому что мы с ними беседовали тут, и они сейчас в колонии.

— Как — в колонии?!

— В колонии, — повторил Савчук. — Галкин и Сватко пошептались с колонистами, уж не знаю, о чём, а потом пошли с одним хлопцем в село,

а через час вернулись и привели с собой семерых.

— Молодцы! — не удержался Ахматов.

— Ещё какие!

— Что же было дальше?

— Ну, выслушали их, потом посадили за столы, и те написали заявления о явке с повинной.

— Вот мудрецы! Кто же надоумил?

— Я думаю, Лев Соломонович, тут сработала коллективная мысль. Кто имеет опыт беспризорничанья да поскитался по колониям, законы знает не хуже нашего.

— Суда им, конечно, не избежать. Но это теперь сущая формальность. Их как бы вернут туда, куда они сами вернулись, — в колонию, а учитывая, что Спивак своими действиями сам спровоцировал их на противоправные действия, пожалуй, и срока не добавят...

Осотский, с которым Ахматов разговаривал возле токарного цеха, обстоятельно рассказал, поминутно заглядывая в маленький блокнотик, обо всём, что интересовало начальника отдела трудовых колоний. Он, безусловно, волновался, понимая причину подобных расспросов, — все время поправляя галстук, трогал причёску, расстёгивал и вновь застёгивал пуговицы на пиджаке. Но рассказ его не был сбивчивым, он делился и кое-какими эмоциональными «изюминками», которым радовался, не останавливая себя.

— Перед обедом хотели учинить всеобщую баню после пыльной работы, — сказал он, — но хлопцы решили, что баня — громоздко и долго, предложили такое оригинальное омовение — из пожарной помпы. Лето, говорят, тепло, всё равно что в речке выкупаться.

— Проявляют, значит, инициативу?

— Проявляют.

— Ну а так называемая «отрицаловка» как себя ведёт?

— Покуражились, пофрондировали, позубоскалили для виду с самого начала, но Сватко, Шмигалёв и Галкин под разными предложениями выбрали их в свои руки — им тут верят, глядят на них, раскрыв рты, и, кажется, готовы за ними в огонь и в воду...

— А нельзя ли с этими хлопцами побеседовать? — спросил Ахматов, но едва он высказал свою просьбу, Осотский посмотрел на него с такой мольбой, что Лев Соломонович и сам понял, что это было бы

педагогической промашкой. — Ну, впрочем, не надо, и так видно, что там!..

Он окинул взглядом видимое пространство колонии, облегчённо вздохнул и сказал:

— Ну что ж, как говорится, доброе начало — полдела откачало.

— Да, откачало, — удовлетворённо улыбнулся Георгий Михайлович.
— А завтра снова приедет Антон Семёнович. Обещал.

— Да ведь ему тут, как я вижу, и делать-то уже нечего. И без него справляетесь с успехом.

— Это только на первый взгляд, Лев Соломонович. Наша воспитательная программа пока что решето.

— Понятно, — сказал Ахматов. — Минус на плюс, значит, ещё не меняли?

— Ну, — неопределённо пожал плечами Осотский, — как сказать! Меняем! Пока идет химическая реакция, вот!

— Ага, и Антон Семёнович у вас за Менделеева. Осотский рассмеялся и, чтобы перевести разговор на другое, снова достал из кармана блокнотик:

— А после обеда сегодня — тоже программа насыщенная, успеть бы только. Сергей Осипович пообещал, как он сказал, грандиозное зрелище — пушбол. Каждый отряд выставляет свою команду, а Галкин, Сватко и Шмигалёв выступают от имени коммуны имени Дзержинского. Не знаю ещё, что решили товарищи из вашего отдела, но, кажется, и они хотят рискнуть. А что? Народ молодой — шансы выиграть есть. Потом строевая подготовка, завершить её хотим конкурсом строя и песни. Вот, правда, боюсь, что строевых песен наши колонисты не знают. Потом общий сбор. Решили перетасовать отряды.

— Каким же образом?

— Сформировать по принципу — кто с кем хочет. В коммуне мы именно так и делали, и, знаете, такие отряды наиболее живучи и работоспособны. Так что придётся переизбирать и все органы самоуправления.

— Да, программа обширная, справитесь?

— А куда же деваться? Надо! И ещё не сказал... После ужина — концерт. Силами приехавших в колонию гостей.

— Это каких же таких гостей?

— Товарищи Прейслер, Суржик, Савчук, Броневои,

оба Шмигалёвы, Павел Адольфович плюс ребята Антона Семёновича.

— Это Сватко и Галкин?

— Да. Кстати, я буду просить, Лев Соломонович, чтобы их назначили в колонию воспитателями.

— Соответствуют?

— Вполне.

— Ну скажите Загоруйко, что я согласен.

— Спасибо.

— Так. Значит, концерт. И что же, у всех, кого вы назвали, таланты?

— Пока понятия не имею. Но думаю, что таланты есть, — снова улыбнулся Осотский. — Бесталанных людей нет.

Ахматову уезжать не хотелось. Всё, что видел, всё, о чём слышал, после наркоматовской карусели словно окунуло его в тёплую реку, из которой и не вылезать бы, пока, как в детстве, борода не посинеет. Но возвращаться в Киев было надо. Он чувствовал, что чем раньше доложит заместителю наркома обо всём, тем будет лучше.

Пока беседовал с Осотским, время приблизилось к двум часам. Ударил колокол. И почти сразу двор наполнился голосами. Из токарки выскочили перепачканные пылью, машинным маслом и ещё неизвестно чем пацаны. Среди них Ахматов узнал Савчука. Энергично жестикулируя, Коля оживлённо спорил с кем-то из колонистов, не глядя по сторонам. Командиры стали строить отряды. Из-за крыши вдруг раздалась песня, которую пели в ритме марша: «Скакал казак через долину...»

— Парни, — кричит Савчук, — это литейщики воображают... А ну, кто знает строевые, запевай!

Пацаны стали неопределённо переглядываться. Один предложил:

— А вот такую можно? «Здоров, братишка, брат легавый! Встречаемся в который раз! Позволь же дружески поставить тебе фонарь под левый глаз!»

Весь строй припадочно рассмеялся.

— Хорошая песня, — похвалил Савчук. — Только для строя не подходит. Ну, вот эту, наверное, все знают...

И мягким тенором запел, пристроившись в общую шеренгу:

Распрягайте, хлопцы, коней,
Та лягайте опочивать...

Несколько голосов недружно подхватили:

А я пиду в сад зелёный,
В сад криниченьку копать...
Маруся, раз, два, три, четыре,
Чернявая дивчина, —

завучало уже дружнее.

Громко, изо всех сил поёт Коля, и вслед за ним уже все немного вразнобой, но подхватывают:

В саду ягоды рвала...

Ахматов тронул за плечо Осотского, провожающего взглядом строй:

— Ну что ж, Георгий Михайлович, мне пора.

— Как? Сейчас обед. Пообедайте!

— Спасибо, Георгий Михайлович. В следующий раз непременно. — И, пожав руку Осотскому, пошёл к выходу.

«Так тебе, старый плетень, так!» — укорял он себя. — Над всем, что тут делается, витает дух Макаренко. А ты? Приехал, расспросил, проревизовал — много ль для этого ума требуется? Чем оказался полезен?»

Заданный самому себе вопрос заставил остановиться. Окликнул:

— Георгий Михайлович! Тот подбежал.

— Георгий Михайлович, там, за воротами, родители с утра...

— Я знаю. Но, видите ли, мы тут посоветовались и решили, что сегодняшние свидания должны быть тоже необычными. Мы их сейчас пригласим пообедать и провести с нами конец дня, до отбоя. Пусть посмотрят!

— Это чья же идея? Тоже Антона Семёновича? Ведь не положено посторонним находиться на территории учреждения!

— Нет, придумал Савчук. Конечно, согласно правилам внутреннего распорядка впускать посторонних не предусмотрено, но ведь и не запрещено! Мы об этом думали. А польза может быть большая.

«Вот, единственное замечание хотел сделать — и тут тебя опередили, — мысленно упрекнул себя Ахматов. — Ну что ж, тем лучше!»

Теперь он знал, о чём будет говорить с заместителем наркома. Да, Макаренко часто идёт дальше дозволенного — именно это вызывает ропот со стороны многих. А кто эти многие? Да те, если разобраться, кто, зарывшись в бумажки, в догму, изобретённую другими, сам способен в лучшем случае лишь исправно исполнить чью-то волю — хорошо, когда добрую, умную, и созидательную.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

В конце августа жара стояла, будто в самый разгар жнивы. Изнуряющая духота напоминала голодный тридцать третий год. Но урожай, судя по газетным сводкам, не давал основания для тревоги.

Тогда почему же так тяжело на душе?

Испания? Конечно, и она. Второй месяц газеты и радио неумолчно рассказывают о боях с путчистами под Мадридом и в Валенсии, в Толедо и Алькасаре, о прокатившихся по всей земле митингах протеста, о пролетарской солидарности рабочих, страстно желающих победы испанским братьям и призывающих всех честных людей не оставить республиканскую Испанию наедине с ошестинившимся штыками, современными пушками, танками и самолётами фашизмом. В интербригадах уже воевали посланцы советского народа, в их числе был и воспитанник Антона Семёновича Лёня Конисевич. В наркомате прошёл сбор средств в помощь Испании. Каждый отчислил трёхдневный заработок.

Симпатии советских людей принадлежат республиканцам не только потому, что ещё не забыта и наша гражданская война. Мятеж в Испании — первая проба сил, репетиция перед генеральным выступлением фашизма. Недаром же в Германии, во всей фашистской прессе — разнузданная клевета и повседневная травля против коммунизма и СССР. Не надо быть политиком, чтобы расценить это как идеологическую подготовку агрессивных планов в отношении нашей страны. Да Гитлер и не скрывает своих целей: на встрече с английскими министрами Иденом и Саймоном недавно объявил войну между «защитницей европейской цивилизации» Германией и СССР неизбежной. Япония разорвала договор девяти держав,

служивший основой мира на Дальнем Востоке, Германия — Версальский договор. Все большие и малые государства принялись спешно вооружаться.

Если две минувшие войны были подобны мировому катаклизму, то что принесёт новая?

А в Москве только что закончился показательный судебный процесс, вынесший смертный приговор шестнадцати известным всей стране людям, как теперь оказалось, врагам народа. Кажется, давно уже должны бы все привыкнуть к мысли, что подобные факты неизбежны. А если ты служишь в НКВД, и подавно мог бы относиться к ним спокойнее. Однако ж никак не может оставаться бесстрастным помнач отдела трудовых колоний Антон Семёнович Макаренко.

«Московский процесс» поразил и сам по себе. Но ещё больше шокировали его последствия.

Центральные и местные газеты переполнили публикации, порой буквально леденящие душу своей беспощадностью. Когда огромные массы людей жаждут крови, что-то не так. Если академик такой-то требует мести к человеку, которого не знал лично, если писатель имярек забывает иные слова, кроме брани, если рабочий, бросив станок, спешит на митинг обругать товарища, к чьему портсигару ещё вчера тянул руку, обвиняет его во всех тяжких — не странно ли это? Ведь не один академик, не один писатель и не один рабочий — кажется, вся страна, едва ли не каждый человек напруглись, объединяясь в стремлении, не имеющем в себе ничего созидательного. Всё это наложило гнёт на душу Антону Семёновичу, и снять его ничем не удавалось.

Государственный обвинитель на показательном процессе Вышинский сообщил, и суд подтвердил это, что «Московский центр» имел свою агентуру и на местах. Так что аресты не миновали и Киев.

Судя по всему, следователи НКВД настолько оказались перегружены работой, что не успевали ездить допрашивать арестованных в следственную тюрьму в Лукьяновку, и неделю назад в подвалах наркомата оборудовали камеры предварительного заключения. Арестованных выпускали на прогулку, хотя двор наркомата не был приспособлен для этого. Выход нашли, просыпав мелом овальную тропку, по которой теперь после полуночи пятнадцать-двадцать минут

гуськом бродили, понутив головы, с руками, сомкнутыми за спиной, подследственные. Антону Семёновичу из его кабинета, выходящего окном во двор, было видно это. А ещё слышно. Уж лучше бы не слышать!

Прогулка обставляется своеобразным ритуалом.

Открывается дверь, слышатся чёткие строевые шаги. Это охрана. Вслед за ними — шаги вразнобой, шаркающие. Это арестованные. Резкий, громкий, как на парадах, голос начальника конвоя:

— Шаг влево! Или шаг вправо! Стрелять на месте! Слова, судя по всему, предназначены арестованным.

Следующие — охране:

— По врагам народа! Расстегнуть кобуру!

Третий день подряд, заслышав начало прогулки, Антон Семёнович закрывает окно или вовсе уходит из кабинета, найдя предлог с кем-нибудь встретиться в другом месте. Но что-то ноющее в душе уже не исчезает даже и в другое время суток, даже если он находится вне наркомата.

В НКВД прошёл митинг по поводу «Московского процесса». Антон Семёнович на нём не присутствовал — сидел в Броварах. Расспросить, о чём говорили, ему показалось неуместным, но знать хотелось. Согласился принять участие в собрании киевских писателей, где речь должна была идти о том же. Тем более что приглашали настойчиво.

Выступать он не собирался. Но, видно, у кого-то в президиуме сработало в сознании, что Макаренко работает в НКВД. Подняли, спросили мнение. Пришлось, вместо того чтобы слушать других, высказываться и самому.

Днём раньше арестовали писателя Шаевича. Суть обвинений никому не была известна, Антон Семёнович тоже только на собрании узнал об аресте и в отличие от большинства выступавших, старавшихся вспомнить, где, когда и что Шаевич говорил и делал нелояльного, арест Шаевича никак не прокомментировал. И вообще ничего не сказал, ни слова, ни о московских, ни о каких других врагах. На процессе не был, никого из привлечённых к суду ни в Москве, ни в Киеве лично не знал. И вообще рассуждать о третьих лицах вслух в их отсутствие у него не было привычки. Так что сказал о другом — что, вероятно, вся эта обстановка весьма и весьма непроста прежде всего для руководителей страны. Как можно вести многомиллионный народ

к каким-то целям, когда, выражаясь военным языком, тыл не обеспечен! Так и сказал собратьям по перу. В статье «Всенародный приговор», помещённой в «Литературной газете» на другой день, корреспондент передал его выступление словами: «Наша мысль сейчас безраздельно устремлена к защите товарища Сталина. Хочется в особенно горячих и необычайно сердечных, живых словах передать ему нашу взволнованную любовь, наше, ещё не успокоившееся волнение». Не совсем, конечно, точно передали его слова, но теперь принято олицетворять руководство страны в образе Сталина. Да и не в этом, собственно, дело. Если всё так, как подаётся в печати — сплошь и рядом шпионы и агенты, — то хорошего мало. Если так. Но вот в этом-то Антон Семёнович и не был уверен вполне.

Как-то заехал на день Николай Эдуардович Фере. Антон Семёнович любил этого, может, излишне педантичного, но, безусловно, интересного и честного человека. Их связывала работа в колонии имени Горького, где Фере был агрономом, и неудавшаяся затея с объединением колоний. Потом Николай Эдуардович ушёл трудиться в систему Наркомзёма, теперь преподаёт в лесотехническом институте в Подмоскowie. Дороги разошлись, а взаимные симпатии, взаимное доверие остались.

Разговорившись, Фере пооткровенничал:

— Что-то я сомневаюсь в таком количестве вредителей и шпионов... Бесчисленные аварии... Не из-за элементарных ли нарушений технического режима они? Низкое качество продукции, гигантский брак — не от низкой ли производственной культуры? А откуда взяться точной технологии, высокой культуре производства? Вы посмотрите, кто сейчас работает на заводах! Кадровых рабочих с дореволюционной пролетарской закалкой почти не осталось. А нынешние — из десяти шесть, а может, семь — пришли из деревни. Те, кто обосновался в городе в двадцатые годы, — люмпены, бездельники, не сумевшие прокормить даже себя на собственной земле. Недеятельные, маломощные слои, не приспособленные даже к щадящей деревенской конкуренции... Какой от них толк и в городе!..

— Как же, — попробовал возразить Антон Семёнович, — ведь...

Но Фере не дал ему договорить:

— Этот тип крестьянина описан ещё Энгельгардтом. В его знаменитых письмах «Из деревни»... Это индивидуалист, причём даже не буржуазного типа, а совершенно иной, ещё хуже. Они стремятся выделиться, стремятся обособиться не только от односельчан, но даже и от родственников — и не для того, чтобы превзойти других своим трудом, проявить себя хозяином, а чтобы не переработать за другого.

— Вы не ошибаетесь, Николай Эдуардович? А как же лозунг «Кто был ничем, тот станет всем»? Разве не для таких людей он, не для бедных?

Фере посмотрел на него, как показалось Антону Семёновичу, с сожалением.

— Для бедных тоже. Но не для того, чтобы они поменялись ролями со вчерашним эксплуататором. Или не так, вы думаете?

Антон Семёнович не нашёл что возразить. Фере продолжал:

— Так было десять лет назад. В последние годы в индустрию приходят из деревни не худшие из работников. Из раскулаченных, а я не уверен, что это справедливая мера, а также середняки, которые не хотят трудиться в колхозе. Они раскрестьянились и утратили свой духовный стержень, потому что оказались вырванными из своей культурной среды, из привычного круга трудовых обязанностей. Они гораздо ближе к тому типу новых пролетариев, о котором я уже сказал, чем к кадровому, промышленному ядру. У них один стимул — поработать поменьше, получить побольше... Всё это уже сказывается и ещё скажется, попомните мои слова!..

Может быть, Николай Эдуардович и прав. Вероятно, поэтому происходит некое приспособление жизни к особенностям движущих сил общества, а последних — к новым условиям и требованиям. И поскольку такое приспособление должно произойти не за века и даже десятилетия, то совсем не случайна принятая ныне терминология войны: «культурный фронт», «трудовой фронт», «бытовой фронт»... А на войне как на войне, со всеми вытекающими последствиями. В том числе и с арестами, с жёстким счётом каждому за малейшее отклонение от общепринятого. «Шаг влево или шаг вправо...» Это ведь не только для арестованных...

Он ничуть не удивится, если однажды его вызовут в секретно-политический отдел и спросят: «Антон

Сёменович, товарищ Макаренко, а что же это вы умолчали о Цалове?»

Да, грешен. Никто, кроме Цалова, след которого простыл ещё до революции, да брата Виталия, судьба которого ему неизвестна вот уже почти десять лет, не знает, как он чуть не стал эсером.

Цалов был товарищем Антона Семёновича по Кременчугскому городскому училищу, где оба они учились. Цалов твёрдо решил заняться революционной деятельностью и уговаривал Антона Макаренко последовать его примеру. Уже став учителем, Антон Семёнович изредка встречался с однокашником, снабжавшим кое-какой запрещённой литературой. Ничего особо революционного в той литературе не было, но Антон Семёнович чувствовал себя заговорщиком, принося домой цаловские книги под рубашкой, чтобы не видел отец. Нет, эсером он не стал. И на цаловские приглашения ответил категорическим отказом. «Во-первых, — сказал он тогда, — я не верю в оздоравливающую силу кровавых революций — все они развиваются по одной схеме: сначала кровавая баня, затем анархия и хаос, и как результат — самая дикая диктатура. И во-вторых, я совсем не способен метать бомбы в кареты министров и ещё меньше распевать «Марсельезу» на баррикадах». Для самого Антона Семёновича его несостоявшееся «эсерство» ровным счётом ничего не значит. Мало ли кто и чем увлекался в молодости, да ещё задолго до революции! Но в контексте сегодняшних арестов сей факт мог оказаться значительным: был связан...

Основанием для того, чтобы заставить Антона Семёновича по меньшей мере объясняться, могли послужить и другие давние события.

В частности, отчего бы не поставить ему в вину, не припомнить осень семнадцатого года?

Вернулся с фронта брат Виталий. Вместе с ним ещё пятнадцать офицеров, оказавшихся, в сущности, выброшенными на обочину жизни. Прежнего строя, который они защищали, уже не существовало, новому пока не были нужны. Рабочие и солдатская масса рассматривали их как заклятых врагов, остальные сторонились, как зачумлённых. Жить было не на что, работы ни в Крюкове, ни в Кременчуге никакой: начиналась массовая безработица.

Антон Семёнович был знаком почти со всеми этими офицерами, а некоторые из молодых были даже его прежними учениками. Как не помочь?

Тем более что он уже заведовал высшим городским начальным училищем и кое-каким весом обладал и в Крюкове, и в Кременчуге. Виталия и ещё двоих взял к себе в школу, учителями. Но как помочь остальным?

И тогда он предложил им объединиться, составить нечто вроде ассоциации крюковских офицеров. Так они своё объединение в шутку и назвали — АКО. В помещении школы два-три раза в неделю стали устраивать танцевальные вечеринки, с буфетом и бильярдом. Материальный успех был неожиданно большой, так что нуждающиеся офицеры обрели возможность получать денежные вспомоществования.

АКО существовала при зелёных, при белых, даже при немцах. Но с приходом большевиков клуб пришлось закрыть. Антон Семёнович лишь позже понял, чем могла окончиться для него эта затея. Обыкновенное человеческое милосердие вряд ли кто принял бы за весомую причину оказывать помощь классовым врагам. Но что же поделаешь, если в то время он, как и подавляющее большинство интеллигенции, ещё не имел какой-либо чёткой политической линии. Он даже и к Добровольческой армии поначалу относился вполне спокойно, рассуждая примерно так: аристократы, помещики, капиталисты, все, у кого были большие деньги, покинули страну сразу после февральской революции, а эти — главным образом, офицерство, юнкера военных училищ, студенты, гимназисты, представители духовенства, мелкие коммерсанты, крестьяне, пусть зажиточные, — они-то что не поделили с новыми правителями?

Власти сменялись едва ли не каждые два-три месяца. Большевики, немцы, опять большевики, потом петлюровцы, атаман Григорьев, гетман Скоропадский... Антон Семёнович и теперь считает, что разобраться во всём этом пёстром политическом калейдоскопе было нелегко, и могли разобраться немногие. Тем же, кто хранил нейтралитет, не имея чёткой позиции, ни к кому не примкнул, было ничуть не легче и не проще. Не потерять, как говорится, лицо — тоже стоит недёшево. Не всем это удалось. Яркий пример — Виталий.

Сын рабочего-маляра, он не имел и не мог иметь ничего общего с Добармией. Но в самом начале мировой войны он окончил краткосрочную школу прапорщиков, а это значит, попадал в ту категорию людей, кто, с точки зрения крюковской ЧК, потенциально не был благонадёжен.

Началось наступление белых на север — с ним совпал так называемый «красный террор», жертвой которого Виталий едва не стал, причём совершенно безвинно. Каждое утро кременчугская газета «Приднепровский край» печатала списки казнённых, как указывалось, за контрреволюционную деятельность. Как всегда бывает, когда не касается тебя самого, Антон Семёнович мало задумывался, чем заслужили смерти эти люди. Но вот однажды знакомый Анны Петровны, жены Виталия, работавший в крюковской ЧК, предупредил, что ближайшей ночью её муж будет арестован и расстрелян.

За что? Неужели только за то, что не откликнулся на призыв вступить в Красную Армию? Но поди объясни, что отсутствие согласия не есть несогласие.

Или, может быть, припомнили случай со знаменем?..

В феврале девятнадцатого года, а в городе тогда были большевики, по какому-то революционному поводу устроили парад. Кроме войск, должны были присутствовать и учебные заведения. Пришло и высшее городское начальное училище, которым заведовал Антон Семёнович и в котором работал Виталий. И всё бы ничего, если бы не злополучное знамя. Дело в том, что брат был страстным сторонником военизации школы. В числе новшеств, введённых им в училище, было знамя, с которым ученики маршировали, ходили на экскурсии. Знамя было шёлковое, белое, окаймлённое золотой бахромой, с двумя лентами — жёлтой и голубой. На одной стороне вышили эмблему, а на другой — надпись из Евангелия: «Тако просветится свет ваш пред человеки». Когда пришли на площадь и увидели, что кругом красные знамёна, сворачивать своё было поздно. Тут подбежал распорядитель и приказал убрать «белогвардейское» знамя и никогда с ним больше не показываться.

Неужели поводом для ареста мог стать этот давний случай?

Думать и разбираться было некогда. На всякий случай Виталий решил переночевать в саду у сослуживца за городом. Действительно, ночью пришёл отряд чекистов, и его искали повсюду.

Месяц Виталий скитался по полям, жил у родителей учеников, своих и Антона Семёновича, скрывался у дальних родственников. Вернулся домой, когда Кременчуг и Полтаву заняли деникинцы.

На третий день его мобилизовали. Это означало, что судьба его отныне решена и назад пути нет. Он оказался заложником истории. Видимо, так можно охарактеризовать его печальную участь.

В ноябре девятнадцатого стало ясно, что под напором Красной Армии деникинцы не удержатся. Виталий зашёл к старшему брату. Он был в форме, в погонах и при оружии. Разговор не клеился. Настроение было невыносимое. Виталий засобирался:

— Будь здоров, Антон. Ты знаешь, что у меня не было другого выхода.

— Будь здоров, Виталий. Я всё понимаю. Знай и ты: моё отношение к тебе не изменилось.

Это было их последнее свидание. Больше они никогда не встречались.

После того как был взят Крым, Виталий эвакуировался в Константинополь, провёл год в лагере в Галлиполи, после чего попал в Болгарию, а затем во Францию. Не имея за душой и ломаного гроша, как-то сумел вернуться, зарабатывая игрой на скрипке, стал владельцем небольшой фотографии.

Восемь лет назад почему-то стало считаться вроде бы изъясном в человеке, когда у него есть родственник за границей. Конечно, переписку можно прекратить, но вычеркнуть близкого человека из памяти и сердца невозможно, где бы он ни находился — в тюрьме, в могиле или за рубежом. К тому же вспоминать брата приходилось часто даже и против желания. Пока продолжались военные одиссеи Виталия, дома произошло немало печальных событий. От случайного снаряда во время наступления Врангеля на Кременчуг погиб трёхлетний сын Виталия Жоржик. Анна Петровна, и без того истерзанная происшедшим, родила недоношенную девочку, снежным комом накатились, вконец одолели молодую мать болезни. И поскольку она чаще, чем дома, обитала в лечебницах, Лилю приютили старики — родители Анны Петровны.

Не зная ничего этого, Виталий забрасывал жену вызовами. Нстойчивые его письма приносили всё новые и новые страдания больной женщине и причиняли немало беспокойства Антону Семёновичу. Каждый раз вслед за получением очередной депеши следовало приглашение в местную ЧК, а после их преобразования — в отделение ГПУ, где ему приходилось заново объяснять всю ситуацию,

так как народ среди чекистов менялся довольно часто, а документов, связанных с Виталием, очевидно, не хранили. А главное — со всё большим трудом надо было приводить в душевное равновесие больную свояченицу.

В последний раз, уже в двадцать восьмом году, Анна Петровна, находясь, возможно, в некотором прозрении, вдруг засобиравлась вместе с дочерью «в Париж». И тут Антон Семёнович не удержался — написал брату и категорически потребовал, чтобы тот забыл, что в России у него есть какие бы то ни было близкие, потому что сам сделал добровольный выбор между родиной и изгнанием. И что родину принимают такой, какая она есть, со всем, что её составляет, либо отвергают — тоже со всем её составляющим. Виталий выбрал последнее. Значит, семья, родные вправе отвергнуть и его.

Как раз в том году у Антона Семёновича шла сплошная полоса крутых изменений в жизни. Полностью рассорившись с «Олимпом», ушёл из колонии имени Горького и обосновался в коммуне имени Дзержинского. В том же году женился.

Галина Стахивевна не возражала взять в семью Лилию. С тех пор девочка с ними. И хотя она была полноправным членом семьи Антона Семёновича, что-то мешало ему афишировать это. Сейчас подумал, что и ни в чём не виноватая девочка может стать поводом для самых неожиданных подозрений и нелепых обвинений. «Но не в детский же дом отдавать дитя, у которого есть родственники», — мысленно возмутился он. В конце концов, он её, а не она его воспитывает! Да только попробуй доказать, что родственный жест не имеет идеологической подоплёки и вызова! Вон ведь с каким старанием киевские писатели собирали с бору по сосенке в адрес Шаевича, человека скорее безвредного и аполитичного, чем сознательного врага-троцкиста.

...Пройдёт ещё немного времени. Вслед за первым показательным судебным процессом последуют и второй, и третий. И содрогнутся люди от мысли о якобы гигантских масштабах зла, замышляемого и творимого против них всеми этими, как большинство считало, отнюдь не мнимыми врагами. В далёких сибирских и северных лагерях окажутся многие и многие из нынешнего окружения Антона Семёновича. Иных расстреляют, никуда не увозя, тут же, в Киеве. Уже одно уничтожение сотен тысяч людей, если да-

они виноваты в чём-то, способно пропахать такую борозду в сознании и совести, что не зарасты этой борозде и через поколения. Спустя десятилетия люди будут мучительно разгадывать величайший парадокс века: как и почему с таким исступлением одни отрекались от близких по крови, от друзей и единомышленников, другие, осенённые умом и совестью, безмолвно и безропотно воспринимали трагедию, третьи, презрев всё самое святое, превратились в гнусных доносчиков и провокаторов?... Да что с ними случилось там, во второй половине тридцатых? Ослепли? Оглохли? Ополумели они, что ли? Мор на них нашёл такой особый?..

Но не все отрекались, не все безмолвствовали, не все подличали, да же и не осознавая до конца природы происходящего. Многого не понимал и помощник начальника отдела трудовых колоний НКВД Украины Антон Семёнович Макаренко. Но какое-то подсознательное чувство помогло ему понять, что главное сейчас — сохранить себя в себе, что нужно во что бы то ни стало, как говорят боксёры, держать удар. Не падать и не упасть.

Сделанный им в эти дни августа тридцать шестого года нравственный выбор ни разу не позволит ему ни в тридцать седьмом, ни в тридцать восьмом поставить, как это станет принято, свою фамилию под заявлениями писателей в поддержку прокурора вынести кому-то смертные приговоры. Уже это одно будет непросто. Немногие наберутся гражданского мужества уклониться от подписания откликов и заявлений. Среди писателей — Вересаев, Касаткин, Катаев, Эренбург, Форш, Паустовский, Пришвин, Шолохов, Серафимович, Пастернак — всего чуть больше десятка не замарают себя пособничеством репрессиям. Хотя кое-кто успеет написать даже не по одному, а по два отклика.

И уже даже не мужество надо будет иметь, а нечто большее, чтобы вполне сознательно пойти на риск и дать публичную отповедь ленинградскому критику Лесючевскому, наклеившему книге начинающего писателя Виктора Панова обличительные ярлыки, означавшие политическое обвинение. А когда из печати выйдет роман Вирты «Одиночество», замеченный и одобренный самим Сталиным, о чём примется судить вся литературная Москва, Макаренко, открыв забрало, выступит в «Литгазете» и во всеуслышанье заявит: роман — «легкомысленное отношение

к важнейшим и ответственным темам нашей жизни и борьбы, попытка подменить серьёзную работу скороспелым лубком. «Закономерная неудача» — так он назовёт рецензию на роман, который уже примет в сценической версии МХАТ и который уже был представлен к Сталинской премии...

Ни с кем не смея поделиться своими мыслями и решениями, он «держал удар», хотя это стоило ему немало.

Как раз в тот вечер, когда он выступал на собрании писателей, возвращаясь домой, переживая услышанное и увиденное, вдруг схватило сердце, да так, что хоть кричи... Сколько времени он провёл в полузабытьи на скамеечке в небольшом скверике на Крещатике, вспомнить, как ни старался позже, так и не сумел. Очнувшись от прикосновенья чьей-то руки к плечу:

— Товарищ! А товарищ!..

Поднял голову. Перед ним стояли два милиционера. Увидев в свете фонаря ромб в петлице, вытянулись и козырнули:

— Извините... Мы подумали...

— Нет-нет, ничего... Я сейчас, — он положил руку на область сердца. Тут один из милиционеров узнал Антона Семёновича.

— Вы — товарищ Макаренко?

— Он самый. А откуда вы меня знаете?

— Вы у нас в райотделе выступали весной. Лекцию читали...

Милиционеры вызвались проводить Антона Семёновича до дома, и как ни отказывался, как ни бодрился, шли с ним вместе до самого Владимирского собора. Дом, в котором жил Антон Семёнович, как раз глядел фасадом и левой стороной на его золочёные купола. Остановившись около подъезда, Антон Семёнович попросил:

— Хлопцы, знаете что?.. Вы ведь совсем случайно стали свидетелями. Могли пойти другим маршрутом и ничего бы не знали. Правда? Давайте дружно, все трое, о происшедшем забудем!

...Что помогало ему вопреки всему нести свой крест, подниматься на свою педагогическую Голгофу?

В августе тридцать шестого года сама постановка такого вопроса показалась бы нелепой.

Помилуйте, о какой Голгофе речь? Мы самые счастливые люди в мире, самые лучшие, самые передовые, все смотрят на нас с любовью и заботой и вот-вот повернут в нашу сторону. Мы выполняем всё, что задумали, нам нет преград ни на море, ни на суше, мы рождены, чтоб сказку сделать былью. И вообще — разве не слышишь ты, как гремят победной песней заводы и поля, разве не видишь, что вся советская земля стала солнечным и самым светлым краем? О какой Голгофе речь, если есть у каждого из нас самый лучший наш друг товарищ Сталин: «О нас вспоминает он каждый час, работает, строит, живёт для нас. Он каждого любит, как добрый отец, и в сердце он носит миллионы сердец». Как можно говорить о Голгофе, если со всех сцен, из репродукторов несётся:

За мостами от заставы Выходит солнышко во мгле, Вместе с солнцем встанет рано Сталин — солнышко в Кремле. Взглянет Сталин зорким взглядом, Как за башнями Кремля По его великой воле Обновляется земля.

Ну при чём тут Голгофа, если даже и через десять лет, в послевоенное время, когда даже бы и слепой мог прозреть и увидеть, что к чему, взрослые учили маленьких строить на праздничной сцене пирамидки и громко благодарить: «Спасибо товарищу Сталину за наше счастливое детство!» Голод, разруха, один учебник на пятерых, одни валенки на троих, налитые в пузырёк чернила на парте замерзали, так что нужно было отогревать их своим дыханием, а всё равно: «Спасибо товарищу Сталину...» Только что потеряли в военной мясорубке двадцать миллионов отцов, матерей, братьев, сестёр, чуть не каждый второй мальчишка бегал в соседнюю хату «посмотреть тятю» — такая тоска была по запаху мужскому, по виду живого мужика — и всё равно: «Спасибо...» И что самое-то ужасное — говорили искренне, убеждённо! Никому в голову не приходило, что это, как ни крути, Голгофа, да ещё какая!

Так что резонен вопрос: не много ли мы хотим от человека, который не был ни политиком, ни философом, занимавшего пост не маленький, но и не такой уж крупный, да ещё и обзор у него ограничивался рамками Ведомства, прямо скажем, не располагавшего к тому,

чтобы этот обзор расширить? Вправе ли мы требовать, чтобы он видел происходящее нашими глазами? Ведь и не такие люди словно ходили с завязанными глазами! «Спасибо товарищу Сталину...»

Но тогда почему, закрыв окно во двор, где прогуливают подследственных, этот сорокавосемилетний человек, устало щурясь, пишет в записной книжке: «Кто-то когда-то создаст технологию правды. Когда должно и когда нельзя говорить правду? Какие этические границы проложены для лжи и правды?» Не сейчас ли, не в эту ли ночь вызрело в нём убеждение, о котором спустя год в письме бывшему своему воспитаннику Николаю Шершнёву Антон Семёнович скажет: «Революция только начинается в самом человеке. Сейчас ещё много дураков сидит на местах, непосильных для них»? Это была его версия происходящего. С нею ему и жилось, и работалось, а иначе бы выдуманная немецким поэтом Генрихом Гейне «зубная боль в сердце» превратила его существование в нестерпимую пытку. А так — вроде бы всё идёт не как надо, но жить всё-таки можно.

Но удерживать душу в равновесии удавалось, увы, всё реже...

2

Надвигался дождь, с утра парило, и Ахматов, как и все, изнемогал от духоты. Поздоровавшись с Макаренко, он затворил за собой дверь, тяжело отдуваясь, присел на стул у стены.

— А цыгане утверждают, что лучше семь раз лето, чем один раз зима... Интересно узнать, что цыган сказал бы, заставь его в такую погоду сутками просиживать в кабинете.

Антон Семёнович попробовал улыбнуться в ответ, но у него не получилось. Если Ахматов хотел сообщить о неприятности, он всегда принимался стенать, жаловаться, вздыхать. Вот и сейчас никак не может остановиться:

— Ну что ж это с климатом такое происходит? Второй день места себе не нахожу. Спину ни согнуть, ни разогнуть. И голова вот-вот лопнет. Давление, что ли...

Тут, правда, спохватился:

— Да и у вас, вижу, у самого состояние не лучше. В последнее время какой-то бледный. Нездоровится? Может, вам на больничный уйти? Или в отпуск? А?

— Это пустяки, Лев Соломонович. Верно говорите, погода...

Ахматов и сам никогда не лелеял своих болячек, а ворчал больше для маскировки. Нежелание помощника распространяться на эту тему было тем более кстати, что шёл к нему вовсе не для того, чтобы выражать сочувствие...

— Антон Семёнович, — приступил он к делу, — я свое слово сдержал... Записка ваша по детскому трудовому корпусу прошла-таки через всех членов коллегии. Не хотел я вас загружать нелюбимым делом — сам обошёл каждого, убеждал, как мог...

— Ну и?.. Всё ясно, — сказал, не дождавшись скорого ответа, Макаренко. — Мимо.

— Мимо, Антон Семёнович, мимо. И не потому, что идея плоха, нет! Идея всем понравилась. Но не ко времени маленько... Понимаете, кроме нашей сугубо профессиональной политики, кроме — не надо, не говорите, я сам это знаю! — соображений педагогического характера, есть ещё и другие...

— Какие соображения могут быть важнее забот о пацанах?

Предложение Макаренко было развитием идеи, которую он пытался осуществить в двадцать седьмом году, объединяя колонии Харьковского округа. Спустя время, проанализировав на досуге тот свой опыт, Антон Семёнович склонился к мысли, что идея не так уж и неосуществима. В тридцать четвёртом году поделился ею с председателем ОГПУ Балицким в очередной приезд Всеволода Аполлоновича к коммунарам.

Сколько сил расходуется на борьбу с беспризорностью и безнадзорностью непроизводительно! Но они дробятся на мелкие колонии, где невозможно создать серьёзное производство, нельзя удовлетворить разнообразные вкусы и интересы пацанов, собранных там случайно. Кстати, это есть одна из причин массовых побегов ребят из колоний — они ищут, где лучше.

А если объединить мелкие колонии в крупные, создать единую производственную и воспитательную программу, не только избежали бы этих издержек, но и сэкономили огромную массу материальных и людских ресурсов. Наконец, крупная колония смогла бы уже через три-четыре года полностью перейти на хозрасчёт...

Балицкий внимательно выслушал Антона Семёновича и согласился:

— Ну что же, интересно. Подготовьте проект. Обсудим. Если нужно, давайте привлечём к разработке такого документа других специалистов, понимающих толк в этом деле...

Спустя несколько месяцев план был готов. Но правительство Украины к тому времени переехало из Харькова в Киев, и это затормозило, очевидно, не только макареновский проект. Кроме того, и ОГПУ прекратило своё существование, став одним из подразделений НКВД. Балицкий, возглавлявший ОГПУ, был назначен наркомом внутренних дел, и, вполне понятно, до такой частности, как детские корпуса системы Макаренко, руки у него дойти не могли.

Проект создания трудового корпуса Антон Семёнович предварил анализом состояния дел в специальных учреждениях для воспитания несовершеннолетних. Оно и по сей день оставляет желать лучшего, потому что основано на кустарных идеях, которые, по его убеждению, не всегда являются идеями большевистскими. Тратились и тратятся огромные средства, которые, если говорить начистоту, просто-напросто вылетают в трубу вместе со всем беспризорным вопросом. И так будет до тех пор, пока ребёнку, с одной стороны, рассказывают о Днепрострое, Магнитке и Сталинградском тракторном, а с другой — заставляют сучить дратву в детдомовских и колонийских сапожных мастерских. Откуда же появиться у беспризорного желанию встать вровень с веком, сознательности, стремлению к образованию, к серьёзной профессии, необходимой в эпоху индустриализации?.. Чем же руководствовались члены коллегии, отвергая проект? Неужели не понимают, что создание трудовых корпусов сняло бы сегодня вопросы, решать которые завтра, может статься, будет поздно. Снова и снова объясняя это Ахматову, он в глубине души понимал, что начальник отдела, собственно, ничего не решает и разговор этот просто-напросто бесполезен. Но он не мог остановиться, потому что озарило его вдруг: да ведь, в сущности, в его жизни начинает повторяться рисунок когда-то пережитых и уже забывающихся отношений с педагогическим «Олимпом»!

Содрогнувшись от этой мысли, он умолк, анализируя открытие, и теперь лишь вполуха слышал голос Ахматова:

— Антон Семёнович, дорогой, упорство в достижении целей — качество замечательное. И хорошо, что вы им наделены, как никто другой.

Но только... Как бы это сказать... Вы романтик, да, совершенно неисправимый романтик... Я этого долго не мог понять и всё удивлялся, как с этим качеством уживается в вас антипод — умение, когда надо, в практической жизни выстроить дело так умно и целесообразно, что диву даёшься... Потом понял, что всё-таки прагматика в вас больше — в нём-то ваша сила. А романтика — она уносит вас иногда в такие выси, какие были бы извинительны кому угодно, но не вам, с вашим опытом, положением. Вот вы предлагаете эти самые трудовые корпуса. Да, вы меня заворожили, когда рисовали картину, как это будет прекрасно. Агитировать вы умеете. Но вот вы слушал я членов коллегии и пришёл к выводу, что это ваш очередной романтический зигзаг...

Антон Семёнович достал из стола портсигар, не отводя печального взгляда от начальника отдела.

— Никто не представляет, — продолжал Ахматов, — как можно совладать с такой огромной массой людей — двенадцать тысяч человек. Мало того, вы предлагаете каждый год в течение десяти лет увеличивать численный состав корпуса ещё на две тысячи. То есть через десять лет корпус — считай: колония — будет иметь тридцать тысяч правонарушителей. Да это же бочка с порохом!

— Не правонарушителей — детей! — поправил Макаренко.

— Ваша мысль, ваше убеждение привлекательны, — продолжал, как бы не услышав реплики помощника, Ахматов, — но вы идеализируете действительное положение вещей. Чем, например, вы объясните, что, попав в колонию, почти любой из несовершеннолетних спешит сделать себе татуировку?... Причём, заметьте, не абы какую, лишь бы сделать, а в точном соответствии с принятой среди уголовников символикой. Всякие там розочки, сердечки, кинжалы, перстенёчки?... А? Или обнаруженные вами в Броварах иерархические группировки среди колонистов... А уголовные, воровские традиции? Малолетки им следуют с большей одержимостью, чем даже взрослые...

— Это результат плохой работы администрации. В коммуне Дзержинского такого не было.

— Ваша коммуна — исключение. Одна ласточка погоды не делает.

— Потому что мы боимся сдвинуться с насиженного,

хотя и дрянного места. Скверная вековая привычка, с которой в наше время мириться уже преступно.

Ахматов знал, что раз уж Макаренко упрётся, сдвинуть его не сможет сам господь бог. И всё же сделал ещё одну попытку.

— Меня удивляют ваши фантазии. Должна быть мера. Кому-нибудь можно фантазировать сколько угодно, но вам, в вашем положении!.. Кроме того, Антон Семёнович, надо же быть и самокритичным! Вот, говорят, когда-то вы утверждали, что самая целесообразная форма воспитания детей не в семье, а в детском доме. А теперь пишете книгу для родителей. Видите, как вы легко порой сокрушаете одно и предлагаете другое.

Макаренко обожгло упрёком.

— Я не собирался низвергать семью. Я только констатировал, что социалистическое общество не может быть без общественного воспитания. Невозможно представить себе, что в государстве, где всё строится на плане, воспитание принадлежало бы и впредь неуправляемой стихии, каковой является семья...

— Значит, мы должны разрушить тысячелетние традиции семейного воспитания?

— Я к этому не призывал. Хотя разрушили же мы тысячелетиями существовавшую эксплуатацию!.. Нынешняя семья не справляется с заказом общества. Кровная привязанность людей — штука замечательная. Мало что обогащает человеческие отношения, самого человека так, как она. Но совершенно очевидно и другое. Женщина — а именно она была до недавнего времени главным скрепом в семье — чувствует всё больший вкус к своему положению человека, который не торчит на кухне, а трудится на производстве, занимается наравне с мужчиной общественной работой — пелёночная психология уходит в прошлое. И мужчина — он перестает быть распорядителем, вершителем судеб детей, кормильцем, богом и судьёй для жены.

Вот почему Антон Семёнович убеждён: общественные институты будут играть в воспитании детей всё большую роль, отнимая одну за другой воспитательные функции у семьи. Детский ли дом, как он думал, другие ли формы примет когда-нибудь массовое воспитание детей, трудно предугадать, но что семья утратит своё современное значение — он ничуть не сомневался. Да она уже и утрачивает: ведь почти все нынешние колонисты — дети из семей...

Вопрос этот Антон Семёнович тогда снял с повестки дня. Но только временно. Тут последнее слово ещё не сказано. Это, судя по всему, одна из долгосрочных альтернатив социалистического воспитания. Да, стоял на крайних позициях в этом вопросе. Но разве он один? Многие в те времена руководствовались мессианской воодушевлённостью, пафосом и вдохновением отметания всего старого, очень надеялись на то, что новый мир находится в достижимой близости. Но поскольку ни нового мира пока не построено, ни старого уже нет, Антон Семёнович и взялся за книгу для родителей. Он считает, что выполняет заказ общества.

Антон Семёнович постоянно бывает в детском саду НКВД, встречается с родителями малышей, подолгу и подробно беседует с ними. В зависимости от выводов, к которым приходит, помогает персоналу составить педагогическую программу как для организации всего коллектива садика, так и для работы с отдельными малышами. Его интересует семья как воспитательный институт. По этой же причине дважды в месяц ведёт приём родителей и в комиссии по делам несовершеннолетних... Пока семья оказывает достаточно заметное влияние на формирование личности ребёнка, нужно вооружить родителей знанием того, что необходимо для воспитания настоящего советского человека. Семейное воспитание тоже должно быть целенаправленным, а не стихийным. Кроме того, в народной педагогике много настоящих жемчужин, которые, безусловно, следует сберечь и для организованной педагогики.

Ахматов глядел на помощника, слушал его и пытался ответить себе на вопрос: что же позволяет Макаренко ни перед чем и ни перед кем не вставать на цыпочки, что оберегает его от мелкого чиновничьего политиканства, свойственного отдельным должностным лицам и, может быть, и ему самому?.. Думал и, не находя ответа, втайне завидовал независимости, какую позволял себе Макаренко. Вот ведь: проект не принят, отвергнут — ну что теперь говорить об этом? Однако же не смирился, сразу стал как кипятильник — так и обдаёт паром. Беспокоило Ахматова и другое — что они так часто в последнее время не находят общего языка. Работать так трудно. А как быть, он не знает.

— Да, жаль, — вслух подумал Антон Семёнович. — Очень жаль. Мои идеи всё чаще оказываются, пользуясь

языком наших молодых сотрудников, не в жилу. Тогда, может, и я сам тоже... не в жилу?..

— Ну зачем вы так, Антон Семёнович? Сейчас, может, в самом деле несвоевременно это — трудовой корпус и прочее... Но время — оно работает на всякую здоровую мысль. Рано или поздно... В гражданскую я знал одного старого полкового врача, который утверждал, что болезни или проходят сами, и тогда не нуждаются в лечении, или они неизлечимы — тогда лечение просто бесполезно.

— Что ж, удобная философия... у этого вашего полкового врача.

— Подтекст ваших слов понимаю. Вы хотите спросить: почему же, мол, товарищ Ахматов, не возражали членам коллегии, почему не защищали проект? Так? Неужели вы не понимаете, что... — Он запнулся, но, задетый за больное, махнул рукой: — Неужели не знаете, что перечить вышестоящему — что лвыцу целовать: удовольствия мало, а риск огромный?

Антон Семёнович с почтением относился к старым партийцам: это им, считал он, достался самый тяжёлый груз истории молодого государства. И Ахматова относил к этой когорте.

Но лвыцу и в самом деле мог бы поцеловать только лев, но отнюдь не котёнок, подумал Антон Семёнович, улыбнувшись про себя нечаянной стороне получившегося каламбура, в котором лев мог бы быть собственным, а не нарицательным именем...

3

Ещё на лестнице в подъезде Антон Семёнович услышал через дверь своей квартиры, как звонко хохотала Лиля.

— Однако! — сказал он строго, когда племянница встретила его в прихожей, и сердито показал на часы: почти двенадцать.

Полтора десятка лет Антон Семёнович имел дело с сиротами, детьми из неблагополучных семей. Нельзя сказать, что привык к этому — как можно привыкнуть к горю! — но всё же давно уже перестал делать из сиротства предмет каких-то особых чувств. Но недаром же говорят, что врач не должен лечить близких родственников. Точно так, видно, и педагог теряет что-то в своём воспитательском качестве, если имеет дело с собственными детьми. Против воли и

педагогических убеждений Антон Семёнович жалел племянницу.

Сын Галины Стахивны от первого брака Лёвушка теперь студент, учится в Москве, в авиационном институте. Когда мать вышла замуж и они переехали в коммуны имени Дзержинского, он ровно и сразу вошёл в коллектив дзержинцев, не подделываясь под беспризорника, и сознательно сохранял свой самостоятельный статус, хотя являлся официально сыном «самого Макаренко». Умный, развитый и ничуть не запущенный мальчик с рано проступившим стремлением к независимости, он жил в коммуне вместе со всеми мальчиками, изредка навещая квартиру матери и Антона Семёновича.

Лилия стала воспитанницей младшей группы в коммуне, но на ночь она приходила в квартиру дяди, где у неё был свой уголок, так что считалась полноправным членом семьи Антона Семёновича. Если бы Лёва хотел для себя такого же положения, всё было бы ничего. Но ситуация сложилась иная и вызывала затаённую ревность Галины Стахивны — Антон Семёнович чутко улавливал её в подчёркнутом внимании жены к девочке, настолько подчёркнутом, что временами сжимался от предчувствия семейной размолвки в связи с этим. Он, конечно, не ошибался. Однажды жена, изменив свойственной ей сдержанности, вдруг рассказала притчу, подтекст которой прочесть было нетрудно. В некоей семье у хозяйки дома были две неродные дочери и родная. Мать, она же мачеха, сварила два яичка и отдала их падчерицам. «А ей?» — спросили те, показав на сводную сестру. «Ну ладно, — как бы снизошла хитрая мачеха, — дайте уж и ей по половиночке...»

Пожалуй, это был единственный раз, когда Антон Семёнович позволил себе быть резким с женой.

— На эту тему мы больше говорить не будем, — жёстко сказал он. — Никогда. Кроме нас, у Лилии нет никого. К тому же она девочка...

Галина Стахивна знала и ценила утончённую вежливость мужа с девочками-коммунарками, со взрослыми сотрудницами коммуны, с ней самой и нашла в себе силы перестроиться. Так что размолвка со временем, можно сказать, совсем забылась, потому что Антон Семёнович как ни в чём не бывало считал Галину Стахивну своей поверенной и в том, что было связано с Лилей.

Лилия каким-то, очевидно, чисто женским чутьём всё же

чувствовала некоторую холодность в отношении к ней Галины Стахиевны, иначе не льнула бы к дяде с такой ласковостью и нежностью. Ей было в нём дорого всё: и что он говорит, и что делает, и что пишет... Пылает самыми жаркими чувствами, на какие только способна девичья душа, ко всему, что любит Антон Семёнович, и бурно негодует в адрес того, что осложняет его жизнь. Она, вероятно, и Галину Стахиевну воспринимала как часть самого Антона Семёновича, и, может быть, именно это спасало обеих женщин — взрослую и маленькую — от недоразумений.

А теперь, когда Лиле шестнадцать, она и вовсе вполне сознательно оберегает спокойствие Антона Семёновича, понимая, какой трудной и напряжённой жизнью он живёт. Во всяком случае, Антон Семёнович не мог не замечать демонстративной вежливости и внимательности племянницы к Галине Стахиевне. И это тоже беспокоило.

Сегодня вечером Лиле было счастливо, радостно и весело, потому что в гостях был Виктор Николаевич Терский, своим появлением напомнивший ей коммуны и брата Лёвушку, который теперь в Москве. Уж он-то разделит бы с нею прекрасные мгновения с этим неистощимым фантазёром и весёлым выдумщиком.

— А у нас гость.

— Я уже понял.

— Ой, дядя Тося, ты представить себе не можешь, до чего же Виктор Николаевич смешное говорит! Ты помнишь конкурс на лучший проект вечного двигателя в коммуне?

— Было такое. — Повесив фуражку, Антон Семёнович прошёл в гостиную и крепко пожал руку поднявшемуся с дивана Терскому.

— Представь себе, Виктор Николаевич до сих пор утверждает, будто ещё никто не доказал достоверно, что вечного двигателя не может быть. Но это не всё!

— Что, новый проект вечного двигателя возник?

— Нет, совсем другое. Я рассказала Виктору Николаевичу про нашу школу. Так он говорит, что нам нельзя выдавать аттестаты зрелости, пока мы не пройдём какого-нибудь особого испытания на волю и мужество.

— Конечно, он прав. — Поддерживая разговор с племянницей, Антон Семёнович жестом пригласил Виктора Николаевича снова занять место на диване и сам сел рядом.

— Конечно, прав. Вот уже двенадцатый час, а ты ещё бодрствуешь.

— Тут выяснилось, — с улыбкой объяснил Терский Антону Семёновичу сказанное Лилей, — что у них в школе среди педагогов всего двое мужчин. Сплошной дамсоцвос!

— И что же вы предложили? — Антон Семёнович уже заразился атмосферой словесной пикировки, которая тут, судя по всему, была в самом разгаре.

— Я и говорю, — перебила Лиля, — Виктор Николаевич предлагает нам вырабатывать волю — как ты думаешь, чем? Скатываться в бочке по склону крутой горы или глубокого оврага!

— А что? Мы так делали — способ проверенный! — всерьёз ответил Терский. — Если человек не вывалится, пока катится, значит, всё в порядке. А вывалится... Будет ли толк в жизни от такого человека?

Антон Семёнович снова взглянул на часы.

— Всё поняла, дядя, — догадалась Лиля. — Ухожу, ухожу. Мы обсудим в классе ваше предложение, Виктор Николаевич. Обязательно обсудим!

— Только имей в виду, — посоветовал ей вслед Антон Семёнович. — Удержаться в бочке — это ещё не всё... Порой куда сложнее не вывалиться из жизни, причём на ровном месте.

В гостиной появилась Галина Стахивна. Она внимательно посмотрела на Антона Семёновича, словно бы стараясь враз получить ответы на множество вопросов, которые застыли в её взгляде. Муж мало что рассказывал о своих служебных делах, но она всегда чутко улавливала его состояние и, прежде чем затеять любой разговор, обычно с того и начинала — старалась понять его настроение. Сейчас, как всегда, Антон Семёнович словно бы застёгнут на всё пуговицы. Конечно же, ему не терпелось остаться наедине с Терским. Но ей почудилось, несмотря на его умение держать себя в руках, что чувствует он себя не лучшим образом. Вид такой, будто весь день ходил в тесной обуви. И насторожилась.

— Тося, Виктора Николаевича я накормила ужином недавно, а как ты?

— Спасибо. Пожалуй, чаю. Покрепче.

— Ну, тогда через пять минут. Чайник горячий, вот только к чаю соберу что-нибудь.

Чай в доме Макаренко — фирменный напиток. Вина

Антон Семёнович практически не пил, лишь в самых крайних случаях «подчинялся традиции». Зато с давних пор, когда ещё была жива мать Антона Семёновича Татьяна Михайловна, в большом почёте в доме чай. На кухне у Галины Стахивны стоит целый арсенал коробочек с китайским, турецким, индийским, цейлонским чаем, всевозможными фруктовыми сборами, в пакетиках хранится масса всевозможных травок — душица, мята, листки млодой смородины, лепестки шиповника и жасмина и ещё много того, что превращает каждый раз чайное застолье в настоящий чайный пир. Предвкушение этого вернуло Терского в тихие вечера на квартире Макаренко и в колонии имени Горького, и в коммуне имени Дзержинского, когда за чашкой чая (называлось так, хотя выпивали иногда не по одному самовару) неслись по ухабам дорогой сердцу темы бесконечные разговоры о мальчишках и девчонках — кто какой, радовались и огорчались, веселились и гневались... Только сегодня Терский отказался бы и от чая — Антон Семёнович это понял, едва взглянул на него.

— Ну что? — проложил он первую тропку к общению. — Как вы там?

Спросил и тут же спохватился, потому что ответом было мученическое лицо Терского, резко сбросившее беззаботность. Терский пытался улыбнуться, но у него не получилось.

— «Милый дедушка, сделай божескую милость, возьми меня отсюда домой, на деревню, нету никакой моей возможности...»

— Что так? — насторожился Антон Семёнович.

— «Я буду тебе табак тереть, богу молиться, а если что, то секи меня, как Сидорову козу...»

— Не балагуры! — Их связывала дружба, которая позволяла перейти прочно на «ты», но такое они позволяли себе лишь иногда, обычно сохраняя некоторую дистанцию в отношениях.

— «...А скука такая, что и сказать нельзя, всё плачу, — не останавливался Терский. — Пропадающая моя жизнь, хуже собаки всякой...» Чувствую, Антон Семёнович, натворю глупостей...

— Это ты мастер.

Десять лет назад Терский пришёл в колонию имени Горького — такой же колючий, неудобный и задиристый, какой высокий и худой. Но это отличие его от других таяло, тонуло в тех качествах, которые делали Терского

совершенно необходимым в коллективе. Кажется, не было на свете того, о чём он не знал бы и чего не умел. Незаурядный художник, декламатор, писал стихи, знал чуть ли не все на свете игры — и спортивные, и неспортивные. Новый организатор клубной работы внёс в жизнь коллектива столько мажорного настроения, юмора и фантазии, что Антону Семёновичу не раз приходила на ум мысль: да что бы он делал без Терского! Колонию, а позже и коммуны имени Дзержинского, куда Терский перешёл вместе с ним, постоянно захламляли очередные затеи: импровизированные спектакли на злобу дня, невиданные, величиной в несколько десятков метров стенгазеты, конкурсы смекалки, повальное увлечение горлётom (так называлась изобретённая им игра — нечто среднее между лаптой и городками), масса кружков — технические, литературные, изо, смотры, представления, — в этих делах Виктор Николаевич, что называется, съел не одну собаку. Словом, Антон Семёнович ценил Терского, как ценил немногих, и делал всё, чтобы его уникальный талант был защищён от того, что ему мешало.

А защищать надо было постоянно. Прежде всего потому, что Терский с возрастом не утратил ни на йоту своей, очевидно, врождённой ребячливости, считал, что взрослые люди никогда не поймут пацана именно потому, что они взрослые, делая исключение только для самого себя. И действительно, он не просто растворялся в их среде и нёс в себе все самые замечательные цвета и оттенки детства. И пацаны шли за ним, потому что был он для них то же, что и они сами. Со взрослыми же Терский, если бы его постоянно не сдерживали, рассорился бы мгновенно, причём со всеми подряд. Особенно с «педагогическим начальством», к коему принадлежал и Макаренко. К примеру, он извергался, как вулкан, когда от него требовали планы работы.

— Какие могут быть планы? Вы что? Нужно жить так, как живётся. Игра — это жизнь, а жизнь — это творчество. Ну как это можно запрограммировать творчество, скажите на милость? — искренне удивлялся он на педсовете, когда его попытались вразумить.

Пробовали на него «нажать» — тогда он и вовсе взрывался:

— Шкрабы несчастные! Потому от вас дети и шарахаются, как от чумных! Планы! Планы... Не умею я по планам!

Антон Семёнович стойко и терпеливо отучал Терского от анархизма. Терский нехотя отступал, но затем всё равно брал реванш какой-нибудь очередной выходкой. То вдруг, вопреки всяким соображениям режимного характера, стал по ночам уводить воспитанников за пределы колонии и у костра рассказывать им сказки. То вдруг у пацанов обнаружился неистребимый интерес к кабанам, которые якобы появились в окрестностях Куряжа и за которыми однажды ночью, в обход запрета покидать колонию без разрешения, не поставив в известность никого из руководства, ушли охотиться под водительством Терского новоявленные зверобои. Антон Семёнович был, разумеется, против затей, носивших характер элементарных хохм. Но в глубине души он чувствовал, что за всем этим кроется тот неподдельный аромат счастья и радости, которые так необходимы всякому человеку, а уж колонисту, обделённому в их жизни многим, тем более. Потому «снял стружку» с Терского скорее для виду. Терский же принимал даже и снисходительные упрёки как ущемление его прав организатора клубной работы.

Взаимопонимание воцарилось, когда однажды Терский был назначен дежурным педагогом по коммуне. Было это ещё в самом начале — позже дежурили сами воспитанники. Вечером Терский, сдавая дежурство, сделал в толстой книге дежурств короткую, ни о чём не говорящую запись: «Всё в порядке». Антон Семёнович, прочтя столь формальный отчёт, заметил, что вряд ли подобное возможно. Сутки коммуна жила не такой уж простой жизнью, произошло множество событий, которые имеют с педагогической точки зрения важное значение. Антон Семёнович знал, например, что совет командиров отказал в каких-то просьбах клубным активистам, и Терский пригрозил совету «припомнить»... Знал и о том, что в середине дня дежурные вынуждены были оторвать десяток пацанов, занятых в кружках у Терского, на какие-то хозяйственные дела, вызвав в Терском бурю возмущения.

— Разве так уж всё и прошло спокойно? — спросил он у Терского.

Тот вспыхнул, чуть ли не вырвал тетрадь из рук Макаренко и ушёл вместе с нею к себе домой. Через два часа вернулся. В тетради на нескольких страницах злым размашистым почерком было написано всё, что Терский думает о бюрократах вообще и о бюрократах в коммуне в частности.

Он не отказал себе в удовольствии учинить критику и в адрес отдельных педагогов, и в адрес совета коммуны. Несколько сердитых реплик предназначались правлению. Досталось и самому Макаренко. К тетради приложил ещё и письмо лично Антону Семёновичу, где содержалась вовсе отборная ругань, правда, подкреплённая солидными аргументами, вескими доказательствами. Терский был зол и шёл на конфликт сознательно, уже не столько из чувства справедливости, какую он её себе представлял, сколько из принципа. Как говорится, закусил удила...

Каково же было его удивление, когда на другой день в тетради, лежащей на столе у Макаренко, увидел после своей записи пространную резолюцию Антона Семёновича, в которой говорилось, что дежурство Терского было образцовым с точки зрения внимательного отношения к происходившим в коммуне событиям, а главное — правильных и справедливых выводов, сделанных педагогом. А когда они оба оказались наедине, Антон Семёнович протянул ему руку и примирительно сказал:

— Спасибо за откровенность.

Что касается требований активистов Терского, то в тот вечер они прошли через совет командиров, как говорится, без сучка без задоринки.

Словом, Антон Семёнович ценил Терского и делал всё, чтобы этот ключий, неуступчивый человек был уважаем и ценим всеми.

В свою очередь, и Терский видел в Макаренко качества, за которые любил его самой преданной и горячей любовью. Немного, знал он, встретишь в детских учреждениях людей, которые даже и отдалённо способны быть похожими на Макаренко. Ведь мало вымыть, остричь ошетинившегося дикарёнка, оказавшегося после улицы в колонии, одеть его в приличную одежду и удержать здесь. Надо понять его душу, интересы, уметь считаться с ним, принять его в своё сердце, стать другом, причём таким другом, который способен повести к большой цели. Его прямо-таки заворожила с первого знакомства способность Макаренко просто, незаметно скреплять такой неоднородный состав взрослых и воспитанников общей перспективой, делать так, что пацанов воспитывали не педагоги, а сама разумно организованная им жизнь.

Не последнюю роль играло и то, как умел Антон Семёнович заботиться о других людях. Когда переехали

из Куряжа в коммуны, он спросил у Виктора Николаевича:

— Что нужно для работы и для тебя лично? Виктор Николаевич сказал, что в связи с частыми заболеваниями лёгких ему была бы желательна квартира с ванной. Такая в коммуне была всего одна. Что там и как было сделано, Терский не знал и не интересовался. Но квартиру с ванной дали ему...

Ещё более внимателен и бережен Антон Семёнович был к детям.

Виктору Николаевичу никогда не забыть случая, когда однажды, ему пришлось устыдиться до такой степени, что после всегда тормозил свои поступки воспоминанием о нём.

По просьбе Антона Семёновича он получил в Харькове деньги и счета. Вернувшись в коммуны, пришёл к нему в кабинет и стал вынимать всё это из карманов. Макаренко сдержанно улыбался: до чего же человек может быть безалаберным! Но тут он увидел среди денег и счетов какие-то листочки.

— А это что?

— Это? А, пустяки — ребячьи решения к последнему конкурсу смекалки.

— Как! — вскричал Макаренко. — И это вы называете пустяками!

Терский молчал.

— Ну ладно, вместо портфеля кладёшь ценности и важные бумаги по карманам. Потерял бы, сам и ответил. Ну а если бы посеял листки с ребячьими решениями? Не понимаешь? Ребёнок старался, вкладывая в решение свою душу, а взрослый человек так наплеватьски... Это преступление, если хочешь!

...Всё это было далеко-далеко, но сейчас, глядя друг на друга, и Виктору Николаевичу, и Антону Семёновичу — обоим не хотелось выходить из тёплой реки воспоминаний.

— Что случилось? — спросил Макаренко. — Время от времени кое-кто из коммунаров заглядывает, и так слухи доходят — тревожно мне за коммуны.

Раньше ему казалось, что уйдя он из коммуны — сложившаяся там система воспитания будет работать и без него, вопреки чему бы то ни было. Коллективный инстинкт коммунаров, их коллективная воля, традиции, складывавшиеся почти десять лет, — всё это не позволит никакой разрушительной ломки. И вот:

— Плохо, Антон Семёнович. Не говоря уж о главном, по пустякам задёргали... На прошлой неделе привезли велосипеды. Ну, Берман вообще очень активен и всё пытается показать, что при нём будет гораздо лучше, чем при Макаренко. Бот, видите ли, велосипеды. Та-акая роскошь! Ну, привезли, надо осваивать... Я говорю в совете: «Давайте научим ребят сборке и разборке». Все согласились. Только на другой день приступили — тут как тут Берман. «Это ещё что такое? Зачем ломаете?» И как я ему ни доказывал, что дешевле пусть даже привести в полную негодность одну машину, но научиться регулировать, устранять простые неисправности, чем импровизировать со всеми двенадцатью кто во что горазд, — не понял, хотя что ж тут понимать. «Это вы, — говорит, — специально мне палки в колёса вставляете». Ссылаюсь на решение совета — он в ответ: «Кто тут командует и распоряжается — совет или Берман?» Он нисколько не уважает воспитанников. Любимая поговорка у него: «Так ты, кое из чего, сундук сундуком, и крышка закрыта!» А ещё: «Мы тут не в бирюльки играем, а преступников перевоспитываем!»

Антон Семёнович был противником перевода в Харьковскую коммуну из аналогичной коммуны Бермана и Адамовича. Один был начальником в Прилуках, другой возглавлял педагогическую часть. Ну пусть бы работали там, считал Макаренко. Среди дзержинцев достаточно людей, способных без всякой перестройки повести дело, начатое им, Макаренко, дальше. Но Ахматов возразил тогда:

— Антон Семёнович, есть некоторые соображения высшего порядка. Там, — он указал пальцем на потолок. — Я когда-нибудь вам расскажу обо всём.

«Когда-нибудь» всё откладывалось, и Антон Семёнович понял, что от него что-то просто-напросто скрывается...

С подносом в руках вошла в гостиную Галина Стахивна.

— Тося, может, съездить тебе в Харьков? — осторожно спросила она, словно присутствовала при разговоре, который произошёл в её отсутствие. — Виктор Николаевич тут без тебя рассказывал — мороз по коже! Это что же они удумали? Взорвать коллектив изнутри?

— Провоцируют! — горячо воскликнул Терский.

— То есть? — вскинул брови Макаренко.

— Месяц назад в коммуне открыли карцер.

— Что-о? Карцер?.. — Антон Семёнович уже

приподнимался с дивана, чтобы пройти к столу, но тут почти упал на прежнее место. — Вы шутите?

— Какие уж тут шутки, Антон Семёнович, — махнул рукой Терский.

— Ну ладно, разговоры разговорами, а чай стынет, — сказала Галина Стахиевна. — Пересаживайтесь. Я вот тут новый пирог изобрела. Попробуйте. Ленивый бисквит называется.

С переездом в Киев Галина Стахиевна с увлечением занялась домашним хозяйством, пытаясь создать комфорт для Антона Семёновича. Впрочем, особого внимания к еде он, к сожалению, не проявлял. Но сегодня его вдруг словно бы подменили:

— О, да ты, Галя, скоро станешь кулинаром и кондитером прямо не хуже парижских!.. Что это? А, клубничное, моё самое любимое... Что, нынешнего года?

Застолье, словно мягкая подушечка, смягчало боль, в который раз за сегодняшний день заполнившую грудь. Сердце становилось никуда не годным. Тем не менее он лихорадочно думал о делах коммуны.

— Я думаю, что Берман сводит счёты, — отпив маленьким глотком чай, произнесла Галина Стахиевна.

— Зачем это ему нужно? — спросил Антон Семёнович. — И потом, это ведь можно сделать как угодно ещё. Причём здесь дело, воспитанники?..

— Как же плохо ты знаешь людей, Тосенька! — вздохнула Галина Стахиевна.

— Нет, такое невозможно, — убеждённо проговорил Антон Семёнович, отвечая Галине Стахиевне. — Берман много лет работает с детьми, он не может быть вероломным...

— Это ещё ничего не значит, Тося, — заметила Галина Стахиевна.

— В другом деле, может, и не значит. А в нашем — очень много. На всю страну наберётся не более пяти начальников колоний, которые выдержали бы этот адский труд хотя бы два-три года. Зайдите в любое учреждение, поспрошайте народ, кто где работал раньше, и узнаете, сколько бывших начколов проглотили торговые, кооперативные, наркомпросовские организации... А Берман тянет эту лямку уже десятый год...

— Вы что, оправдываете его? — спросил с недоумением Терский.

— Нет, не оправдываю. Стараюсь понять.

— Да как же понять такое! Он делит коммунаров на способных и неспособных, у него тотчас появились любимчики, на педсоветах то и дело слышишь: «дефективные», «отсталые»...

— Тут дело не в Бермане.

— А в ком же?

Макаренко молчал. Терский повторил вопрос.

— Не в ком, а в чём, — нахмурился Антон Семёнович. — Сейчас не только к детям — ко всем стали относиться жёстче. Что же касается исправительных учреждений, то в них всё заметнее тенденция к ужесточению режима, большей изоляции заключённых. И Берман, очевидно, чутко уловил эту тенденцию, а уловив, старается действовать, как говорится, в духе нового.

— Тенденция? — переспросил Терский. — К ужесточению режима? Почему? Разве сейчас в стране особое положение? Война? Кому нужна такая тенденция? Из чего выросла?

— Это другой вопрос, — Антон Семёнович уклонился от прямого ответа. — А Берман, кроме того, вырос на дрожжах педологии. Потому ему и непонятно, как это вчерашние правонарушители, так сказать, второй сорт людей, сами вершат судьбу учреждения.

— Значит, его поведение санкционировано? — не отступался Терский.

— Нет, конечно, но тенденцию он уловил тонко.

— Не пойму я вас, Антон Семёнович.

Макаренко было непросто объяснить верному своему сподвижнику всю противоречивость чувств, которые он испытывал от невесёлых известий, которые тот привёз. Поправить Бермана, наверное, можно. Хотя, как сказать. Кто-то из сослуживцев однажды кинул фразу: «Ну, Берман непотопляем. У него такие тылы в союзном наркомате!..»

Что за этими словами стояло реального, Антон Семёнович не знал, но, видно, действительно стояло, иначе бы тот не кичился так откровенно. Но как об этом сказать пылкому Терскому? «Ну и ударьте по тылам!» — скажет он, потому что ему, к счастью, неизвестно, что такое подводные аппаратные течения, и, кажется, он совершенно не понимал сил и влияний, которые не только коммуны — всю жизнь сейчас ставили с ног на голову. Кроме того, прямое вмешательство Макаренко в дела дзержинцев имело бы ту неприятную сторону, что тогда его вправе будут упрекать в предвзятости, ревности, необъективности. Сам же он и трубил во все трубы,

что его личный вклад в развитие коммуны ничтожен и главная заслуга принадлежит правлению. А правление осталось почти в том же составе, разве что без Броневого. Значит, тоже отпадает. Для дела нужен иной ход. Какой?

Он угадал настрой мыслей Терского.

— Антон Семёнович, — сказал тот, — я не вижу причины вам самому не одёрнуть его. Что же, даром, что ли, вам в петлицы ромб дали? На армейские табели переводя — комбриг...

— Виктор...

— Я не узнаю вас, Антон Семёнович! Ведь ваше детище трещит по швам!..

— Не преувеличивай. Коммунары не позволят.

— Антон Семёнович!!!

— И всё же не спеши с выводами... Как говорят украинские хитроумные дядьки, «це дило трэба розжуваты». Я приеду. В самое ближайшее время. Кстати, есть и повод — очередной выпуск коммунаров... А до того времени продержитесь. А? Виктор! Продержитесь!

Как ни дорога была ему коммуна — действительно детище, но он думал сейчас не только о ней. В который раз уже пришла в голову мысль о тщетности его усилий создать в детских учреждениях НКВД такое положение, когда всякий произвол по отношению к воспитанникам был бы просто исключён...

— «Продержитесь», — буркнул Терский в ответ на слова Антона Семёновича. — Берман узурпировал власть и измывает отношения до выяснения поступков, даже самых мелких. Я уже ловлю себя на мысли, что стараюсь не обращать на него внимания, но он-то сам обращается, а не отвечать нельзя — не вежливо! А всё, что он говорит, — сплошная педагогическая ересь. Сорван коллективный тон в коммуне, Антон Семёнович! Сорван!

— Когда же он успевает? Сколько мне известно, сейчас в коммуне проблема с кадрами инженерно-технического персонала. И Берман деятельно этим занимается.

— Всё так. Но набирают случайных людей. И не только инженеров и техников, но и рабочих. Роль коммуны в производстве всё менее и менее заметна.

— Вот это уже серьёзно. Если производственники слабо ощущают свои педагогические задачи, вред для основного дела огромный!..

...Они долго говорили ещё так, пока за окном не заголубело и Галина Стахивна, устало размыкая веки, не спросила:

— А что, если перенести часть разговора на утро? А?

— Да, может быть, — согласился Антон Семёнович. — Утро вечера мудренее.

Галина Стахивна принесла в гостиную бельё и постелила Терскому на диване. Антон Семёнович был уже в спальне, и она успела шепнуть Терскому:

— Не огорчайтесь, Виктор Николаевич. Конечно, Антон Семёнович этого так не оставит. Только... Вы заметили?... Он в последнее время какой-то весь внутри себя... Не пойму...

Конечно, заметил. Он слишком давно и хорошо знал Макаренко, причислял его к числу тех редких людей, которые действуют, даже когда заведомо знают, что действия их не приведут к успеху. Всегда бросается на противника, как медведь, ломаясь часто напролом. А тут... Неужели взял в свою веру заповедь: «Плетью обуха не перешибёшь»?

На протяжении всего разговора Терского всё время подмывало обратиться к Макаренко с вопросом, который волновал его ничуть не меньше, чем положение в коммуне. Это было второй причиной, которая привела его в Киев, к Макаренко. Туманные намёки Антона Семёновича об ужесточении карательной практики были удобным поводом осуществить задуманное, но он почему-то не посмел продолжить тему и теперь жалел об этом.

Тут в комнату заглянул Антон Семёнович.

— Ну, спокойной ночи, Виктор!

— Антон Семёнович! Пойдите!

Он достал из пиджака, повешенного на спинку стула, вчетверо сложенный листок.

— Я хотел бы вам дать почитать нечто... Вы помните дело Рютина?

Кто ж не помнит! Известный большевик с дореволюционным подпольным стажем, крупный теоретик партии, редактор «Красной звезды», член Президиума ВСНХ СССР, председатель Управления фотокинопромышленности, кандидат в члены ЦК. И вдруг — сообщение в печати, что Рютин исключён из партии «за двурушничество», «за дискредитирование партийного руководства».

Макаренко взял из рук Терского листок, исписанный мелким почерком, и присел за стол.

Первые же строки заставили его вздрогнуть.

— Откуда у тебя это?

— Гуляет по спискам...

— Ты понимаешь, что значит — хранить это?

— Понимаю, Антон Семёнович. И всё-таки прочтите.

Листок бумаги был порядком истрёпан. Значит, подумал Антон Семёнович, он не первый, кому доверено читать эти леденящие душу слова. «Партия и пролетарская диктатура Сталиным и его свитой заведёны в невиданный тупик и переживают смертельно опасный кризис. С помощью обмана и клеветы, с помощью невероятных насилий и террора, под флагом борьбы за чистоту принципов большевизма и единства партии, опираясь на централизованный мощный партийный аппарат, Сталин за последние пять лет отсёк и устранил от руководства все самые лучшие, подлинно большевистские кадры партии, установил в ВКП(б) и всей стране свою личную диктатуру, порвал с ленинизмом, стал на путь необузданного авантюризма и дикого личного произвола...»

— При чём тут Рютин? — спросил Антон Семёнович.

Текст этого обращения приписывают ему. «Авантюристические темпы индустриализации, влекущие за собой колоссальное снижение реальной заработной платы рабочих и служащих, непосильные открытые и замаскированные налоги, инфляцию, рост цен и падение стоимости червонцев; авантюристическая коллективизация с помощью раскулачивания, направленного фактически против середняцких и бедняцких масс деревни, и, наконец, экспроприация деревни путём всякого рода поборов и насильственных заготовок, — привели страну к глубочайшему экономическому кризису, чудовищному обнищанию масс и голоду...»

Чтение заняло несколько минут. Антон Семёнович время от времени возвращался к одной и той же мысли: утверждения Рютина в чём-то сходились с его догадками. «Всякая живая, большевистская, партийная мысль угрозой исключения из партии, снятия с работы и лишением всех средств к существованию задушена; всё подлинно ленинское загнано в подполье; подлинный ленинизм становится в значительной мере запрещённым, нелегальным учением. На партийную работу вместо наиболее убеждённых, наиболее честных,

принципиальных, готовых отстаивать свою точку зрения членов партии выдвигаются люди бесчестные, беспринципные, готовые по приказу начальства десятки раз менять свои убеждения, карьеристы, льстецы и хитруны».

Он дочитал письмо до конца, свернул, как было, вернул Терскому.

— Всё это и больно, и тяжело. Ты, конечно, хочешь услышать моё мнение... А у меня его, увы, нет.

— То есть как нет! — полушёпотом возмутился Терский, стараясь не разбудить домашних Антона Семёновича. — Такая кровавая карусель, и вы не имеете на неё точки зрения? Не верю, Антон Семёнович! Первый раз в жизни вам не верю!

— Да, происходит нечто ужасное! Настолько ужасное, что даже тебя, педагога по положению, вдохновению и намерениям, человека, далёкого от политики, и то проняло вон как.

— Вот именно! А вы работаете в НКВД, вам должно быть известно больше, чем мне!

— И всё-таки ты переоценил меня: я не оракул. Да, внешний рисунок мне виднее. А изнутри... Боюсь, что этого не понимает никто. Общество мучается в каких-то смутных поисках, в конфликтах, и, честно говоря, я не могу встать ни на какую сторону, если эти стороны и есть... Я думаю о детях — их нужно уберечь от этого.

— Вы всегда говорили, что педагогика школы — это педагогика всего общества, как же теперь разделить их?

— Тяжёлый вопрос ты задаёшь мне, Виктор!

— Тяжёлый. Я хочу знать, как жить. И этот вопрос мучает не одного меня. Если хотите, я верю Рютину! И в то же время не могу не верить тем, против кого он выступал. Как же так? Вчера такие люди, как он, как Каменев и Зиновьев, были «людьми особого склада» — так их называл Сталин. И вдруг — враги. Кто же они — люди особого склада или враги? Не окажется ли завтра, что, к примеру, уважаемый нами Всеволод Аполлонович Балицкий, член ЦИК страны, член ЦКК, а теперь, после Семнадцатого съезда, член ЦК, легендарная личность, кавалер пяти орденов, тоже окажется во все не человеком особого склада, а чем-то другим?..

— Почему ты заговорил о Балицком?

— Да потому, что вопрос о Рютине решался на президиуме ЦКК и наш нарком Балицкий должен был там присутствовать.

Антон Семёнович сидел, закрыв глаза. Слегка кружилась голова. Терский залез прямо в рану, и без того саднящую день и ночь.

Он с усилием внутренне встряхнулся. Посмотрел на Терского. Глухо проговорил:

— Знаешь, мне моё, да и твоё, и ещё многих людей состояние чем-то напоминает семнадцатый год. Тогда мы тоже ничего не понимали. Понимание пришло позже. Видно, должно пройти время, чтобы мы могли вполне оценить и сегодняшние события...

— Я в семнадцатом всё понимал. И всю гражданскую воевал, вы же знаете. Заведовал красноармейским театром, между прочим, и не беляков развлекал. У меня была позиция. И сейчас я хочу, чтобы она была.

Антон Семёнович побледнел.

— Позиция... Я ведь не о ней... Ты спросил, как я оцениваю, как понимаю происходящее...

— Да бог с ней, с оценкой, Антон Семёнович! Я чувствую, что мир раскалывается надвое, и я хочу знать, где мне быть.

Резкий, категоричный, Терский в своём абсолютизме был невольно жёсток. Антон Семёнович подумал, что тем не менее Виктор Николаевич в чём-то честнее его и перед самим собой, и в тех поисках истины, которые позволяют идти на риск, читая и возя с собой неведомо откуда взявшееся у него письмо Рютина. И всё-таки...

— Ты хочешь усовестить меня?

— Да нет, — пожал плечами Терский.

— Ты несправедлив ко мне. Мне сейчас вспомнилась одна старая притча, слышал её ещё в детстве, от отца... Третий день отец с сыном ходят по одной и той же дороге, и каждый день взрослый больно ударяется о лежащий посреди дороги камень. Отец учит сына: «Смотри внимательно, сынку, надо обойти камень». Но однажды камня на дороге не оказалось. Его убрал старик. Малыш беседует с ним: «Вы тоже споткнулись и ушибли ногу?» — «Нет, я не споткнулся и не ушиб ногу». — «Почему же вы убрали камень?» — «Потому что я человек». Мальчик остановился в раздумье. «Тату, — спросил он, — а разве вы не человек?..»

— Вы хотите сказать этой аллегорией...

— Вот именно. Мне близка философия, близок образ действий этого старика из притчи. Я стараюсь поступать так же...

Уже засыпая, Терский вспомнил счастливую историю,

которая не имела никакого отношения к тому, о чём только что говорили. История давняя, ещё из похода коммунаров на Кавказ... Ну до чего же просто Макаренко мог творить вокруг себя счастье, тот бодрый тон, которым коммунары гордились и которым дорожили!

В Сочи одного из коммунаров обокрали, когда тот со своими пятью рублями карманных расходов появился на рынке. Какое-то время коммунар таил пропажу, боясь прослыть раззявой. Но разве можно в коммуне утаить хоть что-то!

Не будь среди пацанов таких, кто и сам когда-то «тоже вроде того», это событие прошло бы маленьким огорчением. Но тут, что называется, заело!

И вот идёт по тому же рынку малыш, разевая рот на все прилавки, а из кармана торчит купюра. Вот уже за ним пристроился некто в надвинутом картузе. И только купюра оказалась в его руке, как он мгновенно очутился в кругу крепких, рослых парней, держащих его словно стальными обручами:

— Спокойно!

Почти десяток карманных воров за какие-нибудь полчаса отловили на базаре коммунары. Ещё бы отловили, да не оставалось времени до отхода поезда. Милиционеры никак не хотели расставаться с коммунарами, пришли на вокзал провожать и всё цокали языком:

— Вай, какие джигиты! Оставайтесь!

Пацаны залиvisto хохотали, обещая приехать ещё, если в городе станет совсем невмоготу от карманных воров.

Антон Семёнович обладал удивительным талантом творить подобные ситуации. Ведь дело было, конечно, не в том, что ротозеистый малыш-коммунар оказался как бы отомщённым. И не в том, что походя коммунары постарше помогли местной милиции. И даже не в прелести этого мимолётного приключения со счастливым концом. Какая же пропасть разделяла этих юных вершителей добра и справедливости от тех, какими они были совсем недавно! Более того — они не видели в задержанных рыночных ворах прежних себя, глядели на них через эту самую пропасть и удивлялись: ну надо же, вот же чудачки, ну как же можно — красть!

Терский не знал другого человека, который мог бы, подобно Антону Семёновичу, возвышать человека так,

что дух захватывало. И сегодняшняя приземлённость суждений Макаренко, его покорность даже удивили.

Не спалось в эти минуты и Макаренко.

Его никогда не останавливали препятствия, если была чётко видимая цель. Напрягал шею, поудобнее прилаживал ляжку — и тянул, тянул, тянул... Это всегда было самым надёжным способом действий, и он следовал бы ему и дальше, если бы поле его деятельности ограничивалось по-прежнему одним-единственным учреждением. Там этого было достаточно.

А сейчас он напомнил самому себе крестьянина, который стоит посреди степи перед плохо смётанным стогом: со всех сторон дуют сильные порывистые ветры, а он бессилён не только угнаться за каждым выдернутым ветром стебельком, — но удержать даже огромные пучки соломы, которые тот безжалостно вырывает из стога и уносит в никуда.

Да, никогда жизнь его не была пирогом с маком. А нынче и вовсе стала горькой. Терский кивнул на ромб в петлице. Вряд ли обдуманно. Кому, кому, а уж ему-то известно, как мало интересовали Антона Семёновича престиж, звания... Не интересовали бы совсем, если бы время от времени не мелькала ехидная мысль, что как начальник, допустим, той же колонии имени Горького он вынужден был подчиниться любому некомпетентному должностному лицу, а став помначем отдела НКВД, сам может руководить, приказывать, управлять. Однако же вот какие метаморфозы происходят с ним! Приезжает друг, сподвижник, последователь и осыпает упрёками, заслуженными и незаслуженными... Значит, что-то он делает неправильно?

Он так бы и лежал с закрытыми глазами ещё долго, разговаривая сам с собой или продолжая диалог с Терским, но тут услышал вдруг нежный стрекот, доносившийся с балкона через открытую дверь. Неужели сверчок? Да нет, как бы выжил в самом центре такого огромного города? Конечно, цикада. Ишь ты, прямо концерт, симфония, сколько радости! Как же ты, милая стрекотуха, смогла преодолеть такое немыслимое расстояние от пригорода, зачем прискакала в это царство камня и асфальта? Как же не раздавили, не затоптали тебя?.. Ну стрекочи, стрекочи, выплясывай свою радость! Тебе легче, у тебя нет ни души, ни разума, которые могут у человека оказаться словно бы под тяжёлой колодой.

Замнаркома долго и подробно расспрашивал Ахматова о работе отдела. Вопросы были настолько разнохарактерные, что Лев Соломонович никак не мог взять в толк, зачем его вызвали. Наконец прояснилось:

— Я хочу вам доверить одно досье, Лев Соломонович, — сказал замнаркома, — Как говорится, совершенно конфиденциально. Понимаете? Пробежитесь по нему. После обменяемся мнениями.

Возвращаясь к себе в отдел, Лев Соломонович нёс под мышкой папку — аккуратно завязанные на три белые тесёмки коленкоровые корочки с хорошо знакомым каждому сотруднику НКВД грифом в правом верхнем углу — и, как казалось ему, безошибочно знал, что внутри. Дело в том, что замнаркома говорил о ком и о чём угодно, но только не о Макаренко, не о Броварах, не о детских колониях.

Он не ошибся. Сложенные в папку документы были действительно так или иначе связаны с Макаренко. Здесь были соображения Антона Семёновича о детской трудовой коммуне имени Дзержинского, составленный им план педагогической работы в ней, различные варианты предложений в правление коммуны, несколько записей докладов и выступлений на советах командиров коммуны, на правлении, на всевозможных комиссиях, копии выступлений в наркомате, докладные записки и ещё много всякого бумажного добра.

Ахматов внимательно вчитывался в разнокалиберные листки, отпечатанные на машинке или написанные чётким, понятным почерком, и пока ещё никак не представлял, кто и зачем собрал всё это вместе. Обычные рабочие документы, не содержащие никакого криминала.

Но вот взгляд упал на броский заголовок очередной бумаги: «Замечания к акту обследования коммуны имени Ф. Э. Дзержинского». Ахматов взглянул в конец: подпись Макаренко. Вернулся к началу. «Просим комиссию по обследованию коммуны имени Ф. Э. Дзержинского внести в акт обследования некоторые поправки, которые, по нашему мнению, необходимы для исправления неточностей, ошибок и искажений, вкравшихся в акт».

Ахматов хмыкнул. Надо знать Макаренко, чтобы понять, сколько сарказма вложено в это «вкравшихся».

Итак, что же, по мнению Макаренко, в акт «вкралось»?

«В акте констатируется пополнение коммуны юношами, имевшими уже самостоятельный заработок или источник существования. Замечание акта высказано в такой форме, как будто в данном случае коммуна нарушила определённое правило.

Наши замечания. Приём в коммуну согласно существующим указаниям производится только с улицы. В каждом отдельном случае приём мальчика или девочки является предметом забот о нём многих лиц или организаций, в том числе и коммуны. Выяснение обстоятельств жизни отдельного кандидата производится, конечно, не по одному признаку, а по многим, между которыми «источник существования» является не главным. Можно найти многих беспризорных, которые имеют «источник существования», кроме воровства. Сплошь и рядом бывает, что наряду с существованием такого источника мальчику просто негде ночевать. К примеру, та же Курьянова имела заработок потому, что первоначальным видом помощи в её беспризорности захотели сделать работу курьера в ГПУ, но спать она могла только на столе в том же ГПУ. Таким был и наборщик Зайцев».

Так. Ну и что? Макаренко, безусловно, прав. Что же дальше? И в следующем пункте правда за ним. И в этом. Как и зачем попал этот документ, а вместе с ним и все другие на стол заместителя наркома?

Вчитываясь в «Замечания», Ахматов заметил наконец, что язык акта обследования уж если не был совсем некорректным, то и вежливым и доброжелательным назвать его тоже было нельзя.

«Бракосочетание в коммуне приняло обыденный характер и легализуется, о чём отдаётся приказ: снимается с довольствия коммунарка Двинская как вышедшая замуж...»

И Макаренко за словом в карман не лезет: «Считали бы необходимым уточнить выражения, чтобы было видно, что рекомендует комиссия: придачу ли браку нелегального характера, или репрессии к желающим вступить в брак, или скрывание этого бесстыдного поступка от коллектива? Без принципиальных установок заново коммуна не может изменить своей политики по отношению к желающим вступить в брак. До получения таких установок нам необходимо руководствоваться общими советскими законами, не рассматривающими брак как преступление».

Несколькими абзацами позже Ахматов нашёл ещё одно отражение той же или почти той же темы.

«Половое воспитание.

...Верно, подошли неподготовленными. Мы это и сами признаём, однако вовсе не в том смысле, в каком это определяется комиссией. Мы в такой же степени не подготовлены, как и сама комиссия, как и вся наша педагогика, как вся мировая педагогика.

В целом Союзе, а может быть, и во всём мире наша коммуна — единственное учреждение, где взялись за совместное воспитание юношей и девушек в условиях общего интерната и даже больше — в условиях общего коридора спален.

Справились ли мы с этой грандиозной задачей? Конечно, в полной мере не справились, мы ещё не выработали окончательного метода работы в этом направлении. Мы как раз находимся в разгаре этой сложнейшей и труднейшей операции, и мы имеем все основания ожидать от всех внимания к этой работе, поддержки и уважения».

Рассказав, как и что конкретно делается в коммуне в этой области, Макаренко подводит итог: «Наши достижения в разбираемом вопросе мы видим в следующем: мы удержались на линии морального влияния, не перейдя на линию внешнего подавления; мы не допустили в коммуне сколь-нибудь заметных беспорядочных половых отношений, локализовав половое влечение в границах отдельной пары и соединив его с началом дружбы; мы сильно сократили количество пар и почти приостановили образование новых; мы сделали почти непреложным положение, что любовь оканчивается *браком*. Это сообщило вопросам любви начало ответственности и значительно увеличило число сдерживающих, тормозящих стимулов; мы окончательно ликвидировали наклонности к проституированию и в одном случае брака добились возбуждения материнского чувства.

Разумеется, трудная и сложная работа в этой области не может избежать форм индивидуальной обработки. Как раз в сфере личности половое влечение проявляет себя часто вторичными формами: понижением интереса к коммуне, учёбе, раздражительностью, у девочек это особенно сложно...»

Надо же было так усердничать проверяющим: сорок

пять критических замечаний в адрес учреждения, едва ли не самого лучшего в стране среди подобных. И сколько же надо было иметь Макаренко терпения, чтобы пункт за пунктом разъяснять ошибочность оценок.

Лев Соломонович обратил внимание на последние замечания.

«В разгар проработки материалов съезда, — констатировала комиссия, — педчасть затеяла всестороннюю проработку оперы «Евгений Онегин».

Да, по нынешним временам это был бы не упрёк, а вполне политическое обвинение. Прими кто его всерьёз, многим бы в коммуне несдобровать. И прежде всего Макаренко. Но всё же принята была, очевидно, точка зрения Антона Семёновича, едко заметившего: «Эта самая проработка, между прочим, и отмечена только как одно из преступлений педчасти. Другой формы внимания эта работа коммуны не заслужила, очевидно, потому, что эта работа представляется аполитичной, ибо здесь Пушкин.

Проработка темы «Е.О.» есть тоже работа по повышению политического уровня. Чрезвычайно печально, что это само собой непонятно.

Фактически педчасть не «затевала» проработки «Е. О.» в разгар проработки материалов съезда. Проработка «Е.О.» была закончена, когда началась проработка материалов съезда. Осталось только одно заседание, которое было проведено между работами по съезду, не сорвав ни одной минуты этой работы.

Особенное внимание нужно обратить на слово «затеяла». Коммуна имени Дзержинского, направляемая затеями, едва ли может надеяться на какие-либо успехи».

Нет, видать, никогда не пёкся Антон Семёнович о своей репутации! Ну что бы было согласиться! Ну, не подумали, мол, с выводами комиссии согласны, исправимся, больше не будем. Или что там ещё в таких случаях говорится? Так нет же — доказывал, что проработка «Евгения Онегина» — не случайность, мало того — что это часть системы, которой не увидела — хотя должна была — комиссия. Каково проглотить все эти горькие пилюли членам комиссии! Едва ли, уезжая из коммуны, прощались с Макаренко с дружескими чувствами. Это уж как пить дать!

И словно последний гвоздь в крышку гроба, куда,

по Макаренко, следовало бы сложить выводы комиссии, — его последний комментарий. Цитата из акта обследования: «Работа коммуны на протяжении длительных периодов никем не проверяется и, следовательно, не подвергается критике. Коллектив коммуны больше привык к похвалам». А вот как отреагировал на неё Макаренко: «Как раз наоборот. Нас хвалят только простые посетители. А для ревизий коммуна — самое лучшее упражнение в критике, и ни одна ревизия от этого не отказывалась. В 1933 году нас основательно и довольно длительно ревизовали дважды: специальная комиссия Наркомпроса и комиссия ГПУ СССР. Каждая такая ревизия выбивает нас из нормальной работы примерно на месяц. Два месяца в году, нам думается, достаточно...»

Ахматову всегда казалось, что работа Макаренко в коммуне протекала несравненно счастливее и спокойнее, чем в колонии имени Горького. О своих противоречиях с наркомпросовцами Антон Семёнович достаточно убедительно рассказал в «Педагогической поэме» и так нет-нет да и подкинет деталь-другую из прежних баталий с ними. Что же касается его службы в НКВД, начиная с прихода в коммуну, кончая нынешней должностью, — глупо рассчитывать на то, чтобы любая работа протекала безоблачно, в жизни так не бывает, но если суммировать собранные в папке документы, выходит, и тут ему не всегда было сладко? Его постоянно кто-то в чём-то уличал, старательно выискивал какие-то недостатки. Зачем?

Размышляя на эту тему, Ахматов продолжал листать папку и наткнулся на заявление Макаренко с просьбой освободить от должности. Лев Соломонович поглядел в конец заявления — тридцать второй год. Кто-то рассказывал ему об этом эпизоде. Перед открытием в коммуне завода начальником её назначили старого, заслуженного партийца и чекиста Судакова, а Антону Семёновичу предложили остаться начальником учебно-педагогической части. Судаков, безусловно, уважал Макаренко, готов был сотрудничать с ним на самых демократических основах и, как позже подтвердилось, не решал без Антона Семёновича ни одного важного вопроса, даже и сугубо производственного. Но нужно понять и Макаренко, зачинавшего колонию и пять лет тащившего её на себе. Пощадить бы его самолюбие, корректно объяснить, что новый груз обязанностей ему

просто не по плечу. Но как раз этой-то корректности членам правления, видно, и не хватило. Ахматов знал, что в ту пору Макаренко активно искал «другое место». Кто и как сумел успокоить его, Ахматов не знал, но Антон Семёнович в конце концов остался с дзержинцами в качестве начальника учебно-педагогической части. Как и следовало ожидать, вплоть до перехода Макаренко в наркомат над всеми подразделениями коммуны господствовала прежде всего педагогическая, воспитательная идея. Хотя попытки поставить во главу угла интересы развивающегося производства там предпринимались, насколько было известно Ахматову, не раз.

Да вот, кстати, очередной документ, лежащий в папке, — письмо Антона Семёновича ответственному секретарю правления коммуны. Ещё один конфликт... «Коммуна теряет своё воспитательное значение. Явно коммуна направляется к определённому пункту: это завод для несовершеннолетних с общежитиями и столовой для рабочих и с кое-какой учебной установкой. Для того, чтобы держать этих молодых рабочих в повиновении, нужен такой какой-нибудь Макаренко — старший надзиратель. Вот и всё...» Ничего себе заявление! «И не заметили того, что самое замечательное, что есть в коммуне, — это коммунарский коллектив. Его не заметили, как не замечают здоровья. А этот коллектив — плод огромной филигранной работы целого десятилетия. Этот огромный и, может быть, единственный в Союзе педагогический опыт, а мы к нему отнеслись так расточительно и легкомысленно. Только работа этого коллектива над собой, только школа и книга могут переделить наше движение вперёд. Завод — только часть общей работы над коллективом».

Вот тебе раз! Весь прошедший год общения с Макаренко остался в памяти Ахматова как год борьбы Антона Семёновича за то, чтобы каждая колония получила серьёзное производство, а тут...

А вот документ совсем недавний. Рапорт Бермана по поводу того, что Макаренко перетягивает из коммуны лучшие кадры в другие колонии, сознательно подрывая основы деятельности учреждения. Ах, Берман! Ведь объяснял же ему Лев Соломонович, что дело совсем не в этом! И всё же пожаловался — да не кому-нибудь, а самому замнаркома!

В прошлом году Макаренко вызвал из-под Ленинграда

своего воспитанника Калабалина — кому теперь не известного по «Педагогической поэме» «жаркого Сэмэна», Семёна Карабанова. Калабалин возглавлял детский дом для трудновоспитуемых подростков, уже, кстати, не первый. Со слов Макаренко Ахматов знал о недавней беде, пережитой Калабалиным, — гибели сына, зверски убитого психически ненормальным воспитанником колонии, которого спихнула на Семёна Афанасьевича деткомиссия. Но внешне никаких следов пережитого: жёсткая воля, безупречное владение собой. Перекинулись несколькими словами об учреждении, которое Калабалин возглавлял. И тут Лев Соломонович внутренне согласился с той характеристикой, которую Макаренко давал своему воспитаннику: «Я — просто мастер, Семён — талантливейший педагог». В изображении Калабалина каждый из его питомцев выглядел яркой личностью, сверкающей десятками неповторимых черт. Рассказ о каждом — с затаённой украинской иронией, замешенной на каком-то таком чувстве, назвать которое нежной любовью было чересчур бедно.

Калабалину предложили возглавить колонию под Винницей. Собственно, колонии ещё не было. Под неё Антон Семёнович выпросил у кого-то земли то ли не состоявшегося, то ли развалившегося совхоза в пятнадцати километрах от Винницы и несколько принадлежащих какому-то наркомздравовскому ведомству бараков. Пообещали собрать для Калабалина не просто подростков, а «самых-самых». Первые два десятка искал по приёмникам сам Макаренко.

Спустя время дошла до Ахматова история первого знакомства Семёна Афанасьевича со своими питомцами. История, что и говорить, забавная, но, с другой стороны, говорящая о том, что в умении найти общий язык с пацанами Калабалин действительно маг и волшебник.

Когда новички только прибыли в Винницу, расположились в колонии и ещё не осмотрелись там, Калабалину понадобилось куда-то отлучиться. Возвращается — спальни пусты.

— Где?..

— Подорвали.

— Все?

— Все до одного.

Калабалин бросается на коня, даже не успев надеть

седло, и вслед за ними. Догнал. Спрыгнул с коня — и вдруг:

— Ой, лишенько!

И хлоп! Лежит пластом на дороге, раскинув руки, и глаза закатились.

Пацаны осторожно окружили его, не приближаясь, смотрят — лежит человек без чувств. Попробовали поднять — стонет на всю степь. Ну что делать с таким! В любом уркагане хоть чуть-чуть души да есть. «Понесли!» А в Калабалине килограммов, видно, под восемьдесят. Семь потов сошло с каждого из пацанов, пока донесли его до колонии. Ну, принесли. Осторожно положили. А, он вдруг открыл глаза и говорит:

— Да вы не кладите, вы меня на ноги поставьте! Поставили — ведь просит! А он им:

— Ну спасибо! Ещё ни разу так не путешествовал! Здорово!

Пацаны так и онемели. А потом все враз расхохотались до упаду, до икоты, до колик в животе: ну прикупил начальник колонии, так прикупил. Не каждый сумеет.

А что дальше делать? Все ждут: раз начкол заманил их обратно, то следует команда:

— А теперь геть по спальням! Ничего подобного!

— Ну ладно, — вздохнул, посерьёзнев, Калабалин, — идите в Винницу, раз собрались.

— И пойдём.

— И идите.

Только повернулись пацаны, а Калабалин:

— Только я на вашем месте сперва бы пообедал. Голод не тётка, а обед всё равно сварен, не выбрасывать же.

Пообедали — и уходить никуда не захотели...

Надо ли говорить, что к Калабалину потянулись со всей округи не только беспризорники, у которых телеграф работает лучше самой срочной правительственной связи, но и взрослые!

Пока под разными предложениями просили перевода или попросту сбежали по одному — всё сходило спокойно. Но накануне Нового года из коммуны ушли сразу несколько старших коммунаров, ультимативно заявив, что хотят к Калабалину. Ахматов знал, что стремятся хлопцы к яркому человеку, каким и был в действительности Калабалин, и посоветовал Берману

сделать из этого выводы. Он и сделал... Ах, Берман!..

Ахматов задумался.

А ведь чёт знает что получается! Отдавая должное Макаренко, он не мог сказать: образцовый работник! Что-то мешало. Что же? Неудобен Макаренко? Колюч? Просто так не даётся в руки? Но, с другой стороны, Лез Соломонович не раз убеждался, что, заняв какую-то отличную от привычных и ожидаемых точку зрения, Антон Семёнович практически всегда оказывался прав. В своём видении проблем, в определении последствий того или иного решения, в оценке факта, явления... Дон-Кихот несчастный! Сам себе на голову, а теперь получается, что и ему!

Просматривая остальные листочки, Ахматов всё лихорадочнее думал о первопричине того, что означает это собранное досье. С какой целью оно собрано? Конечно же, не с доброй. Времена не те. Иначе бы собрали грамоты и благодарности. Он вспомнил суровое выражение лица замнаркома, когда тот передавал ему папку. Всё это, конечно, неспроста.

Лев Соломонович понимал, что долго размышлять ему не придётся. Оценка содержимого папки — это экзамен и ему. И сейчас придётся этот экзамен сдавать.

И точно. Звонок, голос замнаркома, через минуту Лев Соломонович в его кабинете.

— Ну что, ознакомились? Что скажете? Ахматов замялся.

— Трудно ответить коротко.

— А вы говорите, как думаете, — замнаркома указал ему на стул.

— Макаренко не простой человек. И собранные в этом досье документы отражают, товарищ заместитель наркома, довольно характерную деталь его личности. А точнее — его жизни... Критике подвергалось и, пожалуй, подвергается почти всё, что он предлагает.

— А может, правильнее поставить вопрос иначе? Макаренко предлагает то, что вызывает критику?

— Я тоже не раз пытался так посмотреть на его действия, — подхватил мысль Ахматов. — Но, должен признаться, вышло иное...

Последние слова ему дались нелегко. Он чувствовал, что от него ждут других слов, и хотел бы сказать их, но — так уж получилось — не сумел, сказал, что думал.

Что же вышло? — в упор смотрел на него заместитель наркома.

— У меня иногда мелькает мысль, что Макаренко поспешил родиться. С одной стороны, его предложения безукоризненны по своей логике, направлены на положительное. А с другой — как-то не вписывается он со своими идеями в грешную нашу жизнь. Как сказали бы доктора, ведёт себя неадекватно...

— Вот-вот, — закивал головой замнаркома. — А почему так? А главное — случайно ли?

Ахматов ответил не сразу. Видимо, следовало согласиться с замнаркома, и этим не погрешил бы против истины. Не случайно, конечно же. Случайно может камень на голову свалиться. Но какая закономерность скрывается в том, как и чем живёт Макаренко? Он ведь этого и сам не понимает. А высказывать непродуманное он тоже не привык.

— Вопрос сложный, — уклонился он от прямого ответа. — Думаю, что его надо поизучать, — добавил, поглядев на папку с просмотренными документами.

— Ну что ж, поизучайте, — усмехнулся замнаркома и протянул через стол руку, давая понять, что разговор окончен.

От Ахматова здесь, по всему, ждали иных ответов, а возможно, и каких-то добавлений к тому, что заключала в себе серая папка. Но при всей сложности отношений с Макаренко Лев Соломонович не мог себе позволить получить за его счёт расположение замнаркома.

5

В отделе недолюбливали Пашу Суржика.

Раньше он работал в административном управлении, сюда его перевели на освободившуюся вакансию по настоянию отдела кадров. Ни особым рвением в работе, ни даже интересом к тому, чем занят, он не отличается. Но зато, когда появился в отделе, сразил всех наповал. И чем? Да пустяком вроде бы. Тем, как отвечал по телефону. Не «да», не «слушаю», подобно другим сотрудникам, а полным своим титулом:

— Старший уполномоченный Суржик слушает вас. Вот радости-то на другом конце провода! Кто-то, кажется, Прейслер, посоветовал ему:

— Отвечал бы ты, товарищ старший уполномоченный Суржик, скромнее! Кому какое дело, что за должность ты тут занимаешь! Звонят

в отдел, к тому же далеко не всегда тебе...

— Зато так всем ясно, с кем они говорят, — невозмутимо ответил Суржик.

Ахматов сопротивлялся, когда кадры вознамерились утвердить к нему в отдел этого сотрудника, но те были настойчивы:

— Из двадцати человек в отделе у вас всего пять коммунистов, так что партийная прослойка вырастет. Среднее образование — чем плохо?

— Он же в нашем деле ничего не соображает.

— Ничего, молодой, одолеет.

Так Суржик оказался в отделе трудовых колоний, где его встретили сдержанно, если не сказать — сухо.

Нет, он никому не сделал ничего плохого. Но с некоторых пор стал позволять себе непозволительное. Мог, например, ни с того ни с сего спросить Прейслера:

— А скажи, товарищ Прейслер, какие цели ты ставишь перед собой в жизни?

С какой это стати Коля должен исповедоваться перед Суржиком?

Или вдруг сразит неожиданным вопросом Оселка:

— Павел Адольфович, вот вы работали в коммуне имени Дзержинского и ушли оттуда. Значит, не сошлись характером с Макаренко?

Оселок недоумённо поглядел на Суржика, а тот невозмутимо продолжил допрос:

— Неужели вам теперь не мешает в отношениях с ним прошлое несостоявшееся сотрудничество?

Любопытство Суржика вышло из берегов скромности настолько, что он мог остановиться рядом с двумя разговаривающими в коридоре сотрудниками и спросить:

— А? Что? — будто они только и ждали его появления, чтобы отчитаться о своей беседе.

На протяжении довольно короткого времени Суржик стал в курсе всех аппаратных новостей и веяний. Из каких источников он получал информацию, никто не знал, но почему-то в отделе, против воли ориентируясь на неё, тем не менее стали если не побаиваться Суржика, то сторониться. Если он налево и направо делится тем, что ему известно о других подразделениях наркомата, не исключено, что в иных местах столь же бесцеремонно распространяется и о сотрудниках собственного отдела.

Но стол его стоял в том же кабинете, где сидели Прейслер, Савчук и Оселок, поэтому все трое вынуждены терпеть его.

Очередная сентенция Суржика вызвала и тревогу, и самый настоящий взрыв негодования.

— Всё, спёлся наш Антон Семёнович! — заявил он, вернувшись с обеда.

— Ты это о чём? — даже привстал со стула Прейслер.

— С «Методикой»-то тю-тю... Подзалетели мы все...

— То есть?..

— Ну как же! Пропагандируем, агитируем работать по ней, а наверху увидели столько изъянов, что чуть ли не вредительством считают.

— Слушай, товарищ Суржик, тебе не кажется, что ты берёшь на себя лишнее? — резко спросил Прейслер. — Отдаёшь отчёт тому, что говоришь?

— Отдаю, конечно. Если подумать всерьёз, вся она, согласись, какое-то сплошное необъяснимое сердоболитие по отношению к правонарушителям, — торжественно-угрожающе, словно пугал, воздел перст Суржик. — Это враги, а Антон Семёнович для них предлагает чуть ли не санаторно-курортные условия создать, носится, как с больными...

— А-а, — махнул рукой Прейслер. — Я думал, ты скажешь что-нибудь серьёзное. Этот спор закончился ещё десять лет назад. Ты опоздал. Тогда тоже говорили множество несуразиц вроде того, что коли соблюдать классовый подход к преступности, то надо, мол, интеллигента судить строже, чем пролетария или крестьянина. Даже и практика такая была: за одно и то же преступление один получал, допустим, три года, а другой — пять на том основании, что не является представителем пролетарского класса. Крестьянин-бедняк мог получить вдвое меньший срок заключения, чем крестьянин-середняк. Ты просто невежда, Суржик, но тебе простительно. Такое заблуждение пережили многие видные юристы и государственные деятели, даже такие, как Крыленко, Курский... Но нынче уже тридцать шестой год, и каждому известно, что классовый подход — это подход с позиций защиты интересов трудящихся классов. А эти интересы основаны на идеалах справедливости. Понял? Будь то рабочий, колхозник, служащий или кустарь-одиночка.

— Ну ладно, — как-то легко сдался Суржик. — Посмотрите...

До конца дня Прейслер, Савчук и Павел Адольфович грызли свои бу-
мажки, но перепалку между Суржиком и Прейслером каждый держал в уме
и по-своему переваривал. Суржик есть Суржик. У него нос всегда по ветру.
И если возвещал о чём, то это не было досужей сплетней. Вот почему позд-
ним вечером они по одному просочились в кабинет Макаренко. Возможно,
удастся уловить то, что ответило бы на вопрос, который не мог не встрево-
жить. Спросить прямо никто из них не решился, поэтому разговор витал
вокруг книжки Иорданского «Основы и практика коммунистического воспи-
тания», которая ходила в последние дни по рукам в отделе.

— Знаю такую книжку, — сказал Антон Семёнович. — «Живое отно-
шение является камнем воспитания, без которого никакого здания нельзя
построить», — процитировал он по памяти. — «Воспитатель в каждый мо-
мент своей работы должен стоять перед воспитанником или коллективом
детей с обнажённой собственной личностью, и его работа не представляет-
ся иначе, как растрачивание его личности...»

— Разве это не так, Антон Семёнович? — спросил Савчук. — Вы ведь
тоже утверждаете, что воспитатель — прежде всего человек... Разве не
была ваша работа в коммуне бескорыстной тратой себя? Да и сейчас...

— Отчасти это верно. Но дальше такого утверждения мои дороги и
пути Иорданского и иже с ним расходятся в разные стороны. Они берут ка-
ждого ребёнка в отдельности, как кролика в биологическом кабинете, и рас-
сматривают его при помощи всевозможных искусственных форм наблюде-
ния. Они строят свои концепции на волевом воздействии, на парном моде-
лировании, на влиянии одного человека на другого...

— Но ничему иному наши воспитатели и не научены...

— К сожалению, так. И именно поэтому воспитанник у нас стал рас-
сматриваться в страдательном залоге. А воспитатель, по тому же Иордан-
скому, — некий продукт, призванный трансформировать свои качества в
нём. По его мнению, если сердце воспитателя полно любви к ребёнку, то
все проблемы и решены. Но в жизни всё не так просто. Всё это далеко от
практической постановки вопроса и годится только для института благо-
родных девиц, — резюмировал Макаренко,

словно бы затормозив движение своей мысли.

— Вы призываете работать без сердца, без любви к ребёнку? — недоумённо спросил Прейслер.

— Нет, отчего же? Без сердца нельзя. Но не более, чем в любом другом деле. Если наши воспитатели и учителя честные люди, а большинство именно таких, они должны, прочитав Иорданского, подать заявление об уходе и искать себе работу в другом месте. Эксплуатация доброго сердца лишь в исключительных случаях приводит к педагогическому подвигу, а чаще же всего — к самому махровому ханжеству.

— Но почему же? — упорствовал Прейслер. — Выходит, будь педагог добрым или злым — всё одно?

— Так вопрос ставить неправильно. Воспитание нельзя рассматривать в этой системе координат: добро — зло...

Он наблюдал в школах ещё до революции, видит и в нынешних, как учителя, в общем-то неплохие люди, буквально опускаются из-за борьбы друг с другом, — и всё потому, что каждому хочется доказать свой приоритет в овладении симпатиями детей... И тут вольно и невольно сердце обретает как бы две физиономии. С одной оно доброе и любящее, а с другой — сведено в судороге злобой и завистью по отношению к коллеге, перешеголявшему других в хитроумном своём педагогическом горении. Ну а поскольку педагог тоже человек, ему свойственны обыкновенные человеческие недостатки, у каждого найдутся грешки и слабости — и пошло-поехало! Какие только ссоры и склоки не возникают на этой почве в педагогических коллективах! Но это ещё полбеды. Главное, учительская конкуренция в этом «сердцегорении» приводит к тому, что воспитанники выходят из их рук такими молодыми старичками с постоянной маской любви и добродетели на физиономии, привыкшими подрабатывать на выражении своих чувств и похвальных мыслей. Антон Семёнович когда-то тоже думал, что учитель должен быть незаурядной личностью в силу хотя бы исключительности, высокого пафоса его профессиональной миссии. Потом от этого предрассудка, к счастью, избавился.

Молодые люди слушали, не перебивая. Нет, что ни говори, а воспитание сердцем — его ничем не заменишь, в душе не соглашался Прейслер. Примерно так же рассуждал Савчук. Антон Семёнович своим же

поведением, сам того не желая, и подтверждает это. Вот задают они свои дурацкие вопросы, другой бы на месте Макаренко высмеял за невежество, а он терпеливо объясняет, волнуется — и разве не сердце своё тратит, пытаясь привести их сейчас к какому-то убеждению?.. Прейслер и Савчук — оба живо следили за жестами, за выражением лица Макаренко. Для них было очередным уроком всё, о чём он говорил. Но их волновало и другое: так прав или не прав Суржик? Нет, ничего в Антоне Семёновиче не изменилось. Спокоен. Внимателен. Никакой иной заботы, кроме того, о чём говорит. Возможно, Суржик услышал какой-то звон, да не знает, откуда он. Ещё и с прогнозами выступает! Раз Макаренко что придумал — ошибки тут быть не может. Макаренко есть Макаренко. На десять аршин вглубь видит...

— Антон Семёнович, — поинтересовался Прейслер, — вы воспитатель по призванию?

— Да как сказать... Если бы кто стал утверждать, что у меня нет призвания к тому, чем я занимался тридцать с лишним лет, я стал бы это горячо оспаривать. Только призвание это пришло ко мне вовсе не тогда, когда я выбирал профессию. А если точнее, я её совсем не выбирал. И любви к ней особенной не чувствовал. Вот к инженерному делу меня всегда тянуло. И до сих пор тянет...

— А что же привело в педагогику? — с удивлением спросил Павел Адольфович.

— Что угодно, но только не любовь и призвание. Всё было просто и буднично. За год до первой русской революции я закончил Крюковское железнодорожное училище. Это нечто подобное нынешней средней школе, но с профессиональным уклоном. Большинство моих одноклассников рвалось учиться дальше — главным образом в технических высших учебных заведениях. Я среди них не был исключением. Но отец мой, Семён Григорьевич, был иного мнения. Вообще говоря, человек он был своеобразный. С одной стороны, простой рабочий-маляр, он очень высоко ценил знания. Иначе бы не стал меня учить. Выписывал популярный тогда журнал «Нива» с литературными приложениями. Поэтому перечитал и Гоголя, и Лескова, и Чехова, и Салтыкова-Щедрина. Читал и то, что я приносил в дом, — Вальтера Скотта, Сенкевича, Гюго... Словом, был начитан, и прочитанное помогало ему жить. Среди крюковских железнодорожников слыл он человеком умным и

многознающим. Но, с другой стороны, прочитанное в совокупности с жизненным опытом и личными наблюдениями сформировали в нём довольно оригинальный взгляд на образование. Он искренне гордился моими успехами в учении, вслух выражая одобрение, но в то же время тягу мою к большому образованию не одобрял. Как ни уговаривали его и сам я, и учителя мои, всякие разговоры о желании учиться дальше встречал в штыки и пресекал на корню. Парадокс? Ничуть не бывало! Вот такой неожиданный зигзаг может дать обострённое чувство собственного достоинства. Он считал, что высокое образование — путь в аристократы. А это, в его представлении, народишко никчёмный, пустой, недостойный уважения. Потому, когда я получил свидетельство об окончании Кременчугского городского училища, отец сказал твёрдо: «Будешь учителем!» И я стал им, подчинясь отчей воле. — Надо же! — покачал головой Прейслер.

— И я никогда бы не подумал, — добавил Оселок. — Я считал, да и все считают, что к детям вас привело призвание — каких поискать. Во всяком случае, это выглядело закономерно.

— Вот Галину Стахивну, жену мою, на поприще народного просвещения привела закономерность, а ещё точнее — семейная традиция. По происхождению она из дворян. Естественно, этой частью своей родословной она не гордится, тем более что дворянами-то родители её были неимущими. Но несколько поколений и по отцовской, и по материнской линии были педагогами, преданнейшими своему делу людьми. Отец — тот даже принимал участие в народовольческом движении. Кстати, это очень важная предпосылка для выбора профессии — чем занимаются родители. Мы знаем немало примеров учительских династий, и должен сказать, что это практически всегда хорошие учителя. Может, поэтому у Галины Стахивны поразительное педагогическое чутьё. Она после гражданской войны долгое время работала в области народного просвещения — в Калуге, потом в Харькове, в Наркомпросе, возглавляла окружную комиссию по делам несовершеннолетних. И слыла толковым работником с хорошим педагогическим вкусом. Вот всего одна деталь. Когда меня грызли, сживали со свету «олимпийцы», она формально принадлежала к ним — работала в момент нашего знакомства инспектором Наркомпроса. И вот приезжает с очередной инспекцией это очаровательное

существо ко мне в колонию. «Собиралась громить Макаренко», но пожила в Куряже несколько дней — и бесповоротно примкнула к нам. Это, конечно, не случайно. Она, что называется, с молоком матери впитала гуманистические идеи дореволюционных просвещенцев, там было много настоящих подвижников, и жаль, что мы теперь редко обращаемся к их опыту. Учиться у них можно многому. В частности, преданности делу. Оно порой гораздо важнее призвания, любви...

— А как же у вас? — напомнил Савчук потерянную мысль.

— Мне с самого детства внушали, что главная ценность человека — умение трудиться. Достоинство — в умении отдать себя делу, хочешь того или нет, нравится оно тебе или не нравится. Это удивительно интересный взгляд на личность, не правда ли? Люди, среди которых я вырос, особо ценили мастерство, деловую сметку, старание. И гордились, если достигали в своём мастерстве того, чего не достигал другой. Попробуйте осудить такую точку зрения! Подавление личности?.. Почему же! Всякий человек обязан трудиться. А любовь к делу, призвание — они приходят, когда вложишь в дело свой труд, мастером станешь... Ну, может, и спорно в какой-то мере. Во всяком случае, ко мне и призвание, и любовь, если так справедливо назвать моё отношение к делу, пришли таким путём. Я старался добросовестно выполнять всё, что ложилось на мои плечи. А розовая любовь, это такое абстрактное стремление взлететь, не подкреплённое трудом, — разве это призвание?

— Удивили вы меня, Антон Семёнович! — сказал Оселок.

— Как есть! Вот и в вас я заметил уважение к работе, которую выполняете. А ещё — что хлопцы для вас значат не меньше, чем станки, детали, промфинплан... А поскольку вы работаете в особой области, не только инженерной, подумалось, что знание истории педагогики, теоретических основ воспитания вам также необходимы.

- Я полагал, что мне достаточно беглого, в общих чертах, ознакомления.

- Беглого? — с недовольством повторил Макаренко. — В общих чертах... Поверьте моему опыту, Павел Адольфович: нет ничего страшнее для воспитателя, чем

дилетантство. Уж лучше не браться совсем! Ни в какой профессии знания и мастерство не имеют такой чрезвычайной важности! Даже если в тебе и нет этого самого призвания...

Уйдя от Макаренко, они прошли к себе.

Суржик сидел за своим столом, уткнувшись в бумаги: то ли писал, то ли читал, то ли спал над ними. Он поднял голову и вопрошающе поглядел на вошедших. Но все трое прошли на свои места, не удостоив его вниманием.

— Ну что, удостоверились? Ответом было общее молчание.

— Носитесь вы со своим Макаренко... Тоже мне Песталоцци! — сказал и умолк, занявшись своими делами.

Первым не выдержал всегда молчавший, а тут вдруг выступивший вперёд Савчук.

— Слушай, Суржик, не пойму я что-то: чем тебе Антон Семёнович не угодил? Что ты к нему цепляешься?..

— А он мне не брат, не сват, не деверь, чтоб его любить, — уклонился Суржик от ответа. — Но службе это, между прочим, не мешает.

— Мешает, — жёстко произнёс Савчук.

— Это чем же?

— Одно дело делаем.

— И что же? По его же, Макаренко, теории, чем больше разных людей в коллективе, тем коллектив работоспособнее. Будем пока считать, что я у вас в отделе (если я правильно понимаю, вы меня не очень-то жалуете положительными эмоциями) вроде белой вороны. Если хотите — козёл отпущения: есть в чей адрес пар выпустить. Скажу вам прямо: Макаренко я не верю ни на грош! Не наш это человек!

Прейслер вскочил со своего места. Суржик тоже встал со стула, словно бы приготовившись к нападению.

— Товарищи, товарищи, да вы что? С ума посходили! Вот тебе на! — вмешался Оселок.

Суржик и Прейслер сели.

— Дорогой товарищ Суржик, — произнёс Оселок. — Вы позволяете себе бестактности по отношению к своему прямому руководителю. И я вынужден поставить в известность об этом Льва Соломоновича.

— Ставьте. Но хочу сперва задать вам всего один

вопрос: скажите, почему Макаренко никогда не улыбается? А? Что ему мешает улыбаться? Не знаете? И я не знаю. Одно мне известно: хорошему человеку хоть иногда, да бывает радостно. А ему всё что-то грустно. Что он грустит? Скажите... Вот то-то и оно! Есть над чем задуматься...

Коля Прейслер посмотрел на Суржика с сожалением, но ничего больше не стал говорить ему. В то же время он принял вопрос Суржика близко к сердцу. Обругав себя эгоистом, он подумал, что действительно Антон Семёнович в последние недели совсем-совсем перестал улыбаться. В чём дело?.. Никаких причин, связанных со служебными делами, Коля не смог найти. Но причины для огорчений могут появиться не только на работе. У Антона Семёновича есть и личная жизнь. Мало ли что! С женой, например, поссорился! Хотя он и говорит о ней с уважением, но кто из мужчин станет корить собственную жену перед посторонними! А огорчения, связанные с нею, считал Коля, вполне могут быть. Недаром же люди, хорошо знающие Галину Стахивну, не говорят о ней ничего иного, кроме того, что она красивая. Как в той байке: у нас на хуторе две Параськи — одна Параська умная, а другая Параська красивая...

...С работы Прейслер и Савчук уходили вместе. Когда оказались на улице, Прейслер спросил:

— Что скажешь? Савчук пожал плечами.

— Как же с таким работать? — продолжал Прейслер. — Ведь у него патологическая неприязнь ко всем!

— Что поделаешь, сослуживцы — как родственники: их не выбирают, их нам даёт судьба. Придётся терпеть...

Помолчали, думая каждый о своём.

— А в том, что сказал Суржик, всё же что-то есть, — сказал вдруг Савчук.

— Да ты что, Коля! — схватил его за рукав Прейслер.

— А вот поразмысли-ка... Сразу, как только разослали в учреждения «Методику», Лев Соломонович твердил, и очень настойчиво: жмите, хлопцы, на все педали, на все рычаги, чтоб в колониях творчески изучили этот документ и перестраивались как можно скорее. И вдруг словно забыл о нём...

Подумав, Прейслер возразил:

— Но это ещё ни о чём не говорит.

— Ещё как говорит!

— Да нет, ты не прав! Просто Лев Соломонович такой человек... Это ведь Антон Семёнович как только почувствует что интересное, сразу и берёт на себя решение. А Лев Соломонович: «Це дило гарнэ. Доложу руководству». Вот и здесь: смотрит, что из этого получится.

— Вот ты и обозначил положение вещей. Значит, у него нет уверенности, что внедрять «Методику» надо активнее. Антон же Семёнович наверняка почувствовал отсутствие его поддержки. Потому, может, и переживает. «Методика»-то штука весьма и весьма неординарная, согласишься. Представляю, сколько он в неё вложил!

— Да, могучий мужик Антон Семёнович! Повезло нам — работать с ним!

— Повезло, да ещё как! Только строптивые люди долго на плаву не держатся.

— Что ты в данном случае имеешь в виду?

— А ты меньше стрекочи — больше присматривайся, увидишь...

Прейслер глядел на Савчука как на незнакомого. При уличном освещении лицо приятеля ничего не выражало, точнее, ничего прочесть на нём не удалось. Но высказанное им было настолько красноречиво, что Коля не мог сдержаться:

— Да что ты, право! А мы где! Мы — его батальоны!

— Ладно, комбат, наш перекрёсток, — сдержанно проговорил Савчук.

— «Вам налево, нам направо».

Он протянул руку:

— Не принимай всего близко к сердцу. Такова жизнь!

— Жизнь? — отвечая на рукопожатие, переспросил Прейслер. — И что же, это, по-твоему, хорошо? Один строит, а второй тут же подламывает...

— Ни ты, ни я всего не знаем...

— А что тут знать-то? Ты что имеешь в виду?

— Антону Семёновичу долго в наркомате не работать. Он писатель. Он имеет право и возможность подняться над всей этой повседневностью... Вот увидишь, так и будет. Уйдёт Антон Семёнович из наркомата! А мы останемся. И Суржик, между прочим, тоже...

— Ну ты даёшь! Молчал, молчал — и выдал!..

— Пока! — попрощался Савчук. — Разговоры — не манная каша.

А я сегодня не обедал. Да и выспаться хочется...

Горько и одиноко стало Коле. Он верил Макаренко больше, чем самому себе. Но сегодняшний вечер словно бы остановил Колю на полном скаку, он кубарем прокатился по земле и теперь почувствовал полученные шишки: и бесцеремонность Суржика, и какие-то непонятные намёки Оселка, и спокойствие Савчука — спокойствие, когда надо греметь во все колокола и звать на помощь. Разве же можно допустить, чтобы у Антона Семёновича что-то было не так!..

6

Прейслер был не женат. Судьба, с разбором и без разбора соединяя его ровесников с девушками — кого дружбой, кого любовью, кого удачным или неудачным браком, обходила Колю стороной. В общем-то, он не испытывал от этого неудобств и в ответ на дружеские подтрунивания лишь отшучивался:

— Всё некогда...

И поскольку сердце его оставалось для всех покорительниц неприступной крепостью, он их знал только понаслышке. Вот почему с такой лёгкостью и простотой позволил себе мимолётные рассуждения об отношениях Антона Семёновича и Галины Стахиевны, заподозрив в последней причину неулыбчивости Антона Семёновича.

В одном он был прав: действительно, многие в макаренковском окружении уж если не недолюбливали её, то, во всяком случае, и не говорили ничего похвального. И были несправедливы.

Таких парадоксов жизнь знает немало. Вот так, к примеру, долгое время многие воспринимали Софью Андреевну Толстую чуть ли не злой фурией, едва ли не главной виновницей душевного дискомфорта, который испытывал в конце жизни великий писатель. А можно было и следовало посмотреть на неё иначе. Она создавала условия для жизни не просто человека — гения, воспитывала его детей, вела дом, куда гости наведывались толпами, не спрашивая согласия, ко всем надо было проявить внимание, всех разместить, накормить... А попробуйте-ка переписать от руки двенадцать раз семьдесят печатных листов «Войны и мира» — на это способен, прямо скажем, далеко не каждый...

Так и Галина Стахиевна...

Не минует и трёх лет от текущего сейчас августа тридцать шестого года, как Антона Семёновича не станет. Пройдёт по Москве от особняка правления Союза писателей на улице Воровского до Новодевичьего кладбища печальный кортеж с гробом Макаренко. И едва ли не с первого дня Галина Стахивна примется за труд, который станет для неё главной целью до конца её жизни — сделать всё, чтобы фигура Макаренко заняла положенный ей пьедестал. Она сохранит и обнаружит бесценные макаренковские рукописи, не увидевшие света при его жизни. Выполнит едва ли не самую главную, и уж во всяком случае — самую чёрную работу в составе, редакционной коллегии первого семитомного Собрания сочинений Макаренко. Большинство изданий произведений Антона Семёновича в сороковые-пятидесятые годы (а именно на них падает пик публикаций!) — результат её настойчивости. Вряд ли ещё чьи консультации так помогли макаренковедам — учёным и критикам — понять какие-то неясности, противоречия в поступках, высказываниях Антона Семёновича, осмыслить жизнь и творчество выдающейся личности.

Но это всё будет потом. А сейчас она была женой помощника начальника отдела трудовых колоний НКВД Украины и писателя Макаренко, живого, не небожителя, уязвимого для несправедливой критики, недопонимания, обид и всего-всего другого. Не было на свете человека, кто чувствовал бы с такой болью каждое биение его усталого сердца, кто мог бы с такой безупречной точностью читать его мысли, кто верил бы в него, как она, и ставил выше, чем ставила она. И отношения их лишены какой бы то ни было мелочности, изнуряющих объяснений, расспросов, обид, выяснения отношений — они понимали друг друга так, что порой разговоры проходили примерно по такой нехитрой схеме:

— А? — спросит один, уловив висящий в воздухе вопрос.

— Ага, — ответит второй, имея в виду то, с чем другой согласится коротким междометием.

При всей своей скрытности Антон Семёнович никогда ничего не скрывал от неё, доверяя больше, чем кому бы то ни было. Конечно, она чувствовала, что есть в муже и то, до чего за все годы супружества он так и не допустил её.

Для неё так и осталось тайной его отношение к

Елизавете Фёдоровне Григорович. Галина Стахиевна знала, что Елизавета Фёдоровна появилась в колонии под Полтавой, тогда ещё никому не известной и не носившей имени Горького, вслед за Антоном Семёновичем и как педагог в то время была, пожалуй, опытнее его. Она прошла вместе с Антоном Семёновичем через все тернии, через все большие и маленькие радости первых колонийских лет. Что это означало для Антона Семёновича? Многое. О его симпатии к Елизавете Фёдоровне не скажешь лучше и ярче, чем сделал это он сам, посвятив столько вдохновенных страниц «Педагогической поэмы» Екатерине Григорьевне — её образ один к одному совпадает с личностью Елизаветы Фёдоровны.

В коммуну имени Дзержинского Елизавета Фёдоровна не перевелась вместе с Антоном Семёновичем, осталась в колонии имени Горького. И, как ни странно, муж никогда не вспоминал о ней вслух, а если кто из присутствующих и произносил её имя, тут же переводил разговор на другое. Почему? Отсутствие ответа настораживало Галину Стахиевну — в этом виделся какой-то недобрый знак для неё. Она понимала всю бестактность своего интереса к прошлым отношениям Антона Семёновича с другой женщиной, интереса, похожего на стремление разгадать тайну чужого гнезда. Но она была тоже женщиной, женщиной любящей.

Когда в двадцать седьмом году Галина Стахиевна впервые приехала в колонию, одним из самых сильных её впечатлений было отношение Елизаветы Фёдоровны к Макаренко. Та буквально каждое мгновение словно бы стояла на страже, готовая тотчас откликнуться на его слово, жест, взгляд. Скрыть свои чувства к Антону Семёновичу для неё было, вероятно, невозможно трудно. Да она и не скрывала.

Галина Стахиевна ни единым словом не посмела ни с кем обменяться на эту тему. Лишь однажды, когда они с Антоном Семёновичем уже поженились и жили в коммуне имени Дзержинского, вдруг ни с того ни с сего разговорилась об этом свекровь, Татьяна Михайловна. Верно, почувствовав в невестке ревность, всё понимающая старушка решила её успокоить, но, как часто бывает у женщин, вышло всё наоборот.

— У них, — так она сказала, — были очень нежные отношения. Тосика не остановило бы, что Лиза на восемь

лет старше. Но он очень боялся, что мальчики станут ревновать...

Татьяна Михайловна, наверное, намеревалась сказать, что не было «ничего такого», но сказала то, что было гораздо большее.

Одно успокаивало ревность Галины Стахиевны: Антон Семёнович ни разу не спросил её об отношениях с первым мужем — ни что соединило, ни что развело. А ей вспоминать, тем более говорить об этом было бы больно.

Оставалось для Галины Стахиевны неразгаданным и такое более чем непростое обстоятельство. Внимательный и чуткий к людям, Антон Семёнович совершенно не общался с сестрой Александрой. От Татьяны Михайловны Галина Стахиевна знала, что Саша живёт в Кременчуге, замужем за хорошим человеком — машинистом железнодорожного депо. И только. Ничего худого о них свекровь не сказала, но и ничего доброго тоже не сочла нужным или возможным сообщить. Ни дочь к ней не ездила, ни сама она её не навещала, хотя до Кременчуга дорога не такая уж дальняя и трудная. Что же касается Антона Семёновича, то в его рассказах никогда, ни единого раза не прозвучало даже намёка, что у него есть сестра. Муж мог годами поддерживать отношения с людьми совершенно чужими — такие отношения, которые существовали иногда просто ради самих отношений, отвечал на совершенно пустые и никчёмные письма, получаемые им порой до десятка в день. Он совершенно не умел отказывать, когда речь шла о человеческом общении. Как бы ни был занят, как бы ни уставал — встречался, писал, разговаривал. А тут словно бы и нет на свете человека, с которым связывает родная кровь.

Тайна оставалась тайной, притронуться к которой Галина Стахиевна не считала себя вправе. Но для себя сделала вывод: если муж хотел поступать решительно, его не могло сдержать ничто.

Те, кто догадывался о таком качестве Антона Семёновича, склонны были считать его сухарём, прагматиком. Она-то знала, что это не так.

Она много слышала когда-то о Макаренко в наркомпросовской среде. «Чудак», «не от мира сего». В конце шестнадцатого года его призвали в армию, он прослужил всего несколько месяцев ратником ополчения второго разряда в двадцать седьмой пехей Воронежской дружине, которая даже и не успела принять участие в боевых действиях, однако же дамы

из Наркомпроса были искренне убеждены, что Макаренко — «полковник царской армии». Много и других всяких небылиц наслушалась Галина Стахиевна о нём. И хотя ставила все эти характеристики не выше того, чего они на самом деле стоили, ехала инспектировать колонию имени Горького с чувством малоприятным.

Она не боялась встретить обещанную грубость начкола. В гражданскую Галина Стахиевна была секретарём окрпродкома, а это чего-нибудь да стоило! Не всякий мужик выдерживал те до беспощадности требовательные, без лишней галантности отношения, на которых держалось некое подобие гармонии между продовольственным спросом и предложением в те годы.

Расписанная в самых ярких красках грубость и ортодоксальность иачкола её не пугали. Боялась другого. Каков, говорят, поп, таков и приход. Она предполагала, что Макаренко, сильный человек, до такой степени подчинил своему влиянию и воспитанников, что это могла быть толпа таких же ортодоксов, да ещё и с уголовными комплексами. Вынести, воспринять это спокойно она не смогла бы.

Но вот и Куряж. Идеальный порядок, какого она не наблюдала ни в одной колонии округа, ни в одной общеобразовательной школе. Какие-то удивительно просветлённые, прямо-таки счастливые лица воспитанников, вежливых, ироничных, внимательных к госте. В отличие от других инспекторов ничего плохого не увидела и в той франтоватости, с какой колонисты приветствовали друг друга, салютовали, отдавали рапорты и команды. В этом, конечно, было много игры, но, как ей показалось, в эту игру все играли серьёзно и искренне, без глупой нарочитости и искусственности, какую встретишь в иной школе, где хотят создать свой тон определёнными ритуалами и правилами. Поразило, что колонисты говорят спокойными, без уголовного надрыва и вызова голосами. Вообще во всём сквозила скромность уверенных в себе, незлобивых и независимых людей. Она как-то сразу и не поверила, что всё это наяву. Ведь колония!

Больше же всего её поразил сам начкол. По рассказам других, он мнил её неким иезуитом — умным, хитрым, жёстким, язвительным, как Мефистофель. Он действительно оказался похож на Мефистофеля. Она долго не могла понять, чем же,

пока не догадалась: нос. Длинный, как у Мефистофеля, нос, который, впрочем, ничуть не портил это мужское лицо, озарённое изнутри чем-то величественным, крепким и сильным. Статная выправка, ровность и спокойствие в разговорах со взрослыми и маленькими... Ну чем он так напугал коллег, что их так раздражало?.. На неё смотрели голубые, слегка грустные глаза, глубокие, как бездонный колодец. И только усы, старательно ухоженные усы показались ей воинственными,

В первый же день, когда колония улеглась ко сну, они гуляли над Коломаком. По реке пробегала мелкая зыбь, дробя на чешуйки лунную дорожку. Был самый разгар соловьиных свадеб. Казалось, что на свете существуют только соловьи. Галина Стахивна впервые слышала подобное и просто потеряла представление о времени и пространстве, забыла, зачем сюда приехала, и вместо обещанного разговора о делах колонии, замерев, слушала оглушительное птичье многоголосье.

Три дня в колонии пролетели как одно мгновение. Макаренко был постоянно занят, оставляя для неё только вечера. Она общалась с воспитанниками, которые на её вопрос, что привлекает их в колонии имени Горького, неизменно отвечали:

— Антон.

Она любила вспоминать то лето. Память о нём жила в ней постоянно, а когда несколько остывала, Галина Стахивна доставала из чемодана письма Антона Семёновича. Это были удивительные письма! Какой же сухарь и прагматик смог бы написать так:

«Сегодня я особенно чутко живу любовью к тебе... И сегодня весь мир кажется мне построенным из особенно прекрасного, лёгкого, и сияющего материала, страшно обильного и страшно нежного...

Сегодня я очень сложно и трепетно живу. И, что всего удивительнее, так же трепетно и так же сложно живёт всё вокруг меня. Сегодня передо мной прошли неожиданно очень богатые и прекрасные куски жизни, осколки чьих-то радостей, грустные, нежные женские глаза, здоровые нежным детским здоровьем, ясные и ароматные серебряные души наших мальчиков, сегодня особенно одухотворены и горды строгие формы нашего коллектива... Каким-то образом я увидел сегодня самые тайные прелести вещей, самые богатейшие хрустальные переливы и страшно огромные ценности, заключённые в едва заметном человеческом движении.

Всё меня приводит в восторг, и тем он дороже для меня, что его никто не видит, никто о нём не знает, и я переживаю его в моменты самых будничных вздохов жизни, сопровождаю самыми обыкновенными привычными словами:

...надо ещё прибавить стоимость сушки...

...ваши спички оказались никуда не годными...

...пяти пудов рису маловато, ну да ничего...

А на самом деле мне хочется нежно прижаться к каждой спинке венского стула, к каждому мешку риса, к котлу паровой сушки, ко всем этим замечательно оригинальным и удачным творениям божьим. Они такие прекрасные, все эти милые вещи, которые живут в том самом мире, в каком живёшь и ты...»

«Сколько богатства находишь в себе оттого, что любишь, — писал он в другой раз. — Когда в какую-нибудь тяжёлую минуту я обращаюсь к океану нашего чувства, для меня не существует уже ничего тяжёлого, ничего страшного, ничего горестного. Так прекрасно высоко стоять тогда на ветру, знаешь, когда треплются полы, свистит в ушах и захватывает дыхание. И ничего не нужно, кроме этой прекрасной чистой бури, и даже прекрасно, что кругом только небо и дали. Когда много ветра и неба, тогда просыпается какая-то верхняя философия, какая-то особенная ценность человеческой сущности. Это и есть любовь».

Прагматик разве стал бы признаваться: «Я много писал в своей жизни всяких бумажек, писал и писем много, но ничто и никогда я не писал так непосредственно и свободно, как пишу письма к тебе. Нет, серьёзно, когда я пишу к тебе, я себя буквально чувствую поющей птицей, которая поёт, поёт и страшно рада, что может петь, страшно рада, что светит солнце! Только, конечно же, я не соловей, так что-то, проще».

А чего стоило признание, сделанное Антоном Семёновичем, когда в тридцать первом году он уехал с коммунарами в кавказский поход, а она осталась в Харькове!.. «Я по-настоящему тоскую и похож на доберманпинчера, которого бросил хозяин. Нам в Сочи подарили доберманпинчера, хозяин привязал его к нашей палатке и ушёл. Собака сначала рвалась за ним, потом улеглась на мешке и плакала на весь лагерь до позднего вечера, а на другой день она не ела и не пила,

а молча простояла у входа в палатку целый день, не отрываясь, глядя в ту сторону, куда ушёл хозяин. Никто лучше меня не понимал доберман-пинчера, и я очень ему сочувствовал. Сегодня я и сам такой».

Путешествия и письма Антона Семёновича наполняли её сердце грустью. Словно как и в те прошедшие времена, муж снова переливал в неё свои мысли, свою душу, распахивал перед ней своё «я» неповторимого, умного и честного человека. Это всё было старо, как мир, и ново, как азбука.

Что привлекло к ней Антона Семёновича, она не знала. И никогда не спрашивала. Её же поразил его необыкновенный интерес к человеку, как к неповторимой индивидуальности, как к сложному и уникальному миру. Он так ей и сказал, без всякой ложной скромности: никакими иными талантами не наделён, а вот знать ценность людей и уметь найти среди них самого особенного, самого замечательного — этот талант судьба ему даровала. Уже позже она отметила в нём и другое качество — он умел окружить людей вниманием и делал это так, что сам он тут вроде бы и ни при чём, и не придёшь и не скажешь спасибо.

Полная открытий, вконец очарованная им, она с нескрываемым удивлением спросила тогда:

— Антон Семёнович, ну за что на вас так взъелись наши дамы?

— О, этот ларчик открывается просто...

Он покопался в каких-то бумагах и достал ей порывевшую подшивку. Это был дореволюционный «Журнал-копейка».

— Вот, полюбуйте, — показал Антон Семёнович заметку в одном из номеров.

«Хотя старые люди и уверяют, что в старину жилось и веселее, и лучше, и безопаснее, чем теперь, — прочла она, — однако статистика доказывает, что в наше время человек на пять процентов меньше рискует быть убитым или ограбленным, чем даже 10–20 лет назад.

— курьёзное дело! — на уменьшение преступлений повлияли не строгие кары, не смертная казнь при помощи электричества, петли и ножа, не каторга, а одиночное заключение — так называемая бертильоновская система».

— Вот так! Единым махом убивахом, — ровным голосом, в котором послышалась лёгкая и незлая ирония, прокомментировал Антон Семёнович

заметку, когда Галина Стахивна подняла от журнала голову. — А взгляните, с чем эта заметка соседствует...

Галина Стахивна снова вперилась в журнал. Да, занятно! Рядом с заметкой о преступности — реклама книги доктора медицины Гильденбрандта «Мир половых страстей», пособия другого доктора — Ван дер Борна «Как предупредить беременность», объявление издательства «Будущность» из Лодзи, предлагающего выслать наложенным платежом за два рубля тридцать копеек 650 рецептов, с помощью которых «всяк и всюду может заработать громадные деньги домашней фабрикацией».

Под статью этим заметкам были и другие публикации, развращавшие, убаюкивающие обывателя, убаюкивающие общественное мнение.

— Вот из чего выросал у нас беспризорный вопрос, — словно школьнице, говорил Антон Семёнович Галине Стахивне. — Из равнодушия. И теперешние беды — отчасти от них же, но умноженные всеобщей бедностью, всеобщей разрухой, тем, что многим людям нет дела до других.

— Ну, Антон Семёнович, — с укоризной произнесла тогда инспектор Салько, — нельзя же всех людей под одну гребёнку.

— Я и не гребу. Рецепты избавления от беспризорности искали и прежде. Дореволюционный «Журнал для хозяек и женская жизнь» вам, конечно, известен?

— Знаком.

Антон Семёнович извлекает из стола подшивку женского журнала.

— Посмотрите. Это-то в самый канун мировой войны... Вот, взгляните. Письмо из Парижа о лигах доброты в Америке.

Галина Стахивна пододвинула подшивку и нашла названную Макаренко заметку. Некто В. Грек с умилением рассказывал: «Эта новая лига американского происхождения, но перенесённая сюда из Нового Света, сразу завоевала горячие симпатии французов. Американцы, бесспорно, виртуозы инициативы; этим обязаны они, несомненно, своим предкам, пришедшим завоевывать шаг за шагом новую родину. Побеждая природу, борясь с девственным лесом, с лесным зверьём, с морской стихией, энергичные пришельцы подчинили их своей воле, закалив свой дух в этой неравной борьбе. Удивительно ли, что американцы наших дней по атавизму воплотили в себе именно те качества

своих предков, которые и составили их мощь.

Ярко выраженная индивидуальность, смелый размах, предприимчивость и упорство в достижении намеченной цели выделяет соотечественников Эдисона среди европейцев. Ничего не ждать от правительства, ни от «соседа» — доминирующая черта характера американца, и они постепенно, без ломки, умеют создать эту атмосферу, те условия, при которых могут работать. Лучшим своим помощником в достижении намеченных целей считают они ребёнка, и потому на подрастающее поколение обращено особое внимание американца...»

Продолжая читать заметку, Галина Стахивна не могла не согласиться с автором, что качества, ценные в борьбе за существование, становившейся со временем всё ожесточённое, должны были когда-нибудь взволновать американцев. Точно так клич железного Рима «Горе побеждённым!», этот отзвук далёких варварских времён, в Европе перелился в другой, не менее жестокий лозунг нашего культурного века: «Падающего подтолкни!» Лиги доброты, прокатившиеся, как уверял автор, словно могучий вал, по Америке и Европе, вполне могли быть островками воспитания человечности.

— Разве это плохо? — спросила она Антона Семёновича.

Макаренко вместо ответа вынул из стола ещё один журнал и молча протянул ей.

— У вас, смотрю я, собрана вся история борьбы с беспризорностью, — улынулась Галина Стахивна, принимаясь за новое сочинение, предложенное Макаренко.

— История не история, а когда меня назначили зав-колом, познания мои в этой области были равны нулю. Собирал с миру по нитке. Размышлял. Сравнивал. Но прочтите, прочтите, что пишет мадам Ольга Шуф-Кручинская. Кстати говоря, уважаемая была в те времена дама, учреждение её пользовалось популярностью... Вряд ли случайно и то, что после революции на базе её колонии возникла та, о которой снят фильм «Путёвка в жизнь»...

Это было письмо в редакцию. Начиналось оно с призыва: «Русские женщины! Позвольте мне поговорить с вами о вопросе, наболевшем вообще, и в частности — связи с войной. Я хочу говорить с вами о детях-сиротах и детях, которые, не будучи сиротами, в общепринятом смысле слова

сироты морально (дети Хитрова рынка и пр.). Долг наш, женщин, матерей, дать таким детям то, что они утратили благодаря несправедливой судьбе, благодаря ненормальной общественной жизни». Галина Стахивна настоялась. Почему Макаренко иронизирует? Что плохого в том, к чему призывала в самый разгар мировой войны эта подвижница из Подмосковья? Так и спросила Антона Семёновича.

— Хочется верить, — ответил он, — в искренность мадам Шуф-Кручинской, но...

Он взял из рук Галины Стахивны и прочитал: «Кто из вас сочувствует идее трудового воспитания бесприютных и беспризорных детей, детей-сирот, кто может хоть чем-нибудь, словом или делом, помочь нам в нашей трудной работе, тех прошу посетить колонию или в переписке узнать о ней подробнее. Если кто-нибудь откликнется на мой призыв, все мы скажем горячее спасибо...»

— Да, но заметьте: колония располагалась в имении некоего Афремова. Я узнавал: крупный землевладелец, биржевой игрок, акционер — не хочу и разбираться в мотивах его доброхотства, толкнувшего открыть колонию. Ясно, что эти сироты к нему же назавтра и пришли бы в услужение... К кому зывала Шуф-Кручинская?... Тут ясно сказано: «Многие обладают средствами и землёй...» Видите? Эта вся благотворительность — фарисейство, обман общественного мнения, своего рода взятка собственной совести, стрижка купонов с благодетелей.

— Вы далеко ушли от моего вопроса.

— Как раз нет. Я хотел показать вам, что представлял собой беспризорный вопрос совсем недавно. Нынешние «олимпийцы», созидатели общественного мнения по беспризорному вопросу, извините, в основном народ, начитавшийся популярной дореволюционной литературы, воспитан на ней. Отсюда их всезнательство и полная теоретическая ограниченность, порой глупость в красивой упаковке, снабжённой современной фразой, актуальным лозунгом.

— Эх вы нас!

— А чего же вы ждёте от таких, как я? — Голос его обрёл металл, лицо разом посуровело. — Как же должен относиться не только я, а любой на моём месте ко всем этим нескончаемым штукам — реорганизациям, глупостям, уплотнению, портачеству, головотяпству, разукрупнению,

свёртыванию, развёртыванию и прочая, прочая?.. Создаётся впечатление, что всё это и делается исключительно для того, чтобы сбить с толку, заморочить головы хорошим, нормальным людям. Каждый раз, когда получаю пакет по почте, когда вижу на крыльце очередного проверяющего, жду в ближайшее время только одного — очередных придирок, требования реорганизации.

Реплика Макаренко обратила её мысли к событиям теперь уже давним, когда она в течение двух лет, сразу после гражданской войны, заведовала детским домом в Гиевке, неподалёку от Харькова.

Село это было маленькое, а детский дом и вовсе миниатюрненький, всего тридцать девочек и мальчиков дошкольного возраста — принять больше детдом и не смог бы, потому что ютился в полуразваленных «апартаментах» небольшого именища небогатого малороссийского помещика, сгинувшего не то в революционном, не то в военном вихре вместе с семьёй.

Гиевка жила замкнутым мирком, отгороженным степью от большого и шумного мира. Вела к ней единственная просёлочная дорога, по которой лишь изредка могла пройти попутная колымага, запряжённая ленивыми волами. А коли выпадал дождь, просёлок надолго раскисал, и если кому-то из гиевцев выпадала нужда за пределами родного села, мужики закатывали до колен шаровары, женщины подтыкали за пояс край юбки, «спидницы», и шлёпали босиком по непролазной гиевской грязи. Так что гостям и визитёрам в детдоме были даже рады — по крайней мере, их приезд, новое лицо перед глазами скрашивали однообразный быт, вносили в него хоть какие-то впечатления.

Измученные дорогой представители уездной или губернской педагогической власти, в свою очередь, были рады, что наконец дорога позади, но ещё больше их занимала мысль о предстоящем нелёгком возвращении. И поскольку им было не до выискивания недостатков, нервы заведующей оставались девственно спокойными.

К тому же Галине Стахивне даже при всём желании нечем было привести проверяющих в гнев и раздражение, потому что задача перед ней стояла весьма скромная: накормить, обогреть, одеть — сохранить тридцать сирот, жизнь которых ожидала лучших времён и поворотов вместе со всей голодной, истерзанной войной страной. Это было единственное, что требовалось от персонала, который тут

представляли она сама, старая одинокая повариха да две воспитательницы, роль которых поначалу исполняли привезённые из Харькова Галиной Стахивной молоденькие девчушки, изнемогавшие в Гиевке от скуки и отсутствия женихов, а после — местные бездетные бобылки, согласившиеся помочь «керуваться з сыритками».

Так что не исключено, что её заведование сложилось бы именно так, как расписывает Макаренко, будь всё иначе.

Тем не менее, прибыв в Куряж, она представляла собой Наркомпрос республики, и Макаренко как бы ставил к барьеру и её.

Она могла бы упрекнуть его в некоторой бестактности. В конце концов не все в наркомате одинаковы, а уж её-то вряд ли справедливо обвинить, что она, как другие, создаёт видимость работы, выискивая в колонии имени Горького, во что можно ткнуть носом заведующего. За чужие счета она своим самолюбием расплачиваться не будет.

Тут она посмотрела на Антона Семёновича, нахохлившегося, как старый скворец перед дождём, замершего словно бы в ожидании удара, — и ей почему-то стало жаль его. Перед ней сидел бесконечно усталый человек, похожий на отощавшую птицу, измученный скорее всего именно борьбой за право вершить тут то доброе, что она увидела. Пока в наркомпросовских инстанциях вели заумные разговоры о путях развития педагогики, пока бесплотно рассуждали о будущем дне завтрашних детей, этот колючий и неудобный человек создал удивительный коллектив, который видит свой будущий день и стремится к нему в радостном напряжении.

Но инерция отношения к Макаренко, продиктованная неприятием его в наркомпросовской среде, всё же ещё пульсировала в ней, и она не могла не спросить:

— Каждый имеет право на своё мнение. Вы боретесь за свои идеи, за свои точки зрения, ваши противники — за свои. Быть может, они не во всём не правы?

— Мои аргументы продиктованы семью годами работы в колонии. Ещё пятнадцать лет я работал в школе. Среди адептов «новых истин» я не знаю ни одного, кто выдержал бы такую жизнь более двух-трёх лет. Большинство же и вовсе не работали в условиях колоний... Мои идеи продиктованы жизнью, её потребностями, а они пристают с какими-то общими идеями, ни на

чём, кроме дутой важности, не основанные. Ведь спасибо должны сказать, когда находится некий Макаренко и пытается своими опытами сдвинуть с точки вопросы, на которые их наука ответа не даёт. Мои противники, как вы их назвали, пытаются меня уверить, что они руководствуются новейшими идеями. Но дальше этого демагогического заявления они не идут. Их идеи — это идеи вообще. А таковых нет. Вот и подгоняют решение под ответ, как нерадивые школьники. И злятся, когда что-то не выстраивается по их схеме. А я за поиск в области деталей. Ибо они-то в конечном итоге и определяют, насколько соответствует практика общей идее.

— А как же быть с марксистской наукой? Ведь, в сущности, это была всегда сначала наука.

— Я исхожу из того, что педагогический опыт — это более или менее спорадическое проявление того или иного опережающего педагогического эксперимента. Но возникает он не в результате чётко сформулированной научной цели и не на основании научно обоснованной гипотезы, а как эмпирический поиск, осуществляемый с помощью интуиции. Такой эмпирический педагогический поиск благодаря здоровой педагогической интуиции и бывает зародышем будущей научно обоснованной гипотезы.

— Это вы и называете опережающим педагогическим экспериментом?

— Именно!

— Но так можно превратить воспитание в сплошные педагогические эксперименты!

— Если разобраться, то вся история педагогики — сплошные эксперименты. А лучшие образцы педагогического опыта всегда были следствием интуитивно нащупанных педагогами-практиками объективных законов воспитания. Можно обойтись и без экспериментов, но тогда необходимо обобщение лучшего педагогического опыта. А обобщив, выстроить гипотетическую модель педагогического процесса. У меня не так много собственных педагогических находок, хотя они есть. В основном же я делаю то, что делают или, по крайней мере, должны делать все. Но даже и те небольшие отступления от правил приводят наркомпросовцев в такой ужас, словно в посудную лавку вломился слон. А нужно доверять добросовестным практикам, ибо опыт — первооснова педагогической теории. Есть только живая жизнь. Настоящая живая жизнь. И если в ней действует хоть какая-нибудь

искренняя человеческая страсть, тогда всё хорошо. Всё исключительно от этого зависит...

Слушая Макаренко, Галина Стахивна подумала, что за его словами сокрыто глубочайшее явление. Извечная борьба между теми, кто руководствуется правилом: «Увидишь большую волну — нагни голову», и теми, для кого не чужда заповедь: «Риск — благородное дело». И действительно, нет другой такой области, в которой человек во все века панически избегал бы риска, как избегает его в деле воспитания.

Днём во дворе колонии она видела игру маленьких колонистов. По очерченному на земле кругу нужно было пронести, держа на голове, мяч. Условие: нельзя, чтобы мяч упал внутрь круга. Нельзя туда и ступать ногой. Самые маленькие тут же старались вбежать на запретную территорию — и это доставляло им куда большее удовольствие, чем даже выйти победителем в игре. Те, что постарше, хитрее: они ходили, балансируя совсем как Чарли Чаплин в фильме «Золотая лихорадка», прямо по границе, осторожно ступая чуть-чуть больше внутрь круга, чем было допустимо. Некоторые же, самые изобретательные, будто нечаянно бросали мяч в круг и бежали за ним с самым невинным видом.

Взрослые люди умеют держать в узде искушения. А вот дети не могут. Скажи любому «Нельзя!» — и он тут же захочет поступить вопреки запрету. А это самое человеческое в человеке — способность к непредсказуемому, потребность побывать за пределами запретного, недоступного...

Вот и Макаренко... Его педагогическое творчество — тоже своего рода следование риску, его мысль, его действия идут по самой границе круга, с одной стороны которого — «можно», а с другой — «нельзя». Он не трусит погрузиться в неизвестное, окунуться в него с головой и делает всё возможное, чтобы выплыть. Это и есть его жизнь — в полноводной реке, а не в аквариуме, в который схоластики от педагогики хотят поместить его вместе со всем, что он делает...

Она поняла его. И Антон Семёнович это почувствовал.

— Признайтесь, — спросил, когда она уезжала, — вам ведь понравилось у нас?

А глаза в это время лучились мягкой украинской хитринкой.

— Я ещё не сказала, что понравилось...

— Да вы не думайте, что я комплиментом перетягиваю вас на свою сторону, — посерьёзnel Антон Семёнович. — Горьковцы в этом не нуждаются...

— Понравилось, — откровенно согласилась Галина Стахивна. — Если хотите, это... Это поэма, а не колония.

Она не сказала, что ей и самой тяжела наркомпро-совская обстановка, от которой она по-настоящему отдохнула тут. Не сказала, как много в неё заронил этот светоносный человек. Она знала, что бездарность часто берёт верх над опытом и талантом, но пока не видела, чем же может защитить, уберечь Антона Семёновича от всего, что пытается согнуть его.

После, в «Педагогической поэме», он припишет кое-что из того, что произошло с ними в те дни, Боковой. Но не Бокова, а она, Галина Стахивна, приедет сюда снова и снова — то под предлогом инспектирования, то отдохнуть, провести часть отпуска на свежем деревенском воздухе. А на самом деле причиной был, конечно же, он, такой трудный и такой хороший человек.

После отъезда Галины Стахивны из Куряжа он забросал её письмами. Писал обо всём подряд, но за строками, даже самыми сумбурными, написанными в редкие минуты, когда он мог остаться один, ясно виделся его мир, которого хватило бы на многих.

«Сейчас 11 часов. Я прогнал последнего охотника использовать мои педагогические таланты и одинокий стою перед созданным мною в семилетнем напряжении моим миром.

Не думайте, что такой мир очень мал. Мой мир в мириады раз сложнее вселенной фламарионовского мира, как-то: звезда Сириус или Альфа Большого Пса, но зато в моём мире есть множество таких предметов, которые ни один астроном не измерит при помощи самых лучших своих трубок и стёклышек.

Мой мир — люди, моей волей созданная разумная жизнь в колонии и постоянная сложная и тонкая борьба со стихией утверждающих себя «я».

Мой мир — мир организованного созидания человека. Мир точной ленинской логики, но здесь столько своего, что это мой мир».

Письма его не всегда лучились оптимизмом. Она представляла, какие ураганы бушуют в его душе, какие муки он испытывал, когда жаловался: «В колонии ни кусочка угля, кое-как топим дровами. Совершенно босых человек пять...» Но он предпочитал быть застёгнутым на все пуговицы, а может, думала она, избегал докучать другим своими бедами, потому тут же пытался успокоить: «Нет, всё-таки до чёрта поэзии в этой колонии имени Горького! Нужен поэт побольше Пушкина, чтобы увидеть эту поэзию и уложить в стихи. Сейчас в кабинете и канцелярии греются сотни полторы пацанов и толкуют о том, что теперь можно и без дров жить, потому что скоро весна...»

А потом вдруг обрушилась на неё болезнь. Кто-то, она знала, от туберкулёза излечивался, но будет ли она в числе счастливых?

Как мог, Антон Семёнович успокаивал её: «Вот увидите, всё будет хорошо. Мне это подсказывают мои предчувствия, а они меня ни разу не обманули», — писал перед её отъездом в Крым. Едва приехала в санаторий — письмо. «Заходит солнце. Оно как раз освещает мой стол немного слева и сзади. Телефон на столе кажется золотым. И золотые окурки в пепельнице. В саду сыгровка оркестра. Какой-то вальс. Кто-то пробежал со смехом мимо окна. А Вы сейчас в купе, и солнце так же золотит и Ваши кудри, и Вашего соседа, и свежие чехлы на диванах. Мы с Вами сейчас освещены одним вечерним солнцем».

Её удивляло, как он умел угадывать издали её настроения, подслушивать мысли.

Однажды вдруг напал на неё сплин, и море стало не в радость, и отдых не в отдых. Но в очередном письме прочла: «Вы не имеете никакого понятия о том, как я люблю море. Я умею видеть в море не только воду, а всю человеческую историю. Оно живое и, правда же, умное, сердитое, серьёзное, сильное. Таким должен быть и человек. Как море». Она глядела на море его глазами — и ей становилось спокойнее и уютнее на земле.

Этого нельзя было сказать словами, можно было только выплакать, выдохнуть разом и перестрадать в один миг целую вечность — таким огромным показалось ей всё, что она думала о нём, каким его воспринимала и чувствовала. Всё чаще ловила себя на мысли, что ей хочется рассказывать всем подряд о нём.

Хотелось, чтобы весь свет восхищался, боготворил Антона Семёновича так же, как это делала она. Её душа не могла быть счастлива, если бы не разделяла с его душой своего блаженства.

То вдруг находило совсем иное, противоположное. Хотелось куда-то деть себя, исчезнуть, сбежать. Она не отвечала на письма Макаренко, боялась откровенных высказываний.

Она полюбила Антона Семёновича.

И тогда она решилась. Она написала ему, что его письма, слова — словно тени всего, что она ощущала, пережила раньше и переживала теперь. Что они говорят на одном языке, словно те соловьи в рощах над Коломаком, которых они слушали два года назад.

Испуганная, огорошенная болезнью, она была склонна всё усложнять и позволила себе пожаловаться: «Жизнь так сложно устроена, а мы обычно ещё больше усложняем её: встречаемся, а не выдержав испытаний — расходимся, пытаемся найти желаемое — отчаиваемся, колесим в своём одиночестве с надеждой на завтрашний день, а завтра всё повторяется в той же очередности... Сможем ли мы найти через свои жизни тропу, которая приведёт нас друг к другу?»

Он нашёл. Когда она вернулась в Харьков, встретил на вокзале и произнёс коротко и просто:

— Мне трудно понять, как же могло случиться, что я так долго жил без тебя...

7

Понимая значительность того, что несла в себе личность Антона Семёновича, она видела, что, как все сильные люди, он был беззащитен, будто ребёнок.

Он же обнаружил в Галине Стахивевне такое, например, качество: то, что ему виделось сплошным хаосом, она умела разложить по полочкам, найти смысл, добраться до которого ему порой было просто некогда. Ему часто не хватало для дела равновесия души и мыслей — и это равновесие она ему помогла создать.

Пройдёт время, прежде чем он сформулирует свои главные педагогические идеи. В ту пору он только искал их, и жена деятельно помогала ему в этом.

Однажды он с горечью произнёс:

— Если теперь нам совершенно понятно, почему, например, в условиях царской России из классической гимназии со специальным режимом, предназначенным для воспитания верных царю слуг, вышло поколение революционеров, идейно возглавивших революционный переворот в семнадцатом году, а из массовых народных школ, внушавших веру в бога и преданность царю, — разрушителей царского режима, то почему же нам до сих пор не ясно, отчего из наших, советских школ в условиях социалистической системы воспитания нередко выходит не та коммунистическая личность, какую мы проектируем?

— А может, это объясняется действием стихийных сил, не поддающихся влияниям? — предположила Галина Стахиевна.

— Если бы так! — горячо воскликнул муж.

И почему эти силы пока не могут быть покорены? Почему они срываются против нас так же, как сбрасывали против господствующих эксплуататорских классов?

Будучи председателем комиссии по делам несовершеннолетних, Галина Стахиевна вела кое-какие записи для себя. И теперь, посмотрев их, дня через два после того, как муж задал этот риторический вопрос, вероятно, не рассчитанный на ответ, спросила:

Ты знаешь, я тоже задумалась о силах, которые не удаётся покорить... Интересно?

— Ещё бы.

Она положила перед ним листки бумаги, поделённые на две части толстой красной линией.

— Это, конечно, не исследования и, разумеется, полных оснований для выводов не дают. Но на некоторые размышления наводят...

— Любопытно, — посмотрел на листочки муж. Наблюдения Галины Стахиевны подтвердили кое-какие мысли Антона Семёновича. Но многое было для него неожиданным.

Удивили его, в частности, такие обстоятельства.

Несмотря на то, что в семьях растут доходы, условия жизни подростков-правонарушителей были нормальными и даже хорошими. Статистика окружной комиссии по делам несовершеннолетних позволяла сделать вывод о росте числа имущественных правонарушений. Причём внутренним стимулом для таковых являлось стремление пацанов удовлетворить незна-

чительные потребности. Например, приобрести билет в кино, сладости.

Подростки, совершившие преступления, никогда не отрываются от реальных социальных групп — учатся в школе, работают. Однако же Галина Стахиевна отметила, что, как правило, у них неблагополучное положение в коллективах. Они находились там на положении «Робинзонов»: никто не знал о них почти ничего, что лежало бы за пределами жизни официального коллектива.

Почти десять страничек, исписанных мелким, убористым почерком. С одной стороны — с другой стороны. Среди наблюдений, заинтересовавших Антона Семёновича, оказались такие, как рост фоновых явлений в характеристике причин правонарушений и безнадзорности — пьянство родителей, слабая реакция окружающих на мелкие правонарушения, падение авторитета родителей в семье, неправильная педагогическая позиция взрослых даже в благополучных семьях, разноречивость в деятельности организаций, решающих проблему борьбы с безнадзорностью.

Оценил Антон Семёнович и то мужество, с которым Галина Стахиевна признавала недостатки в деятельности просветителей, к каковым и сама совсем недавно принадлежала. В левой колонке было написано: «Растёт педагогическая квалификация учителей, расширяются возможности системы народного образования». В правой же антитезой значилось утверждение: «Не решён такой важный вопрос, как соединение обучения и воспитания. При оценке деятельности школы учитывается лишь уровень знаний учащихся, а не эффективность работы по воспитанию моральных качеств питомцев».

— Галя, а ведь это всё настолько интересно, — заинтересовался Антон Семёнович, — что достойно обнародования.

— Я думала когда-то, — призналась Галина Стахиевна. — Собираюсь выступить на какой-то конференции или издать нечто.

— Вот именно! Надо издать! Непременно издать!

— Не очень-то ты сам спешишь обнародовать свои открытия!

Она имела в виду работу мужа над романом о колонистах.

Ещё в самом начале их знакомства он признался ей, что

потихоньку пытается писать книгу – повесть или роман, он ещё сам не знает. Галина Стахиевна восприняла это как должное. Кому, как не Макаренко, рассказать о таком явлении, как борьба с беспризорностью в стране! Но главный труд Антона Семёновича – заведование колонией – отнимал у него все силы. Для творчества оставались лишь короткие ночные часы. Он не мог отдать книге подряд даже полчаса, голова его была постоянно, как он говорил, «переполнена страшной массой всяких хозяйственных и педагогических забот», не оставляя почти ничего для работы души.

Настойчиво советовал писать и Алексей Максимович Горький, оценивший по достоинству, каким богатейшим материалом для художественных обобщений Макаренко располагает. Когда Антон Семёнович рассказал Горькому, что урывками пытается что-то писать, тот стал ещё настойчивее. Узнав стороной, что у Антона Семёновича сдало здоровье, тотчас написал: «Собственно говоря, мне самому пора бы догадаться о необходимости для Вас отдыха, ибо я в некотором роде шеф Ваш, кое-какие простые вещи должен сам понимать. 12 лет трудитесь Вы, и результатам трудов нет цены. Да никто и не знает о них, и никто не будет знать, если Вы сами не скажете...»

Горький прислал пять тысяч рублей и буквально потребовал, чтобы Антон Семёнович уехал отдохнуть и тотчас же, немедленно принялся за литературный труд.

Велика интуиция великого человека! Горький словно знал, что жизни Антону Семёновичу отпущено не так уж много и следует торопиться поскорее оставить людям то, чем он был богат. Но нет, ничего этого он, конечно, не знал, просто было ему очень и очень жаль, что остаётся втуне уникальный опыт и что Макаренко, пожалуй, разменивается на то, что доступно теперь и другим. Не предполагали своей судьбы и Антон Семёнович с Галиной Стахиевной. Не то Антон Семёнович, возможно, заставил бы себя поторопиться. Но Горький значил для него так много, что проигнорировать его настойчивый совет он счёл для себя не вправе.

Теперь редкий день обходился без того, чтобы он не настучал на машинке хотя бы несколько страничек. Он называл их черновками. Теперь в полевой сумке у него, кроме деловых бумаг, лежали тетрадки с черновками. Завёл небольшую, размером чуть побольше тетрадного листа, фанерную

дощечку, которая тоже заняла место в полевой сумке. При случае доставал дощечку, тетрадь и, углубившись, записывал пришедшее на ум, картинку с натуры, вспомнившееся, найденный образ. Это станет со временем привычкой. Например, на привале, когда колонна дзержинцев отдыхала, направляясь на Первомайский парад, на этой самой дощечке будет написана одна из самых очаровательных глав «Педагогической поэмы» — «Идиллия».

После бурной и напряжённой общественной деятельности, которой Галина Стахивна жила прежде, болезнь могла нанести ей удар в самое больное место — лишить смысла самое существование. Помощь мужу в его литературной работе стала для неё, может быть, сильнее любого лекарства.

Стараясь не переусердствовать, она поощряла его творчество своим интересом к нему. Интерес это был, разумеется, неподдельным, потому что ей действительно нравилось выходящее из-под пера мужа — если юмор, то искрящийся всеми переливами украинской тонкой иронии, если портрет пацана, то такой сочный и колоритный, что можно было разглядеть его всего, как на хорошей картине, если речь шла о личных переживаниях, которыми он делился, то поражали в них горячая искренность и страсть человека, через сердце которого, казалось, проходили все трещины мира. Они обсуждали написанное, Антон Семёнович не отвергал её советов, и уж в чём, в чём, а в выстраданности будущих книг мужа было и её сердце — всё, без остатка.

В одном она не могла помочь ему. На его плечах оставалось всё то, что, как и прежде, было не по силам одному человеку. Круглые сутки он возился со всякими чёрными делами — столовая, спальни, вешалка, обувь, подготовка к юбилею, стенгазета, кружок, целый день в мелочах... И заметить его во всём этом было действительно некому.

Время от времени всё же урывал минутки и писал, под вздохи жены, сокрушавшейся: «Совсем себя не бережёшь. И откуда только силы берутся!..»

— Если бы я тебя не полюбил, я бы никогда даже и черновок моих не сделал, — обнимая жену, признался он однажды.

И уговорил её засесть за письменный стол. Через месяц рукопись книги «Беспризорность и борьба с нею» была готова.

Печатал ночами сам Антон Семёнович, параллельно правя её, вставляя свои мысли, докручивая отдельные места, дописывая некоторые главы.

Галине Стахивне хотелось, чтобы авторство было их совместным:

— Здесь твоего ничуть не меньше, чем моего.

— Нет, — решительно возразил муж. — Это не моя сфера деятельности, и я не имею права быть в ней законодателем мнений...

Книжку взяли в медицинском издательстве — другие отказались — и выпустили неожиданно быстро. Держа в руках присланные Галине Стахивне авторские экземпляры, Антон Семёнович ласково поглаживал их:

— Да, это, конечно, хороший способ для утверждения своих идей... Когда-нибудь, может, и я тоже....

И вдруг неожиданное:

— Лучше быть ярким заведующим колонией, чем сереньким писателем... Если писать книгу, то только такую, чтобы сразу стать в центр общественного мнения, завертеть вокруг себя человеческую мысль и самому создать сильное слово.

В книжке жены ему удалось высказать кое-что из того, о чём много думал.

По незнанию ли педагогических проблем, по причине ли отсутствия педагогических предрассудков, а, может, наоборот, понимая всё, как надо, издатели-медики пропустили в печать откровенную критику некоторых официальных концепций.

На протяжении двадцатых годов в педагогическую литературу понемногу проникли, в частности, идеи врождённой преступности. Сейчас Антон Семёнович и Галина Стахивна позволили себе рассудить: «Мы утверждаем, что нет другой причины преступности, кроме социального неравенства и социального насилия, а на деле со временем относимся к правонарушителю как к чему-то полностью природному... Это отражается и на нашем отношении к мальчику-беспризорному, в особенности к мальчику-правонарушителю. И теперь в детской колонии можно услышать удивлённые возгласы посетителей: «Да неужели это всё давние беспризорники? Не может быть!.. Даже их узнать нельзя... Даже лица не такие...» Вот в этом удивлении и просматривается вера в прирождённую преступность у человека. Удивляются именно потому, что не могут

допустить, как этот злодей и бродяга берётся за работу и переделывается в честного человека. А на самом деле ничего в этом дивного нет».

Заложили они в книгу и другую, на их взгляд, важную мысль: что нужно опираться на положительное в воспитании подростков вне зависимости от их прошлого.

Это тоже служило камнем преткновения в теоретических спорах.

Антон Семёнович был глубоко убеждён, что нет и не может быть никакого перевоспитания, что может быть только нормальное воспитание. Перевоспитательская доктрина чревата уже тем, что ставит воспитателя и воспитанника в позицию противостояния, а тут нужно объединение их на основе общего движения к одной цели. Галина Стахиевна наблюдала, работая в Наркомпросе, как часто не только в колониях, но и в детских домах анархистские наклонности, стремление к протесту против воспитателей укореняются именно потому, что персонал и дети разделены на «мы» и «они», что педагоги порой оказываются просто не в силах перешагнуть через барьер обычной обывательской заинтересованности покопаться в человеческих недостатках.

Антон Семёнович рассказал ей, как однажды горьковцы пришли приветствовать какой-то съезд в Харькове и их встретили торжественными возгласами:

— Да здравствуют беспризорные!

Она представила, какую травму нанесли пацанам, уже привыкшим в колонии к тому, что они не беспризорные, а воспитанники, колонисты, хозяева не хуже всех остальных. Но, вставляя этот эпизод в книгу, представляла и другое. Ведь участники того съезда могут узнать себя в этом описании. А узнав — умножат ряды противников Антона Семёновича.

— Не волнуйся, — успокоил муж. — Они постараются себя не узнать.

Ещё одну мысль супруги выносили вместе и теперь поделились ею публично — что нынешняя беспризорность в стране есть продукт «ужасного кустарничества в деле воспитания». Высказывание тоже было чревато последствиями. Галина Стахиевна склонялась к более осторожным выражениям. Но Антон Семёнович был, как всегда, бескомпромиссен:

— Нужно выражаться точно и определённо. Иначе зачем?

Выход книги дал им обоим пищу для радости надолго. Для Галины Стахивны это был удобный случай убедить мужа в том, что писательская стезя для него — самое наилучшее средство самовыражения.

— Да, да, — соглашался Антон Семёнович и впрягался в подготовку черновиков для работы над романом, но за роман так и не принимался. Чего ждал?

Как-то заехал проведать старого друга Николай Эдуардович Фере. К этому времени он уже трудился в подмосковном лесотехническом институте, с головой ушёл в науку.

— Вот видите, — откровенно позавидовала ему Галина Стахивна, — вы поняли, что выросли из масштабов колонии, и теперь занимаетесь более серьёзным делом. А Антон Семёнович... У него такое тонкое художественное видение! Такой прекрасный слог! Так много за душой! Кому же, как не ему, писать! Николай Эдуардович, поговорите с ним! Он так вас уважает, так с вами считается!

Выслушав друга, Антон Семёнович рассмеялся:

— Дипломат из тебя не получится, Николай! Признавайся: Галя настроила? Она, она, не красней.

Разговор происходил в отсутствие Галины Стахивны, но она как раз входила в комнату и, уловив последние слова, насторожилась. Момент, чтобы вместе с Фере поговорить мужа заняться тем, к чему, если разобратся, его вела судьба с самого начала, был как нельзя лучше. Но, увидев жену, Антон Семёнович вдруг напустил на себя весёлость и принялся скоморошничать:

Пидэм, Галю, з намы, — запел он, —
З намы, казакамы!
Краще тоби будэ,
Як в родной мамы.
Ой ты, Галю, Галю молодая!..

И совершенно неожиданно предложил Фере, собиравшемуся выехать в составе научной экспедиции на Северный Кавказ изучать опыт строительства крупных совхозов:

— А вот давай-ка попробуем, на что способны. Веди дневник. Вернётся — вместе из него что-нибудь соорудим. А?

Педантичный Фере привёз интересные записи. Прочитав их, Антон Семёнович сказал:

— Ну вот, это что-то.

Вечерами, ночами яростно стучал на машинке, обрабатывая собранные Николаем Эдуардовичем материалы. Ровно через неделю читал Галине Стахивне и другу получившийся очерк. И Галина Стахивна, и Фере — оба обратили внимание, как мастерски оживил Антон Семёнович мысли Фере поэтическими описаниями степной природы, трудовых процессов. Оба отметили, что форма очерка, последовательность изложения материала безупречны. И точно, в государственном издательстве Украины, познакомившись с рукописью, сразу сказали:

— Дадим.

На титульном листе книжки вместо фамилий авторов стояли лишь их инициалы — Н. Ф. и А. М. Сделано это было по настоянию Антона Семёновича — именно он хотел оставить своё авторство инкогнито. Такой радости, какую испытывал раньше, когда вышла книжка жены, теперь не было: там — тема родная и близкая, тут он выступил лишь в роли литературного обработчика. Однако общение с издателями кое-что дало. Не так страшен чёрт, как его малюют.

Накануне пятилетия коммуны имени Дзержинского Антон Семёнович загорелся идеей сборника, рассказывающего о её жизни. Пригласили из Москвы корреспондентов «Комсомольской правды». Трое «комсомолят» — Бачелис, Шаховский и Гольдфарб — две недели шарили по коммуне, знакомились с сотрудниками, с пацанами, глядели на всё широко открытыми глазами и от обилия впечатлений не знали, с чего же начать. Антон Семёнович пригласил их к себе и предложил свой план книги. Пусть это будет коммуна глазами разных людей. Пусть расскажут о ней со своих позиций председатель правления Александр Осипович Бронево́й, инженер Силаков, комсомольский секретарь Швед, дать слово Букшпану — ответственному в правлении за культмассовую работу, поместить нечто вроде летописи и, конечно, предоставить слово самим воспитанникам.

— Ну а я, если не возражаете, хотел бы осветить пройденное пятилетие с точки зрения педагогической.

— Какие же могут быть возражения! Да, да, конечно. Именно так мы и представляли.

На том и порешили.

Все авторы, получив задание Макаренко, работали ударно, и всего через несколько дней материалы, отпечатанные Антоном Семёновичем, лежали в портфелях корреспондентов. Ещё через месяц с книжной фабрики Партиздата ЦК партии Украины позвонили в коммуны:

— Приезжайте! Книжка готова.

Много было эмоций по поводу вышедшего сборника «Второе рождение», много высказывали всяких оценок, но одна, по мнению Галины Стахивны, была среди них самая важная для Антона Семёновича. Принадлежала она Александру Осиповичу Броневому:

— Знаете что, Антон Семёнович? Мне весь сборник дорог, сами понимаете, но на что я обратил особое внимание, что особенно ценю в нём — это ваша статья. Если вы скажете, что писали её всего те три недели, пока корреспонденты жили в коммуне, я не поверю.

— И не верьте, Александр Осипович! Статья была написана за одну ночь.

— Вот это да! Это ж новое слово в педагогической... как бы это сказать... Педагогическая публицистика, вот! Рождение нового жанре!

«Педагоги пожимают плечами». Уже в самом названии статьи скрывалась тонкая и одновременно едкая макаренковская ирония. Язык, стиль — в их отточенных гранях сияла звонкой радугой педагогическая гордость Макаренко детищем чекистов и педагогов. И его соответственным детищем, конечно, но об этом он скромно умолчал.

«Педагоги — самые уважаемые работники у нас в Союзе. Задача педагогов самая почётная — создавать людские кадры для всех отраслей нашей жизни. Нашей педагогикой, советской педагогикой, мы уже можем гордиться.

И всё-таки пожимали плечами по поводу работы нашей коммуны, представьте себе, педагоги!»

Разве не интригующее начало? Разве не захочет любой читатель после хвалебных слов в адрес педагогов узнать, а в чём же дело? Чем так недовольны педагоги? Но автор не спешит с ответом. «Пожимали плечами не все педагоги. О нет! В подавляющем своём большинстве это народ смелый, чуткий, интересующийся всяким хорошим почином. В таком же подавляющем большинстве это народ героический, во всяком случае, работу он

проделывает трудную и большую, и поэтому пожимать плечами по случаю нашего хорошего дела они никогда бы не стали».

Ага, значит, имеется в виду, что есть педагоги разные? Кроме названного большинства, есть ещё и некое меньшинство? Кто же такие? «Пожи-мала плечами небольшая кучка, самая маленькая. Эта кучка обитает на Олимпе. Эта кучка состоит из людей, которые, может быть, не воспитали ни одного живого, даже собственного ребёнка, но которые зато сочинили много педагогических принципов».

Искусство полемиста, умение неназойливо преподнести суть трудностей, которые разрешены в коммуне, и убедить, что история дзержинцев — это не случайная удача, а результат точного организационного и педагогического расчёта, что воспитательные принципы, которым в коммуне следуют, это принципы, на которых и должно быть основано воспитание личности в государстве, строящем социализм... И всё это подкреплено в статье чётко выраженной программой.

Бодрый тон уверенного в своей правоте автора был небезоснователен. Собственно, ещё к тридцатому году поиски и замыслы Антона Семёновича уже сложились в определённую систему, представляли собой не только теоретическую концепцию, но и обрели в коммуне имени Дзержинского реальную плоть.

Той зимой, оставив на время подготовительные наброски к роману о колонистах, он несколько месяцев корпел над серией очерков о коммуне. Галина Стахивна расстроилась поначалу: это уводило мужа в сторону от главного. Но когда он познакомил её с тем, что получается, обомлела: вся жизнь коммуны как на ладони. Каждая мысль, каждое слово — будто винтик в часах «Павел Буре»... Подумала: а что, любопытно, было бы с мужем, стань он не педагогом, а кем-то ещё — врачом, архитектором, инженером, сапожником, наконец? Это был бы выдающийся инженер, выдающийся архитектор. Даже сапожником он стал бы неординарным — не иначе как шил бы бальные туфельки для Золушек, ставших королевами. В нём сидело взаперти столько талантов, что их хватило бы на многих. В сочетании с редким, какое встретишь на миллион человек раз, трудолюбием это в любом случае способно было сделать личность крупной.

Самым же значительным среди талантов мужа она считала талант литературный.

— Тося, ты любишь цитировать Овидия, — проговорила Галина Стахиевна. — «Есть мера в вещах». А сам... Ты не доверяешь моим оценкам?

Антон Семёнович обнял её:

— Что было бы, если б у меня не было тебя! Хорошо, так и порешили: очерки будем предлагать.

Он полагался на вкус жены и никому больше очерков не показывал. Он вообще тщательно скрывал ото всех свои литературные упражнения. «Мало на меня дохлых собак навешано! Ещё и в связи с этим найдётся мудрец, приклеит очередной ярлык: вот, дескать, он ещё и писатель!..» Галина Стахиевна не возражала. Действительно, зачем трезвонить раньше заутрени!

Несколько дней искали заглавие книги, остановились на том, что точнее всего отвечает её духу и содержанию название — «Марш 30-го года». Именно марш — стремительное движение практической педагогики, поставленной на службу социализму, — так рассматривал Антон Семёнович жизнь коммуны имени Дзержинского.

Галина Стахиевна сама отвезла бандероль с рукописью на харьковский почтамт и отправила в Москву, в Государственное издательство художественной литературы. На том, чтобы отослать именно туда, а не в какое-то другое, настояла тоже она.

— Это вполне художественное произведение. Только в ГИХЛ!

— Книга имеет сугубо практическое назначение, она рассчитана на педагогов, — сомневался Антон Семёнович.

— Тося, ну чем мы рискуем?

Вскоре из Москвы ответили: тема и форма книги представляют интерес, и издательство намеревается её выпустить после некоторых доработок.

Он старался не выдать своих ожиданий, но Галина-то Стахиевна замечала, как, просматривая почту, он всякий раз нетерпеливо ищет в ней что-то, а не найдя — с усилием гасит вздох.

Но время шло, а издательство хранило стойкое молчание. Антон Семёнович напомнил о себе — в ответ ни слова.

Вполне возможно, кто-то из менее ответственных работников поторопился с обещанием, а те, что повыше,

посмотрели-посмотрели да решили всё наоборот. Ну кто такой этот Макаренко из Харькова, чтобы поучать всесоюзную аудиторию! Ах, Горький в очерке «По союзу Советов» его похвалил? Да разве не может быть, что очерка Алексея Максимовича данное должностное лицо не читало?

Примерно так рассудил Антон Семёнович, объясняя непоследовательность издателей. И постепенно как-то даже охладел к «Маршу», словно бы вовсе забыл о нём.

Галина Стахивна встревожилась. Неудача — не лучшее поощрение творческих усилий.

— Напиши Алексею Максимовичу, — посоветовала она.

— Ну что ты, Галя!

— Напиши! Это ведь плохое проходит само. А хорошее требует благословения.

Он не любил тревожить людей личными просьбами. А уж отнимать время у Горького тем более не мог.

Галина Стахивна помнила во всех подробностях, словно перенесла это сама, горестную и бесконечно обидную историю ухода мужа из Куряжской колонии. Собственно, даже не ухода, а изгнания. Результатом отчёта Антона Семёновича на заседании научно-исследовательского института педагогики был приказ об освобождении от заведования колонией. Произошло это, по злой иронии, всего за несколько дней до приезда в гости к горьковцам Алексея Максимовича.

Как поступил бы на месте Антона Семёновича почти каждый? Конечно, рассказал бы обо всём Горькому. Кому только не помогал великий писатель, с какими только просьбами, даже самыми нелепыми и неприличными, не обращались к нему — он не задумываясь тратил себя на них. Доходили и до Антона Семёновича легенды о горьковской отзывчивости. Да и сам Алексей Максимович, не раз укоряя в письмах за нежелание использовать его возможности для блага колонии, прямо говорил, что докучают ему порой до невозможности. Будто за него, Горького, работает целый департамент. И всё равно — из той деликатности, которая не позволяет отказать, делает всё, что от него просят. Так что не было бы ничего предосудительного, если бы Антон Семёнович обратился к нему за защитой. Ведь колония не просто носит его имя, она проникнута тем горьковским духом, который терпеливо выносил и выпестовал он, Макаренко,

а значит, никто иной и не сумеет им дорожить, как он.

Но не мог Макаренко оскорбить своей любви к Горькому личной просьбой! Потому лишь попросил в наробразе, чтобы подписанный, но не обнародованный приказ о его снятии с должности полежал некоторое время под тем же сукном, под каким лежат, иногда долго, и добро несущие документы. Пока, то есть до отъезда Алексея Максимовича из Куряжа.

Ни одна живая душа не знала, ни с кем из близких ему людей ни словом, ни намёком не поделился Антон Семёнович ни о приказе, ни о компромиссе, на который наробразовцы согласились. Для него было гораздо важнее, чем восстановить справедливость по отношению к себе, ничем не омрачить встречу.

Харьковские газеты, пока Горький жил в Куряже, на все лады возносили до небес Макаренко, лили восторг по поводу высоких оценок, которые высказывал Алексей Максимович в адрес заведующего колонией и его питомцев. Даже те газеты, которые ещё недавно не останавливались перед бранью. По колонии ходило всякое наробразовское начальство, делало вид, что тоже млеет от похвал Горького, благоухало елеем и с опаской поглядывало на заведующего: не выдал ли, не нарушил ли уговор? Они не понимали не только педагогики Макаренко...

А когда колонисты торжественно и трогательно проводили так ни о чём и не узнавшего Алексея Максимовича в Днепропетровск, когда вернулись поздним вечером с вокзала и ночь уняла наконец возбуждение пацанов и взрослых, тут-то и обнаружили, что Антона Семёновича в Куряже нет. С вокзала он уехал к дзержинцам. Длинные проводы — долгие слёзы! Ни к чему! Он оставляет их не по своей воле. Не быть же ему, в самом-то деле, назойливой невестой, предлагающей себя жениху, который воротит от неё нос! К тому же уже год параллельно с Горьковской колонией он руководит коммуной имени Дзержинского. Алексей Максимович не будет в обиде на него, потому что туда он перенёс всё лучшее, что было найдено в колонии его имени.

Татьяну Михайловну он заблаговременно, ещё до приезда Горького, перевёз в коммуны, старушка уже заждалась там. Даже она, добрая и милая Татьяна Михайловна, не заметила, что из сердца её сына без жалостно вырвано очень

и очень дорогое, — так умел он скрывать от окружающих своё личное. А какой была его боль, нетрудно догадаться хотя бы по тому, что даже спустя много лет он ни разу не наведлся в колонию имени Горького. И представляя, как крадучись он покидал колонию, что чувствовал в ту минуту, Галине Стахивне хотелось разрыдаться. Ну ведь мог, мог, мог он попросить Горького! Ведь не о нём самом шла речь!

Сейчас ситуация складывалась тоже вязкая. Но издание «Марша» началось бы если не завоевание литературных позиций, хотя это тоже было чрезвычайно важно, то позволяло обнародовать, вынести на суд божий идеи, которые, по убеждению и самого Антона Семёновича, были нужны другим. Потому она настаивала:

— Напиши!

— Нет, Галя. Просить об этом — больше, чем дозволено дружбой, — из последних сил сопротивлялся Антон Семёнович.

Он редко уступал, а если это противоречило его убеждениям — не уступал вообще. А тут, поколебавшись, всё же сдался.

Ни он, ни Галина Стахивна не знали, что Горький тотчас попросил директора ГИХЛа Халатова вмешаться: «История с «Записками» Макаренко о Харьковской колонии беспризорных темна и загадочна. Почему книга, одобренная редакцией, не появляется вот уже более года? Почему на запросы автора ГИХЛ не отвечает?» Не знали, но когда вскоре Антона Семёновича позвали в издательство познакомиться с корректурой, поняли: конечно, не обошлось без Горького.

Книга вышла. Тиражом пять тысяч экземпляров. Реакции на неё ни со стороны критиков, ни со стороны педагогической общественности почему-то не последовало, если не считать путаной, неопределённой рецензии в журнале «Художественная литература». Рецензент Л. Гессен не то хвалил, не то ругал книгу. Попытки оценить её педагогическую ценность представляли дилетантские уколы вроде того, что, дескать, автор преувеличил значение ребячьего самоуправления, не показал связи труда с обучением, мало уделил внимания школе.

Авторские экземпляры были розданы близкому окружению, в котором выход книги восприняли как-то странно — как нечто

само собой разумеющееся.

Антон Семёнович приуныл.

Но не успел он поогорчаться как следует, почта принесла письмо из Сорренто. «Дорогой Антон Семёнович, — писал Горький, — вчера прочитал Вашу книжку «Марш 30-го года». Читал с волнением и радостью. Вы очень хорошо изобразили коммуны и коммунаров. На каждой странице чувствуешь Вашу любовь к ребятам, непрерывную заботу о них и такое тонкое понимание детской души. Я Вас искренне поздравляю с книгой».

— Вот видишь! — торжествовала Галина Стахивна.

— Вижу, вижу, — как-то неопределённо ответил муж, а спустя два дня показал свой ответ Горькому.

«Писательский зуд просто оказался сильнее моей воли, а по доброй воле я не писал бы. Ваш отзыв перепутал все мои представления о собственных силах, теперь уж не знаю, что будет дальше...»

Дело было, конечно, не только в неуверенности в себе. Галина Стахивна, как никто ещё, понимала, что не последнюю роль играет и опасение другого рода. Засилье педологии и других течений в педагогике было столь внушительным, что первый же рецензент перечеркнул бы рукопись как нечто вредное и злонамеренное, потому что избежать в романе рассказа о своём противостоянии с «олимпийцами» честный и прямой Макаренко просто не мог. Написать всё, как оно есть и было, значит, обречь книгу на поражение. Книга не вызрела, для неё не пришло время. Но и не писать теперь он уже не мог.

Так или иначе, а вслед за выходом «Марша» он урывками продолжал работу над романом. Правда, снова и снова откладывал его. То взялся за продолжение «Марша» — ту самую повесть «ФД-1», которую написал в московской гостинице «Маяк», то принялся за пьесу «Мажор», которую позже издаст под псевдонимом В. Гальченко (опять всё та же доходящая до крайности скромность!). Но всякий труд, если он, конечно, не сизифов, рано или поздно приходит к концу. Снова и снова перечитывая страницы первой части романа, он сдерживал нетерпение жены:

— Не знаю, не знаю...

Вот же характер!

Она боялась перегнуть палку и терпеливо ждала. Но когда прочла его

признание в письме Горькому — «...как-то страшно выворачивать свою душу перед публикой с такой щедростью», — поняла, что это уже последние колебания.

В альманахе «Год семнадцатый» вышла первая часть «Поэмы». Через год с небольшим — в альманахе «Год восемнадцатый» — вторая. Хлынул поток восторженных писем. Антон Семёнович был ошеломлён таким успехом романа. После многих лет единоборства с «олимпийцами» он даже и надеяться не смел, что у него может оказаться столько друзей, единомышленников, последователей.

Его приглашали в школы, на предприятия — ездил, выступал, домой возвращался окрылённым. О том, как приняли его, говорил скупой, но блеск в глазах говорил за него самого: может быть, теперь он получал то, что годами отбирали у него «олимпийцы».

Вдруг — заказное письмо из Москвы. Антон Семёнович вскрыл его и с удивлением обнаружил удостоверение. Недоверчиво повертел в руках. «Союз советских писателей СССР», — прочёл он. Раскрыл корочки. Так вот зачем Алексей Максимович просил прислать фотографию! Ещё плохо соображая, в чём дело, пробежал глазами напечатанное и написанное справа. Членский билет № 583. «Тов. Макаренко А. С. состоит членом московской организации союза советских писателей». Подпись председателя — Горький — и незнакомая — секретаря.

Никогда ни до, ни после этого события Галина Стахивна не видела мужа таким возбуждённым. Он схватил жену в охапку и закурил по комнате.

— Ты понимаешь? Нет, ты что-нибудь понимаешь?

— Я всегда это знала, — робко отвечала она, сама готовая заплакать от радости.

Это была и её победа. Потому что всегда верила: жизненная тропа мужа рано или поздно приведёт его к чему-то значительному — а именно таковым она и считала выход «Педагогической поэмы».

Только тут он признался, что страсть к сочинительству была в нём чуть ли не с детства. Первые опыты, как это часто случается, — стихи, сатирические куплеты, героями которых выступали одноклассники и педагоги. Позже, учителем, писал стихи для праздничных утренников как поэтические заставки к литературным представлениям. Выходили из-под его пера и рассказы, скетчи для драматического

кружка. К счастью, хватило самокритичности не поверить похвалам, которые слышал от друзей, не возомнить о себе бог знает что.

Однажды всё же не выдержал — написал рассказ и послал его — да, да, Горькому. Рассказ назывался «Глупый день». Речь в нём шла о попе и его жене, в тихую мещанскую заводь к которым ворвался влюблённый в молодую попадью учитель. Несчастный поп, прознавший об адюльтере неверной супруги, с горя прочитал в церкви молебен по случаю открытия черносотенной организации «Союз русского народа» в их провинциальном городе, но тут понял, что тем самым окончательно потерял не только жену, но и право на ревность.

— Ответ Горького был примерно таким: рассказ интересен по теме, но написан слабо, драматизм переживаний попа неясен, не написан фон, а диалог неинтересен. Попробуйте написать что-нибудь другое... Вот как долго я собирался писать это другое.

— Алексей Максимович об этом помнит ли? — спросила его однажды жена.

— Ну что ты! Помнил бы — сказал. Вряд ли он связал со мной тот рассказ из Полтавы, ведь многие тысячи прошли через его руки!

— Видишь, судьба завершила круг...

Уже не надо было убеждать его, что писательское поприще ему по плечу. Уже не отвечал он, как прежде: «Ну да! «Иван Александрович, ступайте департаментом управлять!» Я не Хлестаков, слава богу. И мне скоро пятьдесят. В моём возрасте профессию не меняют». Но он всё откладывал и откладывал расставание с коммуной. Галина Стахивна видела, как муж цепляется за каждую возможность нести свой тяжкий крест, как и прежде: то причиной были сбои в строительстве завода фотоаппаратов, то приняли большую группу беспризорных, то вообще коллектив попал в глубокий и затяжной кризис, из которого мог вывести только сам Антон Семёнович... Позже, когда последовало неожиданное назначение в НКВД, она поняла, как много значили для него пацаны. Настроение было — словно похоронил кого-то из близких.

Так что не случись перевода в наркомат, возможно, он ещё долго не нашёл бы в себе сил разорвать узы, которыми был привязан к коммуне. Но тут — вызов в НКВД. Хочешь не хочешь, а подчиняйся. Твоего согласия никто не спрашивает. Считай, что мобилизован.

Сам он, захваченный новым делом, не сразу почувствовал, что же в новом его положении хорошего, а что плохого. Галина Стахивна имела достаточно продолжительный опыт аппаратной работы. Она смогла бы представить своего мужа где угодно, но не в таком учреждении, как наркомат, пусть это и НКВД. Потому откровенно призналась ему:

— Это трагедия.

— Ну почему же? Есть и другая сторона случившегося — мне оказали доверие, и я обязан его оправдать. — У тебя столько писательских планов!

— Ну что ж, мне не привыкать! Видно, такая мне уготована юдоль. Буду писать, несмотря ни на что.

— Ловлю на слове.

— Не надо. Я теперь и сам без этого прожить не смогу.

Уже работая в наркомате, дописывал третью часть «Педагогической поэмы». Часто ездил в командировки, уходил рано утром, возвращался далеко за полночь. Видела, знала, чувствовала, что порой от него оставалась одна оболочка — всё внутри было сожжено дотла служебными заботами. Но она знала и другое: если муж оставит хоть ненадолго литературный труд — считай, расстался с ним навсегда. Потому, едва была отослана в Москву третья часть «Поэмы», она увлекла его новой идеей — написать книгу для родителей. Сперва отнекивался:

— Ну какой из меня специалист по семейному воспитанию!

— Ты специалист по воспитанию. К тому же я помогу тебе...

Со стороны могло показаться: до чего же безжалостна её настойчивость. Лиля, уже по-взрослому воспринимая жизнь, в душе негодовала. Неужели, думала, она не видит, какой приходит дядя с работы! Уставал до такой степени, что лицо иной раз отдавало восковостью. Садился за письменный стол и долго ничего не делал, молчал, оперев голову на ладони. Лиле казалось, что тётка старается для себя.

— Мало ей, что дядя Тося занимает такую важную должность, мало — вышел роман, ей подавай новые успехи, словно он актёр театра, — жаловалась Лилия Васильку Броневому, сыну Александра Осиповича. Они оказались в одном классе и, поскольку Антон Семёнович и Александр Осипович дружили, тоже завязали отношения, сперва приятельские, а потом и дружеские. Они сидели за одной партой, и Василёк стал при ней

вроде Санчо Пансы, оруженосцем и доверенным лицом.

Но Галине Стахивне было известно в муже то, чего не чувствовала и не могла понимать даже родная по крови Лилия. Ему гораздо важнее было жить в том ритме, где каждое мгновение — напряжение, где не существует такого понятия, как усталость. Отдать все силы до последней капли, дойти до черты, через которую уже не перешагнуть даже под страхом смерти, упасть, набраться новых сил — и опять до новой черты, у которой вновь полное изнеможение. Новый привал — и снова в путь. Так он жил всю свою жизнь. Такая судьба стала для него и потребностью, и привычкой.

Когда Галина Стахивна с Лилей переехали в Киев, они застали Антона Семёновича в самый разгар подготовки какого-то важного документа. Выкладывался и спешил так, будто чувствовал: жить ему оставалось всего ничего, а может, и того меньше. Но не успел закончить работу над одним документом, тут же приступал к другому. Особенно же возмущало Галину Стахивну, что мужу довольно часто поручают подготовку докладов для начальства. Раз писатель, рассуждали, так пиши. Более бездарной траты сил и способностей даже и предположить было невозможно. Однажды затеяла разговор об этом — Антон Семёнович только нахмурился. Действительно, новая работа не только не приблизила к литературному творчеству, на что он надеялся, а даже наоборот. В коммуне была одна круговерть, тут другая. «Каждый день — дребедень», — услышал он однажды из уст кого-то из работников отдела. Грубо, но к истине близко.

Впрочем, работа над «Книгой для родителей» продолжалась. Галина Стахивна либо делала заготовки, которые муж правил, либо, наоборот, брала на себя роль литправщика того, что он успевал настроичить на машинке глубокой ночью, когда она спала.

По делам, связанным с выходом «Поэмы», ездил в Москву. Договорились, что зайдёт в Наркомпрос посоветоваться по поводу новой своей книги. Когда вернулся и рассказал о поездке, Галина Стахивна спросила:

— А как же Наркомпрос?

— Занятная история!.. Захожу в парадное, на стене — перечень отделов наркомата, ищу то, что мне нужно. Нету! Направляюсь к вахтёру: не поможете ли?

Он смолк и улыбнулся.

— А что же было дальше? — поторопила мужа Галина Стахиевна.

— Вахтёр обстановку не прояснил. Не знаю, говорит, к кому вам обращаться. Идите в школьное управление.

— Ну да, мог бы и сам догадаться, что этими вопросами ведают они.

— Вот тут-то и началось самое интересное, — усмехнулся Антон Семёнович. — И ты, конечно, будешь очень удивлена, когда узнаешь, как дело было. Вот, говорю, пишу книжку для родителей. Посмотрел бы кто! Может, я выступаю, как еретик?

— Ну и?..

— Некому, отвечают, у нас посмотреть вашу рукопись. У нас нет отдела семейного воспитания. А какие, спрашиваю, есть? Есть школьный отдел, есть внешкольного воспитания, дошкольного.

— И чем всё кончилось?

— Тем и кончилось. До свидания, говорю.

— Так это, может, и к лучшему? Тося, не томи! Говори, что было дальше!

— Ты же хотела знать всё в подробностях... Конечно! Втянула меня в это дело, а теперь переживаешь.

— То-ось! — взмолилась Галина Стахиевна.

— Ну хорошо, хорошо, не буду! — Антон Семёнович согнал с лица улыбку. — Я решил, что мы поделили функции. У них отдел школьного воспитания, а у меня будет отдел родительского воспитания. Я ведь всё время чувствовал за собой этот авторитет — школьный отдел Наркомпроса, который обладает такой глубокой эрудицией по всем вопросам воспитания, что я просто не вправе касаться вопросов, которые он обслуживает. А оказалось, что я касаюсь вопросов, которые никакого отдела не имеют и которыми никто не владеет.

— Узурпировал семейное воспитание!

— Узурпировал... Но дальше всё вдруг решилось с потрясающей простотой. Встретился с Петром Андреевичем Павленко...

— Кто это?

— Есть в Москве такой писатель. Работал в партийных органах, потом в Турции — дипломатом, а теперь вот тоже вроде меня, старого чудака, в писатели подался. Написал «Азиатские рассказы», выпустил несколько сборников очерков — «Стамбул и Турция», «Путешествие в Туркменистан», повесть «Пустыня». Словом, набирается сил...

В Союзе писателей он курирует альманахи. Сейчас готовит альманах «Год девятнадцатый». Когда я рассказал ему о нашем с тобой труде — он мне сразу: «Значение такой книги было бы всенародным...» Вот так! Требуется немедленно рукопись. Сколько есть, сколько готово.

— Вот это подарок ты мне привёз!

— Старался!

Но таких радостных моментов становилось в жизни почему-то всё меньше. Муж чаще и чаще молчал, и от вопросов жены даже и не отшучивался... Верная привычка, она не докучала расспросами, надеясь, что рано или поздно всё прояснится.

Хотя что же ей прояснить? Газеты она читает, радио слушает, не отлучена, будучи домохозяйкой, от жизни. Что же ей прояснить? Потому она больше волновалась не о том, что муж завален чёрной и, как она считала, неблагодарной аппаратной работой, не о том, что никак всё не удаётся ему заняться одним только писательским трудом. Её беспокоило другое.

Галина Стахивна накладывала нынешние события общественной жизни на тот мучительнейший поиск себя, который сопровождал Антона Семёновича с ранней молодости вплоть до сорока лет, когда человеку, казалось бы, уже не до пересмотра своих убеждений.

Однажды по поручению мужа она приводила в порядок его архив и в нём обнаружила черновик письменной работы «Вместо коллоквиума», которую он составил для приёмной комиссии института организаторов народного образования, куда поступал в двадцать втором году. Политическая ориентация тридцатичетырёхлетнего педагога послеоктябрьской поры отражена в этом документе, как в зеркале: «По политическим убеждениям — беспартийный. Считаю социализм возможным в самых прекрасных формах человеческого общежития, но полагаю, что, пока под социологию не подведён крепкий фундамент научной психологии, в особенности психологии коллективной, научная разработка социалистических форм невозможна, а без научного обоснования невозможен совершенно социализм».

Научная разработка социалистических форм... Он ожидал, что теоретики социализма, наука укажут путь к формам социалистической реальности. Он и часть своих усилий прилагал как раз к этой области — разработке «психологии коллективной». Его политический инстинкт решал

дилемму отношений индивида и коллектива, он старался выяснить для себя истинную диалектику и социальную природу отношений между людьми в новом обществе.

О главном своём открытии он написал однажды Горькому: «Не может быть воспитания, если не сделана центральная установка о ценности человека». Но дальше начиналось противоречие. С одной стороны, идейная установка типичного либерального демократа: «Нужно относиться к людям терпимее». А с другой стороны — неизбежные в эпоху исторической ломки манипулятивные, коллективистские нажимы.

Как и где искал он ответы на свои вопросы, понять нетрудно из той же работы «Вместо коллоквиума»: «В области политэкономии и истории социализма штудировал Туган-Барановского и Железнова. Маркса читал отдельные сочинения, но «Капитал» не читал, кроме как в изложении. Знаком хорошо с трудами Михайловского, Лафарга, Маслоva, Ленина».

Здесь были фамилии народника, одного из идейных предвестников эсеров, Михайловского, меньшевика Маслоva, хотя знакомством с ними к тому времени уже не следовало щеголять. Зато имя Ленина в этом ряду оказалось последним. Случайно ли? И да, и нет. Антон Семёнович сдержанно относился к Коммунистической партии, долго сопротивлялся, чтобы в колонии имени Горького организовывали комсомольскую ячейку. И это было характерно для большинства учителей первой половины двадцатых годов. Тех, кто разделял политические цели большевиков, так сложилось, вокруг Антона Семёновича в то время практически не было.

Кроме того, работы Ленина были и не особенно-то и доступны Макаренку. Выходили они в Петрограде и Москве, а Антон Семёнович жил на Украине, до двадцатого года находившейся в условиях политической нестабильности. Тиражи ленинских работ в первые послереволюционные годы из-за нехватки бумаги были мизерны, так что широкого распространения эти работы не имели. Даже подготовленное под руководством Каменева Собрание сочинений вождя, начатое в феврале двадцать первого года, поначалу выпустили тиражом всего десять тысяч экземпляров.

Во второй половине двадцатых годов многое изменилось. Пафос разрыва со старым проходил. Многие всё чаще задумывались: что в происходящем является исторической и эмпирической необходимостью,

а что несёт печать неумелой импровизации? Один из ведущих участников всесоюзной дискуссии по проблемам педагогики Шульгин, писал тогда: «Грандиознейшее по ценности, интереснейшее по содержанию наследство Ленина. Оно, правда, целиком ещё не разработано, оно не собрано в единую книгу». В это же время началось массовое вступление в партию сначала рабочих, а потом и служащих — в кружках политграмоты изучали труды Ленина, его идеи стали носить всё более массовый характер.

К этому же времени относится и знакомство Галины Стахивны и Антона Семёновича.

Галина Стахивна жила в Харькове, в жилищной коммуналке. «Ответственными квартиросъёмщиками» жилкоммуны состояли многие видные партийные руководители республики: Постышев, Скрипник, Гринько, Петровский, с которыми Антон Семёнович, изредка извещая Галину Стахивну, встречался и иной раз беседовал. Особенно же сошёлся с тогдашним наркомом Рабоче-крестьянской инспекции Украины Владимиром Петровичем Затонским.

И совсем не случайным был поворот в его политической ориентации. «Мой мир — мир организованного созидания человека. Мир точной ленинской логики, но здесь столько своего, что это мой мир», — признавался Антон Семёнович в одном из писем Галине Стахивне. В другой раз делился: «Много читаю Ленина и прямо в восторг прихожу... Он тоже на нашей стороне».

Это не было компромиссом обстоятельствам — с обстоятельствами он редко считался вообще, — а внутренним, выстраданным поворотом.

И вот нынешняя ситуация, когда всё небывало усложнилось, когда многие ценности прошлого десятилетия вдруг оказались поставленными под сомнение, когда многие идеи вышли из-под контроля реальности, а реальность — из-под контроля идей, — как понимает и воспринимает эту противоречивую, чреватую жёсткими конфликтами действительность чуткая ко всему живому, такая ранимая душа Антона Семёновича? Галина Стахивна могла об этом лишь догадываться, потому что он скуп и редко делился своими размышлениями по этому поводу, да и то они носили характер скорее риторических вопросов, ответы на которые искал сам.

То, просматривая кипу каких-то брошюр, вслух произнёс под впечатлением прочитанного:

— «Свобода есть осознанная необходимость»... Н-да... Но кто скажет, а сколько же свободы необходимо человеку, чтобы он чувствовал, что к нему действительно справедливы? И какова величина необходимости, которая не посягает на его свободу? Какие ограничения нравственны, а какие нет?..

В другой раз услышала, как во время утреннего бритья он приговаривал:

— Железной рукой загоним человечество в счастье.. Железной рукой... Загоним... В счастье...

Что он имел в виду, вспоминая эту распространённую надпись на плакатах послереволюционной поры? Перипетии собственной судьбы? Или, как говорится, забирал шире?

В нём шла неведомая ей работа мысли. Он молчал пока, но она знала, что рано или поздно заговорит.

У них не было традицией праздновать семейные даты и юбилеи. И вдруг:

— А почему бы нам не отметить годовщину нашего супружества?

Галина Стахиевна даже опешила. Придя в себя, размечталась:

— Напеку пирогов, позовём гостей, возьмём у кого-нибудь патефон...

— Ни пирогов, ни гостей, ни патефона — пойдём в ресторан. На Крещатике, за фонтанами, знаешь?..

На следующий день Галина Стахиевна заказала в ресторане два места по телефону, попросив, чтобы за столик к ним никого не подсаживали.

Столик оказался хоть и на двоих, и вдали от оркестра, но не у стены, как ей хотелось, а почти посреди зала. Антон Семёнович сразу почувствовал себя тут явно не в своей тарелке. Он мял салфетку, беспричинно озиравлся, передвигал с места на место бокал, поправлял прибор. Поймав недоумённый взгляд жены, застенчиво улыбнулся:

— Странно, но я ужинаю в ресторане впервые в жизни...

Они уже успели поднять три тоста — за неё, за него, за обоих, — когда Галина Стахиевна обнаружила, что столики вокруг них почему-то не заняты. Ещё она успела заметить, что публика поглядывает в их сторону как-то странно, с непонятной отчуждённостью во взглядах. Ил это и Антон Семёнович. И сразу догадался: на публику действовала его форма НКВД. Ему и в голову не пришло, что, направляясь в ресторан, следовало бы

зайти домой и переодеться в иную одежду. Настроение упало.

Галина Стахивна предложила:

— Погода хорошая, пойдём погуляем. Давно мы не позволяли себе этого.

Когда оказались на улице, он переменял решение:

— Знаешь что, давай зайдём к Броневым.

— Просто так? Без предупреждения?

— Кажется, у них неприятность. Ахматов сегодня намекнул... Ему что-то известно, но что именно, не сказал...

Броневые жили на Крещатике: семья Александра Осиповича в одном доме, семья Сергея — в другом, по соседству.

Войдя в подъезд, стали подниматься по лестнице, почему-то неосвещённой. Антон Семёнович взял Галину Стахивну под руку. Она почувствовала, что рука у него нервно подрагивает.

Дверь открыла жена Александра Осиповича, Шура. Её хмурый, угнетённый вид был для неё необычен. Оба знали её весёлой, хлебосольной хозяйкой. В доме у них вечно обретается масса людей — дальние и близкие родственники, знакомые, давние друзья и вообще неизвестно кто, забежавшие на минутку и осевшие на месяц, в том числе и бывшие дзержинцы. Коммунарский народец продолжал тянуться в дом Броневых и после того, как они переехали в Киев. Каким-то нюхом безошибочно определяли, когда можно застать Александра Осиповича, и наведывались не только в одиночку и на пару, но и многочисленной компанией. Александр Осипович тянул одну за другой свои любимые папироски «Сальве», время от времени задавал пацанам вопросы, но больше молчал и, улыбаясь, наблюдал за ними. А пацаны бродили по комнатам, чувствуя себя хозяевами, рассматривали книги, снисходительно подтрунивая над Васильком. В квартире стояло нежное, тихое воркование. Александр Осипович любил такие минуты и не раз говорил Антону Семёновичу, что в это время завидует ему, как никому и никогда не завидовал, и готов бросить всё на свете и уйти работать в детский дом, школу или колонию — безразлично куда, лишь бы к детям.

— За чем же дело стало? Идите! У вас получится! — ответил Антон Семёнович.

— Поздно, жизнь несёт по другим стремнинам.

Шура никогда не жаловалась на многолюдство в доме,

только для виду ворчала иногда: — Всё жау, жау и никак не нажау...

Она слегка картавила, забавно произнося букву «р», старательно избегая слов с этой буквой, но всё равно забывалась, как и сейчас:

— А, это вы... Здравствуйте, здравствуйте... Ах, какое гое, какое гое! Саша был в Хевсоне, вевнулся, а тут... Пвоходите, пвоходите. Он дома, и Севежа у нас.

Через несколько минут супруги Макаренко знали обо всём.

...Утром Сергею позвонили из Молотовского райкома партии, где он стоит на учёте.

— Срочно явитесь в райком к секретарю.

— Если можно, по какому вопросу?

— Очень важному.

Сергей явился в райком, и его тут же пригласили на заседание бюро. Секретарь с места в карьер спросил:

— Чернова знаете?

— Знаю.

— На квартире у вас он бывал?

— Один раз приходил.

— А вы знаете, что он троцкист?

— Нет, не знаю. Он организатор комсомола в Виннице, работает начальником цеха на заводе «Ленинская кузница». Вместе заканчивали рабфак...

— Понятно, — почему-то с угрозой произнёс секретарь и спросил у членов бюро: — Вопросы есть?

Опустив головы, члены бюро молчали.

— Партбилет при вас? — Да.

— Дайте мне его.

Сергей, поколебавшись, повиновался. Секретарь открыл его партийный билет, убедился, что принадлежит он Броневому Сергею Осиповичу и никому другому, и жёстко, ни на кого не глядя, процедил:

— Из партии мы вас исключаем. Всё. Можете идти.

— За что? — оторопел Бронева.

— Можете идти.

И обратился к кому-то из сидящих:

— Пригласите следующего.

Выходя из кабинета, Сергей успел заметить, что этим «следующим» был молодой человек лет двадцати пяти, по виду рабочий. И всё. Больше он ничего не сообщал.

Рассказывая обо всём Антону Семёновичу и Галине Стахивевне,

он глядел в пол, уронив руки на колени.

— Вышел на улицу — и горло перехватило. Всю сознательную жизнь в органах... В четырнадцать лет — самокатчик в одесской ЧК, в двадцать — начальник отделения ОГПУ, имею значок «Герою революции», награждён орденом — номер сорок восемь! — Красной Звезды... Троцкисты... Когда Троцкого отправляли за границу, ждали эксцессов — пытались организовать троцкисты, провожая своего вождя. Я входил в оперативную группу, которая обеспечивала порядок. И вообще... Не в последних рядах с ними боролся. Нас шестеро Броневых в партии! Мать в пятьдесят четыре года вступила вместе с нами. И после всего... За что?

Галине Стахивне не удалось услышать, что же было дальше. Шура позвала её на кухню, как выяснилось, чтобы нарыдаться без мужчин, но при свидетельнице. А когда Галина Стахивна вернулась в гостиную, Сергея уже не было и беседа шла о другом. Удручённый Александр Осипович заканчивал рассказ:

— ...Когда его вели по коридору, он громко, чтобы все слышали, крикнул: «Сталин испугался своей тени!» Вот такие дела теперь.

Встретив вопрошающий взгляд Галины Стахивны, Александр Осипович пояснил:

— Это я рассказывал о Горелике, заведующем агитпропом ЦК партии Украины. Два дня назад арестован.

Он умолк. Потом встал и протянул руку Антону Семёновичу:

— Ладно. Будем надеяться на всё хорошее. Правда — она всегда правда.

Мужчины долго и со значением жали друг другу руки, глядя глаза в глаза. «Неужели Александр Осипович предполагает, что Серёжу арестуют? — подумала Галина Стахивна. — Но это означает, что и его самого тоже?» По какой схеме происходят аресты? Сначала исключение из партии, потом приезжает «воронок». Вслед за тем начинают брать родственников. Вид Бронего-старшего говорил о том, что Александр Осипович готов и к этому. Ей стало не по себе.

— Что? — нетерпеливо спросила она, едва за спиной у них захлопнулась дверь квартиры Броневых.

Антон Семёнович закусил нижнюю губу.

— Тося! — тронула его за рукав Галина Стахивна, возвращая в действительность.

— Да, да, — очнулся Антон Семёнович. — Извини. Сказал и снова сник.

Они спустились по лестнице и остановились перед парадным. Он нерешительно посмотрел на жену. Что ответить? Не хотелось огорчать её, сообщая неутешительное содержание разговора с Александром Осиповичем. К тому же год работы в наркомате понемногу приучил его придерживать кое-какую информацию, относящуюся к ведомственной. А эта, как оказалось ему сейчас, возможно, тоже не подлежала тиражированию. Но Галина Стахивна умела хранить тайны, умела по-мужски, намертво.

— Ты помнишь книжки Александра Осиповича?

— Да, конечно.

В домашней библиотеке у них хранились обе. Первая — «Преступные способы получения частного капитала» — вышла в двадцать девятом. Другая — «Рвачи и комбинаторы» — спустя год. Обе они представляли собой большую практическую ценность, вскрывая пути и методы извлечения нетрудовых доходов, ухищрения частнодержателей капитала, направленные на обман государства и честных тружеников, а заодно и друг друга. На рубеже прошлого и нынешнего десятилетий эти явления заметно давали о себе знать, тормозя разбег социалистической экономики. Антон Семёнович был одним из первых, с кем Бронева поделился замыслом книг, а когда рукописи были готовы, помогал выправить стиль, подчистить языковые шероховатости.

— Представь себе, по поводу этих книжек Александра Осиповича недавно приглашали для объяснений,

— Спустя столько времени? В них что-то не так?

— Ему ставится в вину тенденциозность в показе негативных фактов.

— Не понимаю. Что же там тенденциозного?

— Каждый факт в отдельности, дескать, не вызывает сомнения. А вот все они вместе взятые рисуют, как сказали, беспомощность государственного аппарата в борьбе с подпольным бизнесом. Александр Осипович, понятно, бился, как мог, ссылаясь на доклад Сталина на Шестнадцатом съезде...

— Действительно, — с иронией отозвалась Галина Стахивна, — зачем бы Сталину говорить о подавлении классовых врагов, о наступлении по всему фронту, если подавлять некого и наступать не на что! Да и теперь ..

— Всё верно.

— И чем же всё у Александра Осиповича кончилось?

— Пока ничем.

— Тося, но ведь это ужасно!.. Так можно ошельмовать что угодно и кого угодно!

Он ответил не сразу. Смотрел на жену, не мигая, и молчал. Потом взял за локоть:

— Да, получается, что есть люди, в руках которых наши святые писания опаснее, чем нож в кармане.

— Судя по всему, речь идёт не об отдельных личностях. Это линия, политика! Целенаправленная акция! Но, может, так только у нас на Украине?

Антон Семёнович пожал плечами.

Они медленно шли по замиравшим вечерним улицам. Несмотря на старания Галины Стахивны разговорить мужа, он отвечал односложно. При всей его сдержанности, неумении и нежелании беспокоить других своими заботами и трудностями это были, она знала наверняка, не те размышления, о которых жена не могла и не должна знать. Но интуиция подсказала ей, что спрашивать мужа, о чём он думает, она не должна.

И тут её осенило. Какие бы причины ни лежали в основе происходящего, самое верное — держаться от всего этого подальше! Подальше от Киева, от Харькова, от Украины, где Антон Семёнович успел нажить врагов гораздо больше, чем друзей, от НКВД, наконец. Она была уверена, что в нынешней обстановке недруги Антона Семёновича непременно попытаются свести с ним счёты. Но она знала и другое: наркомат — не артель «Шайкалейка», куда можно вступить и по собственному желанию выйти. Однако, если постараться...

— Тося, в Москве, в Лаврушинском переулке, как раз напротив Третьяковки, я слышала, строится писательский жилкооператив. Мы могли бы...

Реакция оказалась неожиданной: даже при свете электричества было видно, что лицо, и без того бледное, стало ещё бледнее, его словно стянуло болью.

Они присели на скамейку, попавшуюся на пути. Антон Семёнович вынул из портсигара папиросу, но зажигать не стал.

— Я не хотел расстраивать тебя разговорами обо всём этом... Знаю, что ты и без того переживаешь. И о чём мечтаешь днём и ночью — тоже секрет Полишинеля.

Антон Семёнович обнял жену, она прижалась к его плечу.

Ты права, но права по-своему. Мою нынешнюю работу вместо меня не сможет сделать никто другой. А я не могу оставить её, не рискуя после замучить себя самыми тяжкими обвинениями.

— Любое дело бесконечно. И это — тоже.

— Нет, моя милая жёнушка, сейчас я покинуть эти ряды просто не имею права. Я что-то должен сделать такое, чтобы не вспоминать потом работу в НКВД как напрасно прожитое время.

— Разве ты мало сделал?

— Таких мерок не существует. Но я абсолютно убеждён: если уйду — всё, что мною начато, пойдёт под откос... Я должен пронести моё дело до берега. Понимаешь?

— Понимаю, — вздохнула Галина Стахивна. — Но ты же видишь, что происходит. Уж если до Броневых дошло...

— Нет ничего унижительней, чем посвятить себя инстинкту самосохранения. Тому, что встало на пути моего дела, я не сдамся без борьбы.

— Знаю. Но ты устал. И тебя сейчас легко толкнуть на необдуманное решение.

— Как говорил Шекспир, кто умер в нынешнем году, тот избавлен от смерти в будущем.

«Всегда так,— про себя тихо возмутилась Галина Стахивна. — Как только хочет повернуть разговор в другое русло — начинает сыпать цитатами и афоризмами».

— Шутишь, — вслух сказала она, — а тут плакать надо. Ты сейчас как тот погорелец, который ищет в кармане спички, когда дом полыхает пламенем...

— Ну вот видишь, сколько у нас, чудаков, привилегий!

Она в который раз позавидовала этой его способности — оставаться самим собой, несмотря ни на что. И, будто услышав её мысль, Антон Семёнович сказал:

— И потом, знаешь ли, иногда даже полезно, когда тебя окатит. Вызывает прилив сил. Очищает, заставляет внутренне собраться. А правда — она всегда в руках у того, кто прав.

— «Природный гений простодушен», — процитировала она с ноткой иронии.

— Есть и другое изречение: «Гений, старясь, только мужает». — Мне оно больше по душе.

Бодрый тон ему удалось продержаться всего несколько дней.

В один из вечеров он вернулся домой раньше обычного. Лиля, сидевшая за учебниками, с удивлением оторвалась от чтения и с детским простодушием спросила:

— Уж не сняли ль тебя с работы, дядя Тося?

— Ты недалеко от истины, — с нежностью потрепал Антон Семёнович её за косичку и со сдержанной грустью, которую не уловила племянница, но заметила бдительная Галина Стахиевна, спросил: — А что, ты, наверное, была бы рада, если бы меня сняли?

— Конечно, — бесхитростно ответила Лиля, ласково прижавшись к нему. — Тогда ты чаще будешь дома. Разве не так?

Галина Стахиевна отметила совершенно погасший взгляд мужа и реплику — «недалека от истины».

После ужина Антон Семёнович ушёл в гостиную «постучать» на машинке. Спустя некоторое время Галина Стахиевна заглянула — он сидел за столом, закрыв глаза и подперев голову руками.

— Тебе нездоровится? — рискнула она спросить.

— Нет, нет, всё в порядке, — торопливо ответил Антон Семёнович и придвинул к себе стопку бумаги.

Выйдя на кухню, Галина Стахиевна в изнеможении опустилась на стул. Но тут же поднялась и уже направилась в коридор, как увидела в дверях мужа.

Антон Семёнович прикрыл дверь, растворил пошире окно, положил на подоконник папиросы и спички, придвинул себе табурет и устало опустился на него.

Галина Стахиевна внутренне похолодела.

— То, о чём мы будем с тобой говорить, Галя, должно умереть здесь же. Иначе... Ты сейчас поймёшь.

Он достал из кармана гимнастёрки несколько вчетверо сложенных листов, развернул их и, прежде чем передать ей, сказал:

— Ты знаешь, я всегда говорил всё, что думаю, и поступал, как считал правильным, несмотря ни на что. Но сейчас... Словом, читай.

Галина Стахиевна бережно приняла из его рук листочки, исписанные с двух сторон. В правом верхнем углу значилось: «В партийный комитет НКВД УССР. Лично тов. Крауклису».

Она посмотрела в конец написанного. Там значилось:

«По поручению закрытого партийного собрания, с коммунарским приветом — секретарь партийного комитета трудовой коммуны НКВД УССР имени Дзержинского Огий». Недоумённо подняла глаза на мужа. Тот доставал из портсигара папиросу. Поймав её взгляд, кивнул, приглашая продолжить чтение.

— Что это? — спросила Галина Стахивевна. — Как попало к тебе?

— Читай, читай. Это копия.

«На основании решения закрытого партийного собрания коммуны имени Дзержинского ставлю Вас в известность о нижеследующем.

Несколько дней назад, как Вы знаете, в трудовой коммуне был выпуск коммунаров, над которыми закончился воспитательный процесс. Выпуск был проведён нами в торжественной обстановке при украшенном клубе в присутствии 1000 человек работающих коммунаров, ИТР и админтехперсонала.

В намеченный президиум был введён прибывший на торжественное собрание заместитель начальника ОТК НКДВ УССР т. Макаренко.

Первым слово получил начальник коммуны т. Берман, а затем выступил т. Макаренко. В своей пространной речи, деловой и толковой, он говорил о воспитательном процессе и о том, как должны вести себя коммунары после выхода из коммуны. Касаясь отношения коммунаров к оппозиции, он выразился буквально следующим образом: «Все мы работаем под руководством партии и товарища Сталина. И если товарищ Сталин сделает хоть тысячу ошибок, мы всё равно должны идти за товарищем Сталиным...»

Галина Стахивевна оторопела. Она перечитала последние строки и бросила отчаянный взгляд на Антона Семёновича. Тот, очевидно, понял, что вызвало такую её реакцию:

— Ну, не совсем так сказал, хотя мысль была почти такая: оппозиция уходит в сторону от целей строительства.

«Президиум, — читала дальше Галина Стахивевна, — заметив эту контрреволюционную мысль, сразу же поручил т. Берману после того, как т. Макаренко окончит своё выступление, внести ясность и разоблачить его антисоветское заявление.

Т. Берман сразу же выступил и проанализировал историю партии до Октября и работу т. Сталина по руководству

партией и страной и указал, что результаты нашего социалистического строительства и дорога, по которой ведёт товарищ Сталин, вопреки контрреволюции и предателям Троцкому и Зиновьеву, оказались правильными. И что коммунарам не придётся подсчитывать ошибки товарища Сталина и отмечать верные пути кого бы то ни было другого.

Несмотря на то, что т. Макаренко, будучи в президиуме, слышал поправку, внесённую в его выступление, он, просидев до конца собрания, ушёл, не взяв слова для исправления допущенной им политической ошибки, и тотчас уехал.

Нами это истолковывается как выступление классового врага, и на фоне некоторых антипартийных моментов, имеющих место в организуемом им воспитательном процессе, полагаю, что выступление т. Макаренко заставляет нас проанализировать его повседневную работу»,

Галина Стахивевна закрыла глаза, но тотчас встрепенулась:

— Тося, откуда это у тебя?

— Привезли. Из Харькова.

— Ты говоришь, копия? А оригинал в парткоме?

— Выходит, так.

— Тосенька, ты понимаешь, что это значит? Антон Семёнович сделал глубокую затяжку, выдохнул, усмехнувшись:

— Догадываюсь, как сама понимаешь. В НКВД работаю.

— Но ведь это... Это же какое-то иезуитство, средневековая инквизиция! Так всё передёрнуть, так вывернуть!

— То-то и оно...

— А ты ещё искал оправдание действиям Бермана и не верил, что он способен сводить счёты с тобой.

— Не верил...

— Тося, но ведь это всё чревато...

— Это меня не страшит. Всякий умный человек поймёт, что написанные под чью-то злонамеренную диктовку ярлыки — не про меня. Я давно уже свикся с тем, что на меня кто-то вешает собак... Отчего да почему — некогда разбираться. Есть заботы поважнее. Удивляет другое. Год, всего год назад те, кто присутствовал при сём судилище, разделяли мои точки зрения, соглашались с моими педагогическими идеями, наконец, говорили

мне всякие ласковые слова и готовы были следовать, куда позову. Я считал их своими единомышленниками, друзьями. Выходит — лгали? И я попросту не заметил их лицемерия? Вот это — самое дрянное в данной ситуации... Я привык к борьбе. Без борьбы ничего не даётся хорошего. Но борются с врагами. А тут... Нет ничего на свете ужаснее, чем обмануться в дружбе...

Он примолк. О чём думал, Галина Стахивевна не ведала. А она враз выстроила все неприятности, пережитые мужем за тридцать лет его педагогической деятельности, в одну непрерывную цепочку и ужаснулась мысли, что, может быть, это подмётное письмо «на фоне некоторых антипартийных моментов» — самое наихудшее из того, что ему выпало пережить.

Ей захотелось прикрыть его собою, защитить, отдать ему все свои пусть ничтожные силы без остатка, чтобы умножить в нём веру в себя.

Она подошла к нему и опустила руки на плечи:

— Бедный, родной мой... Снова ты перед выбором: пригнуться или продолжать бороться...

— Да, а второе, увы, чревато неприятностями... Ещё древние греки пугались, когда человек возвышается чем-то необычным. Такого человека изгоняли вон, говоря: «Пусть не будет среди нас того, кто лучше нас. Пусть он живёт в другом месте и у других». А болгары, как утверждают старинные источники, поступали ещё решительнее. «Лучшие из нас должны служить богу». Таких попросту вздёргивали на дереве, чтобы поскорее попали к тем, над кем нельзя возвыситься...

— Но ведь людям свойственно и творить себе кумиров...

— До кумира мне далеко, — нахмурился Антон Семёнович. — Да и не очень-то теперь считаются с кумирами.

— Думаешь, партком разберётся во всём умно и справедливо?

— Ты в этом сомневаешься?

— Всякий ли рассудит, где правда, где клевета? А сейчас, когда...

Он не дал договорить.

— Я в своей работе ни на миллиметр не отошёл от линии партии и честно исполняю свой долг. Хотя... Уклоны левые, уклоны правые... Я, безусловно, против всяких уклонов — и тех, и этих, и вообще любых. Тем более в том, что вершит Наркомат внутренних дел. Но...

Я много думал в последнее время. Я понимаю: чтобы выдержать, вынести то, что мы смогли, потребовалась нечеловеческая сосредоточенность на чём-то одном, главном. В ущерб порой тоже важному, но всё же второстепенному. Усложнять цели и пути к ним означало бы истратить силы и проиграть. Любое отклонение от главного потому, очевидно, часто и означало чуть ли не предательство. Отсюда нетерпимость ко всякого рода уклонам — и правым, и левым. Но время прошло, нынешний день уже позволяет рассматривать любой вопрос широко и всесторонне... А привычка упрощать по-прежнему не позволяет искать варианты, мириться с любыми отклонениями от общепринятого. Или — или! А если иначе — ты чуть ли не враг.

— Ты перестаёшь быть идеалистом.

— Я им никогда не был, Галя.

— Что же ты намерен делать?

— Ты имеешь в виду письмо Огия?

— Может, сходить к Балицкому?

Поздно. На утро понедельника я приглашён к замнаркома. Думаю, что по этому поводу. Обращаться теперь к Всеволоду Аполлоновичу значило бы нарушить субординацию.

— Тосенька, но ведь письмо — приговор...

— Ну что ты! Какой же приговор! Просто Берман и иже с ним не нашли иного способа показать, какие они правильные. Придётся объяснить, что к чему. А за здорово живёшь я, как ты знаешь, никогда не сдавался.

— Ах, боже мой! — глубоко вздохнула Галина Ста-хивна. — Я как чувствовала, что твоё назначение в наркомат окончится плохо!

— При чём тут назначение? При чём тут наркомат? Не замочив ног, брода не перейти.

Она удивилась, как быстро он переменял настроение: подавленный в начале разговора, к концу взбодрился, будто и не лежало на душе никакой тяжести. Ещё больше удивилась, что муж спустя минуту после того, как голова его оказалась на подушке, уже мирно посапывал во сне. Как можно уснуть, когда происходит такое! Но он так и проспал всю ночь, не шелохнувшись. Она всегда удивлялась его умению владеть собой.

Жизненный опыт, интуиция, знание характера мужа подсказывали ей, что без посторонней помощи из этой неприятности не выбраться. Но бегло просмотрев в мыслях круг близких к мужу людей, она подсадовала:

единомыслие этого круга, как ни верти, во многом объясняется тем, что в его центре находится Антон. Его истовость в любом деле, за которое берётся, вера в успех, который он умеет подкрепить всем необходимым, наконец, самозабвенная помощь любому и каждому, когда она требуется и не требуется, причём без той мины жертвенности, с какой иные проявляют заботу о ближнем, — всё это привлекает к нему массу людей. Он нужен им, в который раз подумала она, сильный, уверенный, мудрый и многознающий — и никто, увы, не задумывается, что временами и ему самому, как, например, сейчас, тоже хочется на кого-то опереться. Но, видно, такова уж участь любого учителя: ученики по-своему эгоистичны, желая видеть в нём образец лучшего и забывая, что он тоже смертен, со всеми вытекающими из этого качества последствиями, и что в машине его удач время от времени что-то ломается, как и у других людей.

Вот и нынешняя ситуация... Если всё окончится нормально, рано или поздно многие узнают, в каком переплёте побывал «их Антон», в очередной раз испытают восхищение его волей и негибкостью. А помочь... Нет, тут нужны люди иные. Кто-то должен, поняв всё правильно, употребить власть — не дать обрасти письму Огия разбирательствами и объяснениями, разрешить всё справедливо. Но кто?

А может, набраться дерзости, напроситься на приём к Балицкому? Но поверит ли Всеволод Аполлонович, что это её собственная инициатива, не заподозрит ли мужа в недостойной игре? Да и Антон... Что скажет, узнав о её визите к наркому? Но ведь вынуждена она искать выход, потому что сам он, выговорившись, даже палец о палец не ударит, уж это как пить дать. Не такой человек, чтобы бороться за самого себя. Ему это действительно кажется унижительным.

А если обратиться к самому Косиору? Её первый муж был хорошо знаком со Станиславом Викентьевичем, он должен помнить и её. Так что она вполне могла бы побеспокоить его по старой памяти. Но примет ли Косиор? Допустят ли до секретаря ЦК его помощники? В последнее время крупные руководители стали доступны для общения куда меньше, чем прежде. То ли дел у них всё больше и больше, то ли бюрократизм, демон всех времён и народов, и их подмял под себя.

Да нет, не то. Слишком мелкий и частный вопрос для Косиора.

Хотя как сказать! Кому мелкий, а для Антона обвинения Огия — не шутка. Это не насоки теоретиков от педагогики.

Так к кому же прислониться?

...Галина Стахиевна ошибалась, думая, что Антон Семёнович спит.

Кто-нибудь другой в этой его ситуации испытал бы боль, отчаяние, кому-нибудь сердце сковал бы ужас. Он же ничего такого не чувствовал. Но хочешь или не хочешь, а уже не можешь делать самого обычного из того, что должен сделать, пока ситуация не прояснится.

Нечто подобное было в двадцать восьмом, накануне приезда Горького в Харьков к нему и к пацанам. Устав от натиска «олимпийцев», он написал Алексею Максимовичу в Сорренто, как едят его тут за то, что не подчиняется дурацким предрассудкам, которые слывут под видом педагогики, как преследуют за то, что его, Макаренко, методы не составлены из шаблонов, к которым все привыкли. И хотя слабость была кратковременной, хотя он тут же поправился, написав, что всё равно борется и уступать не собирается, Алексей Максимович догадался об истинном положении и не только почувствовал в ответ, но и сам признался: и у него не всё и не каждый раз получается так, как хочет. «И у меня растаптывали кое-какие начинания, дорогие душе моей».

Много позже, в один из наездов Антона Семёновича в Москву, Алексей Максимович показал ему рукопись истории русской литературы, которую написал ещё до Октября, а после предлагал многим издательствам, но безрезультатно: он позволил себе высказаться о российской словесности, как думал, а не как говорили критики и литературоведы. Антон Семёнович тогда немало удивился: Горький, сам Горький, Горький-патриарх, Горький-родоначальник, как его называли, — и на тебе!

Алексей Максимович, выслушав его, заметил, что относится к этому спокойно. Всё, что происходит на свете, — следствие естественного хода вещей.

— Даже и трагическое? — спросил Антон Семёнович.

— Даже и трагическое, — спокойно ответил Горький.

Антону Семёновичу спокойнее и увереннее жилось при мысли, что есть на свете этот бесконечно добрый человек с мятущейся душой правдоискателя и правдоборца, готовый обнять и обласкать весь мир, умеющий

скрывать собственные свои невзгоды. «Хорошую Вы себе душу нажили, отлично, умело она любит и ненавидит», — написал ему однажды Алексей Максимович. Но не то согревало в отеческой похвале, что оценка (он считал её сверхзавышенной) содержала признание, а то, что Горький понял, как никто, саму душу того дела, которым он, скромный заведующий колонией, был поглощён, что понял природу нравственного напряжения, с которым протекала его борьба за судьбы пацанов.

Алексей Максимович был болен начиная с зимы, уже не поднимался с постели. Антон Семёнович попытался встретиться с ним, когда весной был в Москве, но ему объяснили, что любое общение для Горького сейчас нежелательно: сил едва хватает бороться с недугом. А в июле Алексея Максимовича не стало. В один день с началом гражданской войны в Испании.

Что сказал бы Алексей Максимович о происходящем, будь он жив, как оценил бы нынешнюю ситуацию? Как естественный акт поиска обществом недостижимой, всё ускользающей истины? Тогда почему же всё никак не сбывается предсказание Горького, что человека всё меньше будут оскорбительно толкать извне, а сам он всё чаще и чаще станет оборачивать свой взгляд внутрь себя, чтобы стать лучше? Почему не становится вольнее и легче ему, педагогу Макаренко, посвятившему себя самому прекрасному на земле — воспитанию детей?

Но дело, в конце концов, не только в нём. Отчего вдруг стало умножаться число тех, кто приемлет всё, что им предписывается, правильного и неправильного, не только доброго, но и злого, не только объединяющего, но и разъединяющего? Отчего это если и вызывает возражения, то возражения лишь тайные, о каких и сказать-то можно не каждому? Отчего люди, подобные Огию, с радостным упоением прислушиваются, приглядываются к окружающим и с таким удовлетворением обнаруживают в них врагов? Знают ли и понимают ли сущность происходящего те, кто находится у руля общества?

«Каковы веки, таковы и человеки», — покорно произнёс Александр Осипович Броневоу во время их последней встречи, объясняя свою точку зрения на общественные процессы, о которых Антон Семёнович мучительно размышлял всё последнее время. Нет, это слишком неточное объяснение, а главное, оно не рассчитано на поиск выхода.

Александр Осипович не принадлежит к числу тех, кто знать ничего не хочет. Он знает! И вот тоже не находит объяснения. А ведь он не рядовой винтик! Заместитель наркома республики, партиец с подпольным стажем! Если разобраться, один из творцов того, что произошло и происходит.

Антон Семёнович и мысли не допускал, что, подобно ему, и другие люди сейчас не ищут объяснения, отчего и почему всё так. Иначе же каждый становится словно бы соучастником всеобщего обозления, всеобщей подозрительности, всеобщего несчастья. Неужели же мы всё ещё такие варвары, что и борьбу за «светлое будущее» способны вести такими варварскими, изощрёнными, а если называть вещи своими именами, преступными способами?..

Над головой тикали часы. Через открытую на балкон дверь долетали с улицы спокойные звуки ночного города. Он не заметил, как размышления перешли в сон.

Верно говорят, что утро вечера мудренее. Первая мысль, воссоединившая Антона Семёновича с действительностью, была мыслью бодрой. Он вдруг понял, его осенило: если социализм оставляет возможности и для трагизма, то жизнь на этом не заканчивается, в ней остаются все вопросы и заботы, отложить которые на завтра просто невозможно, иначе жизнь остановится. Поддаться страху за себя? Смирненно приготовить себя к распытию? А Бровары? А отдел трудовых колоний? А все его литературные замыслы? Разве он уже сказал людям всё, что хотел и может?

Кстати, настойчивый совет жены уехать в Москву, заняться исключительно литературным творчеством — вовсе не избавление от возможных наветов и обвинений. Тот же Шаевич. Божья коровка, однако ж записали во враги народа. Предугадать что-либо невозможно. Ну какая, казалось бы, крамола может содержаться в «Лесной газете» детского писателя Виталия Бианки? Полюбившийся всей советской детворе безобидный ежегодник о природе — и вот оказался объектом политических обвинений. Недавно в журнале «Детская литература» так разнесли, что от «Лесной газеты» и, возможно, от автора одни перья полетели! Ретивый рецензент всерьёз рассуждал: «Бабочки и огородные блошки не интересуют автора. Он отделяется от них несколькими торопливыми строчками, чтобы обратиться к близким его сердцу приключениям ружейного охотника. Он не замечает, что его леса на протяжении сотен гектаров

уничтожаются яростным врагом — сосновой пяденицей, древоточцами, и до сих пор нет на них ещё управы. На вредную черепашку, опустошающую поля, напущен теленомус. Где-то, несомненно, существует некий «теленомус», которого можно было бы напустить на безжалостных разрушителей лесов. Надо искать!.. «Лесная газета» могла бы стать не только информатором, но и властителем дум своих юных читателей. Но для этого ей надо звать их к действию. И страна заинтересована в том, чтобы это действие выражалось не только в овладении сначала рогаткой, а затем двустволкой центрального боя».

Так что литература, даже, как выясняется, и детская, — не убежище. Но только никакого убежища ему и не надо.

Кто-то из великих французов верно заметил, что одно какое-нибудь дело, постоянно строго выполняемое, упорядочивает и остальное в жизни.

11

Ждать вызова к заместителю наркома долго не пришлось. Не успел Антон Семёнович расположиться поутру за своим письменным столом, как в кабинет вошёл Ахматов.

— Через пять минут мы должны быть у Карла Мартыновича. Только что звонил. Ждёт.

— Я готов, — к удивлению Льва Соломоновича, бодро, будто его приглашали для получения ордена, ответил Макаренко.

Ахматов с недоумением посмотрел на помощника и ничего не сказал.

Пройдя длинным коридором второго этажа, они поднялись на третий и, минуя приёмную, открыли дверь в просторные апартаменты замнаркома Карлсона.

— Здравствуйте, здравствуйте, Антон Семёнович, — вышел из-за стола навстречу Макаренко и Ахматову замнаркома. — Давно хотел с вами встретиться, но вы неуловимы. Где, спрашиваю, помнач Макаренко? В Харькове, отвечают. На другой день в Броварах. Потом снова куда-то ука-тили. Да, не кабинетный вы работник, не кабинетный, — и протянул по очереди Ахматову и Макаренко руку. — Присаживайтесь, — пригласил он вошедших.

Сам вернулся в кресло за огромным, покрытым зелёным

сукном не столом даже, а крепостью на краю просторного поля-кабинета, по периметру которого стояли стулья в чехлах.

— Ну, расскажите, над чем сейчас работаете? Какие вопросы решаете? — спросил замнаркома, обращаясь почему-то к Макаренко. «Интересное начало, — подумал Антон Семёнович. — К какой теме прелюдия? Не лучше ли сразу брать быка за рога?» Но вопрос задан, надо отвечать.

— Забот, Карл Мартынович, много, — ответил он. — Но самая главная сейчас для детских колоний — организовать в каждой настоящее, а не кустарное производство. Без него у нас ничего не выйдет.

— Ну и как же обстоят дела? — заинтересованно спросил замнаркома, навалившись на стол, словно пытаясь через эту машину придвинуться ближе к Макаренко. — Судя по отчётам вашего отдела, с этой проблемой у нас более или менее благополучно.

— Да, более или менее, — ответил Антон Семёнович, посмотрев на Ахматова. — Трудом заняты. Шьют наволочки и полотенца, делают табуретки, этажерки, кое-где есть слесарное и токарное производство. Исключение — коммуна имени Дзержинского и Броварская колония. В первой — завод фотоаппаратов, во второй — сложное литьё.

— Но разве этого мало — занять трудом? Разве плохая перспектива для колониста — овладеть пускай простой, но всё же профессией? — спросил Карлсон. — По-моему, это главное. Откройте Маркса и Энгельса. В «Инструкции делегатам Временного Центрального Совета по отдельным вопросам» найдёте слова о том, что при разумном общественном строе каждый ребёнок с девятилетнего возраста должен стать производительным работником. Кстати, и Владимир Ильич в речи на Третьем съезде комсомола тоже говорил, что в сознательном и дисциплинированном труде молодёжь надо воспитывать с двенадцати лет... С двенадцати — так было в первой публикации, если вы помните. В последующие издания внесена поправка: с молодых лет. Ильич — человек точный, он этим вопросом специально не занимался, поэтому, очевидно, и снята категоричность. Но принцип ясен: с ранних лет...

Антон Семёнович удивился, что заместитель наркома столь подробно знает специальные вопросы трудового воспитания. И, почувствовав в нём собеседника на равных, увлёкся:

— Да, всё верно. Но тот же Маркс в «Критике Готской программы» говорил, что труд должен стать не только средством для жизни, но и потребностью жизни. Он же утверждал — полистайте первый том Собрания сочинений, там есть такое утверждение: «Какова жизнедеятельность индивида, таковы и они сами». Нам нужно серьёзное современное производство, где есть хозрасчёт, точный план, нормы допуска, нормы качества, высокий уровень технологии. Серьёзное производство, хозрасчёт — самый замечательный педагог.

Карлсону, несомненно, было известно, как выгодно отличаются условия жизни воспитанников коммуны имени Дзержинского от тех, которые существуют в других учреждениях. Он согласился с доводом Антона Семёновича, что государство не должно себе позволять барского содержания никому. Тем более в колониях.

— Да, мне тоже не нравится, что наше воспитание пока ещё дорогостоящий иждивенец, — сказал он. — Но ведь речь не о том. Разве не приносит положительного воспитательного эффекта всякое занятие трудом, даже и простое самообслуживание?

Антон Семёнович не согласился. Когда-то ему казалось тоже, что стоит занять ребят трудом, как все воспитательные проблемы будут решены разом. Он в те времена поклонялся трудовому принципу, как идолу, и ему стоило больших усилий ума понять, что простой труд — это нечто само по себе, а жизнь колонии — сама по себе. Даже древний наш пращур, наверное, приводил в порядок своё логово, но было ли это коммунистическим воспитанием? Тут важно создать цепочку из разных видов труда. Первое звено — пусть будет самообслуживание. Второе — ремесленный труд, сейчас преобладающий в колониях. Тут уже появляется кое-какой педагогический скреп. Такой труд требует навыков, знаний, умений. Наконец, на пути к овладению такими навыками воспитанник приобретает какие-то мотивы — не только трудовые, но и жизненные. Его интересует будущее, квалификация, мысль о том, а как он использует эту квалификацию для своего блага. Но это, если разобраться, мотивики мелкобуржуазные. Ремесленник есть ремесленник. С ним бок о бок шагает мелкая зависть, эгоистическое соперничество: кто больше заработает, у кого солиднее клиентура. Обязательно страсть к выпивкам, кураж по праздникам, дурное отношение

к женщине — словом, все отвратительные качества хозяйчика.

— Но ведь есть среди кустарей вполне уважаемые люди, благопристойные, степенные, законопослушные, — возразил Карлсон. — Мастера!

— Есть, конечно. Но это исключение, которое только подтверждает правило. Я наблюдал это на многих колонистах, которые становились кустарями-ремесленниками. Почти мгновенно они утрачивают всякие связи с коллективом. Те же, кто занят не в мастерских, а на коллективных работах, в моральном и социальном отношении стоят на несколько голов выше мастеровых. Вот почему, я считаю, необходимо развивать коллективные формы труда, где только и могут развиваться в больших количествах моральные и материальные связи между участниками общего процесса.

— Всё это, конечно, заманчиво, — с сожалением произнёс Карлсон. — Но что мы можем сейчас?

— Колониям нужно крупное производство, а это, в свою очередь, означает, что и колонии должны быть крупными. Я писал об этом в проекте трудового корпуса, к сожалению, отвергнутом.

— Возможно, вы правы. Но, помимо этих соображений, есть и другие. — Карлсон вынул из стола тоненькую брошюрку, в которой Макаренко узнал свою работу. — А не кажется ли вам, Антон Семёнович, что практики не берут вашу «Методику» на вооружение оттого, что в ней много деталей, в которых вы, как говорится, залетели слишком высоко и тем породили недоверие ко всему остальному?

Макаренко не ответил. Замнаркома и сам должен понимать, что он так не считает.

— Вот смотрите. Есть в брошюре — я её проштудировал достаточно внимательно — такое утверждение: «Коллектив, являясь не только объектом, но и субъектом воспитания, проходит опыт активной защиты своих интересов». О какой защите идёт речь? От чего и от кого должен защищаться советский коллектив в советском обществе?

— Этот тезис, Карл Мартынович, надо рассматривать в связи с другими требованиями, изложенными в «Методике».

— Поясните.

Разговор шёл явно не о том, для чего Карлсон

пригласил руководителей отдела трудовых колоний. Замнаркома едва ли нуждался в педагогическом всеобуче. Однако в его вопросах слышался определённый подтекст, и Антон Семёнович, чутко уловив его, понял, что отступать нельзя, что другой возможности объяснить и отстоять свои идеи и поступки может и не представиться.

— Среди педагогов, да и не только среди них, — начал он, — распространено заблуждение, будто воспитание можно свести к простому воздействию одного человека на другого. Мне только в коммуне имени Дзержинского удалось освободиться от этого ошибочного мнения. Такое освобождение возможно в одном случае — если взрослые и дети в колонии, в любом воспитательном учреждении будут представлять собой не два коллектива, а один. Был в колонии имени Горького воспитанник Колька Вершнев. В «Педагогической поэме» он у меня носит фамилию Шершнёв... Окончил рабфак, потом медицинский институт, сейчас работает в коммуне имени Дзержинского врачом. Он был главным врачом в больнице в Комсомольске-на-Амуре. А так как нам врачей, умеющих воспитывать ребят, не хватало, я приказал ему телеграммой прибыть в Харьков, в коммуну. Он подчинился беспрекословно, приехал на новое место. Очень интересная фигура! Вчерашний колонист, он для всех — образец для подражания. Ему даже прощаются какие-то исключения из правил. К примеру, он ни за что не допустит ребят натирать ему полы в больничке. Вы, говорит, тут только напачкаете, и сам натирает. Так вот этот самый Вершнев приходит ко мне однажды в походе, притащив с собой заведующего хозяйством, и говорит: «Что же это такое? Дают ребятам немытые груши!» Устыжённый завхоз тут же пообещал: «Хорошо, будем мыть». Дело-то в том, что и завхоз, и пацаны считали, что мыть груши — лишнее. Но вот не прошло буквально получаса, как Кольку Вершнева, врача, взрослого человека, притащили ко мне с немытой грушей, которую он ел сам. Конечно, он оправдывался. «Какое тебе дело, — говорит члену санитарной комиссии, — что я ем немытую? Я сак за себя отвечаю, если умру, ты за меня отвечать не будешь». Всё равно совет коммандиров постановил: раз Колька нарушает дисциплину, обязательную для всех, дать ему три наряда. И вот Колька, получив три наряда, лично убирал лагерь вокруг своей больничной палатки. Так решил полномочный орган коллектива...

Случай, конечно, из числа курьёзов, но таким и должен быть стиль настоящего содружества воспитателей и воспитанников.

— Значит, воспитанник — прежде всего член коллектива, а затем уже собственно воспитанник? — уточнил Карлсон.

— В коммуне имени Дзержинского не было воспитанников, а были кандидаты или члены коллектива. И воспитатель должен выступать прежде всего как член коллектива, а затем уже как воспитатель, как специалист-педагог. Поэтому и соприкосновения воспитателя и воспитанника должны происходить не столько в специальной педагогической области, сколько в плоскости трудового производственного коллектива, на фоне интересов не только узкопедагогического процесса, а борьбы за лучшее учреждение, за его богатство, процветание, за радость и разум этой жизни...

— Я вот думаю, Антон Семёнович, о наших исправительно-трудовых учреждениях, где содержится преступный элемент. Что же: и с ними тоже вровень?

— Ну, вровень никогда не бывает. И не только в колонии. Всегда в любом коллективе находятся ведущие и ведомые. Только эти роли коллектив раздаёт сам, в зависимости от ценности человека, с его точки зрения. Поэтому воспитатель по должности будет воспитателем по положению в том лишь случае, если он обладает качествами лидера, просто теми данными, которые заставляют воспитанников считаться с его мнением. Тогда коллектив и пойдёт за ним. Но и тут есть тонкость... Умный педагог не станет действовать напрямую. Воспитательный процесс как бы завуалирован процессом самой жизни. Быть рядом. И чуть впереди...

— Что ж, в этом, наверное, вы, Антон Семёнович, действительно ушли много дальше наших теоретиков да и большинства практиков... Мне всегда казалось, что наши товарищи из управления исправительно-трудовых учреждений всё же дилетанты в вопросах воспитания и потому проглатывают любую теорию как должное...

— Это поправимо.

— Поправимо, да...

Замнаркома поднял трубку зазвонившего телефона: «Да, да. Через полчаса», — и вернулся к разговору:

— Ну что ж, Антон Семёнович, спасибо вам. Многое прояснили. Но мне не совсем понятны некоторые ваши практические шаги. Вы упразднили во всех детских колониях карцеры,

сняли сперва в Броварах, а затем и во всех остальных ваших учреждениях охрану... Некоторые товарищи склонны видеть в этом некую сентиментальность, стремление насладиться ненужным милосердием. Этика расслабляющей доброты противоречит нашему революционному делу.

«Это и было главной целью разговора...» Увлёкшись беседой, Антон Семёнович забыл и о письме Огия, и о тех подчёркиваниях, которые кто-то ещё по весне сделал в библиотечных альманахах с «Педагогической поэмой».

— Я понимаю вашу мысль, Карл Мартынович, — осторожно произнёс Макаренко, — но слышать её мне горько.

Карлсон вскинул брови.

— Я ведь интеллигент дореволюционной формации. И как большинство, очень и очень трудно принимал идеи революции. Но они входили в меня — столь же прочно, сколь и мучительно. И среди этих идей для меня глазная — что революция совершалась с гуманными целями. Вот почему мне не совсем понятно ожесточение, которое имеет сегодня место в обществе. Я потрясён некоторыми вещами...

«Ну что ж ты рубишь сук под собой?» — прочёл Антон Семёнович на лице Ахматова и остановился. Что ж, может, он и ошибается в своих исканиях, заблуждается в своих выводах и предвидениях, но мысль его не может стоять на месте, и диктует её отнюдь не щепетильная рассудочность и осторожность, которыми руководствовался Ахматов, а то, что побуждало в течение тридцати лет отдавать детям всё, чем жизнь одарила его самого.

— Продолжайте, продолжайте, Антон Семёнович! — как показалось, несколько сухова то произнёс замнаркома.

— Собственно, я всё сказал. Хочу лишь добавить, что мои педагогические идеи и принципы никак не противоречат идеям революции. И лучшее тому доказательство — те сотни ребят, которых я спас для общества. Если бы я не был прав, результаты моего труда не были лучше, чем у тех, кто на словах декларирует революционную правоту, а вот делом подкрепить её не может. НКВД стал для меня, если позволителен такой образ, педагогической родиной. Кроме НКВД, сегодня нет ведомства, возможности которого позволили бы провести мои идеи в жизнь в массовых масштабах. Но вот же, кажется, даже такое мощное ведомство, как НКВД,

не способно защитить меня.

— От кого? От чего? — спросил Карлсон.

— От того, чтобы я не разделил судьбу, типичную для педагогов, которые пытаются разорвать круг привычного в поисках революционного идеала воспитания.

— Типичную? — переспросил Карлсон.

— Увы. Начиная от Александра Яковлевича Герда...

— Кто это?

— Был такой в прошлом веке прогрессивный педагог. Дружил с Тимирязевым, Ярошенко, знал Чернышевского — готовил к поступлению в гимназию его сына. Кстати, был директором женской гимназии, в которой училась Надежда Константиновна Крупская... Так вот он, Герд, основал под Петербургом первую в России земледельческую колонию для несовершеннолетних правонарушителей. Произошло это в тысяча восемьсот семьдесят первом году — вон когда! Но кое-чем Герд предвосхитил даже и нынешнее время.

— Любопытно, — произнёс Карлсон. — Чем же?

— В колонии не было тюремной атрибутики, там не сажали «на хлеб и воду», не применялись телесные наказания. Дети трудились, обучались грамоте, хорошим манерам. И в результате — ни побегов, ни сколько-либо серьёзных правонарушений... К сожалению, выдержал Герд всего четыре года. Никем не поддержанный, бросил прекрасно начатое дело. Но его поражение как-то можно понять: происходило это при царизме. А вот другой подвижник нашего дела — Погребинский, руководитель Болшевской трудкоммуну имени товарища Ягоды... О нём писал Горький, в коммуне бывали и восхищались успехами Дзержинский, Крупская, Ворошилов. Опыт уникальный, большевики шли на много шагов впереди нашей коммуны имени Дзержинского... Где теперь Погребинский?

— Где?

— Арестован.

— Значит, было за что. Напрасно не арестовывают, — вдруг посуровел Карлсон. — Не напрасно ли вы обобщаете, Антон Семёнович?

— Я не обобщаю. Я только думаю: а отчего во все века ни у одного настоящего педагога, будь то Руссо, Каменский, Песталоцци, Ушинский и кто угодно ещё, не было так называемого личного счастья, отчего ни один не был обласкан судьбой?..

Пока он говорил, замнаркома разглядывал его глаза. Когда-то он был следственным работником и научился читать человека по глазам. Спрятанные за толстыми очками, близоруко прищуренные глаза Макаренко каждое мгновение словно бы жили новой жизнью: в них то и дело менялись то тёплые, то грустные, то нежные голубые тени. Даже когда он говорил жёсткие слова, глаза не суровели. Нынче Карлу Мартыновичу нечасто доводится внимательно приглядываться к глазам людей, а тут словно приковало, и он никак не мог оторваться. В глазах помнача Макаренко были любовь, но без розовой сентиментальности, прямота, но без дерзости, тревога, но, конечно, не тот страх, который он не раз наблюдал у людей, в чём-то виноватых. Да, да — это невинные глаза. И только где-то в самой глубине их изредка вспыхивал серый, холодный металл.

Карлсон встал из кресла, махнув рукой Ахматову и Макаренко, поднявшимися вслед за ним, подошёл к окну и поглядел на улицу. «Чувствует ли он, что сейчас для него решается?» — подумалось вдруг. Ну а что, собственно, решается? Решать-то тут нечего. Все эти бумажки, включая письмо из коммуны, на котором Крауклис наложил свою резолюцию заменить Макаренко Кандыбой (кто ещё такой?), — ерунда на постном масле. Ни у кого бы не поднялась рука списать по реестру всё, что этим человеком добыто в таких нелёгких трудах и в такой непростой борьбе, которая и по силам-то ему оказалась исключительно в силу его незаурядности.

Он вернулся к столу, но в кресло не сел. Макаренко насторожился, и это не укрылось ни от взгляда замнаркома, ни от взгляда Ахматова. Но если Карлсон знал, как поступить, Ахматов в эту минуту сжался внутри: судьба помощника была ему не безразлична.

— Ну что же, Антон Семёнович, — донеслось до Макаренко. — Мне давно хотелось пообщаться с вами. Жаль, что это не произошло раньше. Вы на многое открыли мне глаза. Спасибо. Вам же я желаю успеха во всех начинаниях. И в Броварах тоже. До свидания, — замнаркома протянул ему руку. — Кстати, а как у вас с литературным творчеством?

— Почти никак, — ответил Макаренко. — Время могу брать только от сна, да и то немного. Этого хватает только на то, чтобы изредка выполнить просьбу какой-нибудь газеты выступить со статьёй.

— Читал, читал. Воспоминания о Горьком, статья о Дзержинском.

А на педагогические темы что же не пишете?

— Пытаемся с женой создать нечто вроде книги для родителей.

— Это в стороне от той материи, которой вам приходится заниматься.

— Не совсем. Это тоже камешек на нашей дороге — семейная проблема. От неё в нашем деле многое зависит. И не только в нашем. И потом... Существует запрет сотрудникам НКВД выступать по нашим проблемам...

— Ну, с разрешения руководства можно, — возразил Карлсон. — Так что не ограничивайте себя.

Он снова протянул Антону Семёновичу руку, окончательно прощаясь и знаком приказав Ахматову остаться.

Дверь за Макаренко затворилась. Через мгновение послышался такой же звук, но глуше — Макаренко закрыл и вторую дверь тамбура, отделявшего кабинет от приёмной.

— Вообще говоря, чёрт знает что! — с искренним возмущением проговорил Карлсон. — Я чуть было не поверил всей этой чепухе! Да ещё приплели и брата его, который живёт в Париже, и жену, которая выбыла из партии три года назад по болезни, а меня пытались уверить, что по убеждениям... Письмо Огня... Вызовите Бермана и всыпьте ему по первое число. Пусть занимается делом, а не интригует. Нечего прятаться за спину старшего брата, хоть тот и работает в союзном наркомате. Едва ли родственник вступится за него, если они впредь будет вести себя непристойно. Вот уж действительно контрреволюция и антисоветчина — всё, что он плетёт против Макаренко. Я вас прошу, Лев Соломонович, помочь Макаренко. Он абсолютист, не умеет идти на компромиссы, и его уже не перевоспитать. И как бы нам его не проворонить...

— Можно сказать, что уже проворонили, товарищ заместитель наркома. На прошлой неделе он подал мне рапорт — вот, почитайте, пожалуйста.

Ахматов достал из папки «подхалимки» и протянул Карлсону рапорт Макаренко. Тот молча положил его перед собой и стал читать.

«31 год я всегда работал непосредственно с детьми, я не имею никакого опыта работы в административном аппарате, польза, приносимая мной здесь, совершенно ничтожна. После издания моей книги «Педагогическая поэма» на меня легло много литературных обязательств,

которые я не в состоянии выполнить, находясь на службе. Задуманная мной книга «Методика коммунистического воспитания» требует от меня напряжения всех сил и всего моего времени. Откладывать эту работу я не имею права, т. к. уверен в её важности и полезности.

Поэтому прошу Вас ходатайствовать перед наркомом о скорейшем освобождении меня от должности помнача ОТК. При этом, из уважения к моей собственной работе в коммуне имени Дзержинского, я принимаю на себя обязательство по первому требованию НКВД УССР выполнить любое поручение в качестве консультанта-педагога по одному из учреждений ОТК без всякой оплаты за этот труд. Уверен, что только в такой форме я могу принести пользу детским учреждениям НКВД, не загружая себя непривычной для меня административной работой. А. Макаренко».

— Ну конечно! — воскликнул Карлсон, оторвавшись от чтения рапорта. — Книги живут дольше железа. А тут... Сейчас просматривал свежую почту. Вот мудрецы! — ругнулся он в чей-то адрес. — Принесли утвердить указание — как вы думаете, о чём? Ни за что не угадаете. Писать название «Отчёт о выполненной работе» в две строки. Долго ли, интересно знать, думали?.. От такой работы волком взвоешь. Правильно делает Макаренко, что бежит. Хотя, конечно, жаль, если это всерьёз, а не под настроение.

— Всерьёз. Он словами не разбрасывается.

— Да, у нас ему, конечно, тесновато. Но почему ни вы, ни он сам об этом рапорте не сказали во время нашего разговора?

— Спустя день он сам предложил компромисс. Просит назначить его по совместительству начальником колонии в Бровары. Хочет доказать, что можно достигнуть хороших воспитательных результатов, руководствуясь рекомендациями «Методики». Предлагает сделать эту колонию базой для всех остальных, методическим центром.

— Есть резон... Да, мужик упрямый, так и надо... Таких беречь нужно... И помогать... Только всё же посмотрите, чтобы всё там было... Как бы это точнее выразиться... Ну, в рамках! Понимаете меня? В рамках.

— Понимаю, товарищ заместитель наркома. Ахматов вышел в приёмную и неожиданно увидел Макаренко. Тот сидел в полном одиночестве на стуле, прислонив голову к стене, и тяжело дышал.

— Антон Семёнович! Вам плохо? — всполошился Ахматов, тронув его за плечо. — От дела ж! Куда же секретарь делся?..

— Нет, нет, сейчас пройдёт, уже проходит. Просто я вдруг почувствовал, что устал и износился до отказа... Вот, прошло... Уже можно идти...

— Может, пригласить врача?

— Ни в коем случае! С ними только свяжись! Я уж сам как-нибудь.

12

«Как-нибудь» не получилось. Ахматов предупредил всех, кого мог, чтобы Антона Семёновича не нагружали лишней работой, не докучали мелкими просьбами. Но тот сразу же заметил это и пришёл к начальнику отдела с упрёком:

— Разве меня отстранили от работы?

— Антон Семёнович, о чём вы?

— Вы же понимаете, о чём.

Ахматов провёл рукой по бритой голове:

— Ну да, вы правы... Хотел как лучше...

Хотя после разговора у замнаркома камень с души свалился такой, что можно было бы и расслабиться, передохнуть, Антон Семёнович по-прежнему не щадил себя. Дома показывался не чаще раза в неделю, да и то, чтобы тут же рухнуть в постель. Но были и часы отдыха.

Летом Макаренко снимали дачу в Ирпене, там же оказался в числе дачников писатель Корней Иванович Чуковский. Антон Семёнович и Корней Иванович подружились и привязались друг к другу. Но недавно с Корнеем Ивановичем что-то стряслось, и он лежал больной в киевской гостинице «Континенталь», а Антон Семёнович несколько вечеров подряд, несмотря на крайнюю занятость и собственное нездоровье, провёл у него в номере, превратившись в терпеливую сиделку. Спал урывками, где попало и сколько выдастся — дома или в кабинете у себя в колонии, остальное «добирал» в транспорте и на совещаниях.

Галина Стахивевна старалась молчать. Она понимала, что молчание — не лучшее из того, что сейчас ему необходимо, но чувствовала и другое: предельно напряжён, любое её неосторожное слово могло разрушить в нём с таким трудом удерживаемое душевное равновесие.

В результате сложилась «ситуация короткого одеяла»: натянешь на голову — ноги голые, укутаешь ноги — плечи наружу. Молчание отдаляло их друг от друга, но и разговорить мужа она тоже не надеялась.

Сохранять ритм жизни, рассчитанный на то, чтобы поспеть, управиться и в Киеве, и в Броварах, ему удавалось всё с большим трудом, и нездоровье его стало бросаться в глаза многим.

Первой восстала Галина Стахивна. В очередной приезд мужа, собирая ужин, сказала:

— Как же ты устал, Тосенька!

— Усталость не болезнь, с ней справиться легче.

— Тося, ну кому и что ты хочешь доказать? Всего, что ты сделал до сих пор, хватило бы на десятки жизней. Ты имеешь полное моральное право заняться писательским трудом. Ведь не закроешь же собой все существующие бреши!

— Галя, мы ведь договорились...

— Мы договорились, да. Но сколько можно этой постоянной борьбы — тебе, а мне — переживаний за тебя!

— Это счастье, Галя, что в нашей жизни столько борьбы!

— Ты не выдержишь, ты уже не выдержишь. Посмотри на себя в зеркало: на кого ты стал похож?

Его лицо помрачнело и за мгновение стало старше. Она не заметила перемены и почти в отчаянье воскликнула:

— Тося, ну зачем это тебе?..

Ах, почему она не сдержалась! Она тут же поняла, какую непоправимую ошибку совершает таким разговором, но уже была не в силах что-либо изменить. Вырвавшийся вопрос, разумеется, остался без ответа. А уезжая утром, Антон Семёнович сказал: — Теперь появлюсь едва ли скоро...

Он снял себе комнату в доме по соседству с колонией и теперь, если не надо было возвращаться в Киев, оставался на отдых там. Спал три-четыре часа в сутки.

Он чувствовал, что тело оплошало, но душа оттого не испытывала усталости, и он преодолевал себя в терпении, словно боялся опоздать со всем, что тут делал. Время сорвалось с часов, дни и недели превратились в короткие мгновенья. Лишь когда на деревьях стали на глазах буреть листья, напоминая, что наступает осень, он, поглядев на колонию с гордостью многодетного отца, с удовольствием обнаружил, что лето было не только

временем бурного роста мальчишек, но и весь коллектив как-то словно бы раздался в плечах и посolidнел.

Ещё будут время от времени обнаруживаться вспышки старых болезней. То приведут пацана со свежей татуировкой на ещё воспалённой от наколки коже: «маряк». То сорвётся кто-то из воспитанников на дерзость: «Ну избил. Ну и что? За дело избил». То кому-то надоест торчать в литейке, когда на улице тепло, когда отчаянно дразнится и зовёт вдаль яркое солнце, а в объяснении напишет в своё оправдание: «На работу не вышел, потому что не хотел работать. Уточнение и дополнение некаких неемею».

Но это, как говорится, неизбежные фактики. Случались ещё происшествия и посерьёзнее.

Как-то вечером санитарная комиссия проверяла чистоту спален. В одной у них вышла перепалка с командиром отряда Костей Пятковским. Что-то там узрила комиссия: «Запишем в журнал», — Пятковский заартачился:

— Я тебе запишу!

И — хватать за швабру.

Через пять минут санитарная комиссия возглавляла толпу удирающих к лесу колонистов, за которыми неслась ещё большая толпа, вооружённая палками, камнями, всем, что попало под руку...

Вечером на общем сборе все сидели пристыженные и разглядывали свои ботинки, не смея поднять головы на сцену, откуда Афанасий Сватко, избранный недавно председателем совета командиров, вещал:

— Мы на совете долго думали, как быть с теми, кто затеял свалку. А потом решили: да что взять с младенцев, если они ещё не научились владеть собой. Подождём, посмотрим. А для первого раза — Пятковского от командирства отстраняем, раз он не умеет справиться с самим собой, а санитарную комиссию тоже вынуждены переизбрать, раз они не могут решать санитарные вопросы миром. Голосуем. Кто за? Против? Ты, что ли, Пятковский? Ага, ты тоже за. Нет никого против. Единогласно...

Ну кто мог бы предположить совсем недавно, что станет свидетелем такой удивительной мистерии, которую коллектив колонистов поставит на другом общем сборе — мистерии, оставшейся в истории колонии под названием «Случай с Франком»!..

В конце августа с благословения совета командиров

несколько колонистов были направлены на рабфак. Перед тем администрация вышла в соответствующие инстанции с ходатайством об их досрочном освобождении и такое согласие получила. В колонию прибыла комиссия по делам несовершеннолетних, в переполненной зале заслушала выданные десятерым хлопцам характеристики, задавала необходимые при такой процедуре вопросы и постановила: освободить досрочно. Всех.

Студенты, как стали звать рабфаковцев, приезжали практически каждое воскресенье. Приезжали и те, у кого был родной дом, порой и в самом Киеве. Чем-то завораживала их колонийская жизнь, какой она стала теперь тут, очаровывала и привлекала к себе. Чем именно — никто не задумывался. Сами колонисты принимали факт как есть. Раз человека сюда тянет, куда ж ещё ему ехать?

Нужно сказать, что приезжающие не чувствовали себя в колонии гостями. То есть, конечно, порой случалось, что кое-кто походит, заложив руки в брюки, покрасует перед броварскими девчатами, которые стали всё чаще забредать в колонию — в кино, на спектакль, в колонийский клуб, а то и просто так. Но коллективная стихия такая сильная штука — она вовлечёт кого угодно, даже самого закоренелого индивидуалиста, словно весенний бурный поток мелкую щепку. Гости полноправно участвовали в обсуждении всех более или менее важных вопросов, голосовали, как все, с их мнением считались, как и с мнением остальных колонистов. А с другой стороны, и на них самих распространялись писанные и неписанные правила колонийской конституции. И хоть редко, но всё же случалось, что кое-кто, потеряв бдительность, оказывался в положении, когда волей-неволей ему приходилось отвечать за то, что в чём-то отступил от этой конституции.

Витка Франк, смыслённый добродушный колонист, тоже стал рабфаковцем. В Бровары он наведывался каждую субботу. Если случалось так, что бывшая его бригада в выходные дни заступала на дежурство, вместе со всеми выполнял дежурные обязанности. По праву старика он мог позволить себе поучить и новичка, и бригадира, старшего в санкомиссии, дать совет начхозу отряда. Словом, бывая в колонии раз в неделю, Франк был в курсе всех дел, и Георгий Михайлович Осотский часто просил его о чём-нибудь таком, что выходило за пределы компетенции пусть даже и

старшего, но всё же колониста.

Но вот однажды в середине недели в колонию пришло письмо из Киева. В нём сообщалось, что колонист Франк ехал в трамвае без билета, за что был доставлен контролёрами в отделение милиции. «Просим принять меры». Письмо легло на стол Макаренко. «В совет командиров. На ваше усмотрение», — начертил Антон Семёнович синим карандашом на углу официального документа.

В субботу, едва Франк вошёл в ворота колонии, он тут же кожей почувствовал: что-то не так! Ванька Неведомин, встретившись у «пяточка» перед школой, почему-то не козырнул, а лишь буркнул: «А, ты...» По каким-то другим неувловимым приметам Франку стало ясно, что в колонии о его проступке знают. И не ошибся.

После ужина Вовка Гаенко, колонистский сигнальщик, прокричал в звонкую свою трубу общий сбор. И когда через несколько минут в клубе собрались все, председатель совета Афанасий Сватко, встав за столом президиума, кашлянул, призвав тем самым к тишине, и поднёс ближе к лицу лист бумаги. Франк втянул голову в плечи...

Сватко прекрасно говорил по-русски, но иногда на него, как говорится, находил стих поговорить на «ридной мови». Вот и сейчас:

— Товарищи колонисты, нам прийшов от такой документ... Читаю. «Доводим до вашего сведения, шо ваш воспитанник Франк Виктор двадцать второго сентября ихав у трамвае без билета. На требования контролёров ответил, шо вин воспитанник колонии номер пять». Наш, то есть, воспитанник, — уточнил Сватко. — «...ишо грошей на билет у него нема». Ну и, короче, просять воны принять к йому меры. Вот такой документ, товарищи колонисты и воспитанники, мы з вами получили. А тепер прошу высказываться...

Последнее слово потонуло в гуле и гвалте. Сватко выждал полминуты, пока эмоции не выплеснутся, поднял руку.

— Ты, товарищ Франк, иди на середину, а остальных прошу высказываться, как всегда, по очереди.

Первым встал Дмитро Мирный.

— Та шо ж тут высказыватысь, колы вин сам сэбэ назвав воспитанником. Лишить его звания колониста и хай вин будэ опять воспитанником.

А у него ещё звание почётного бригадира, — крикнул кто-то.

— Я ж думаю вот как, — встал со скамейки Фило-ненко, колонист из отряда, в котором прежде состоял Франк. — Порядочный хлопец утикал бы. Франк стипендию получает? Получает. Мы ему материальную помощь оказываем? Оказываем. Тридцать копеек билет стоит. На что сэкономил? Пусть ответит. От ведь выдумал: на колонию вину свою свалил!

— Пускай, раз такой экономный, пешком ходит. Тут недалеко. Колы шибко идти, то за четыре часа дотопаешь, — крикнул с места Вовка Гаенко. — Я вот раз на мороженое проел все карманные деньги, так пешком шёл.

— А чего это ты мороженого столько съел? — послышался чей-то вопрос.

— Дуже люблю мороженое, — расплылся в улыбке Гаенко. — А как фруктовое увижу, не могу остановиться.

Зал дружно вздрогнул от смеха.

Сватко пришлось успокаивать общее собрание:

— Товарищи, товарищи, мы не затем собрались, чтобы обсуждать, у кого яки слабости — мороженое чи шо. Прошу высказываться по существу. Так, слово Косте Вельченко.

— Тут кто-то сказал, что надо заставить его ходить в колонию пешком. Я думаю, что это слишком слабое наказание. Франк человек взрослый. Он понимал, что делал. Я бы на его месте, Филоненко прав, язык в этот момент проглотил, а не сказал, что колонист. А он сдрейфил сказать, что на рабфаке учится. Выходит, там он мнением о себе дорожит, а на нас ему наплевать. А раз он так к нам, нечего ему в колонию ходить. Пусть сидит в Киеве и учится. Мы ж ему материально помогаем? Помогает. Пусть начхоз отряда Робеспьер — я, то есть, хочу сказать, Петро Кудрявый, — скажет, сколько мы ему денег даём...

Петро вынул из кармана замусоленный свой блокнотик, потряс им над головой:

— Я и так помню. Двадцать рублей мы ему на месяц дали. Одежду купили и на лето, и на зиму. Дак он же там ещё и стипендию получает!

— Вот-вот, — остановил Вельченко. — Живёт на всём готовом. Учись, выбивайся в люди. Мы его на рабфак направили, доверие оказали, а он нам такое поднёс.

Я предлагаю лишить Франка права посещать колонию. И всё тут.

— Правильно!

— И звания нашего лишить всё равно! Сватко дал залу успокоиться:

— Итак, поступили такие предложения...

— Погодите, хлопцы, — остановил его Дмитро Мирный. — Я ещё подумав и вот що скажу. Так вин, може, не совсем виноватый. Це ж Валька Холенко...

— Какая такая Валька? — спросил Сватко. — При чём тут Валька?

— Ну, местная, Валька Холенко из Бровар. Та, що у кинотехникуме vychыться. Так вот же вона сидыть и краснее, як вышня. А спросите, що ж вона краснее? А вона нэ скаже, бо вона крутыть Витькой, як може... Он ей весь месяц квиты носил, щоб вона ему на любовь ответила... А она ж от такого хлопця нос воротыть. Ну вот и всё. На квиты вин гроши экономить. Я был раз на Бессарабском рынке, так у меня чуть картуз с голови не впав, когда я побачил, скільки один разнесчастный букет стоить... Не знаете? За вот такусенький букетик — пять пачек папирос «Троянда» купить можно... Не, нельзя Витьку так дюже казнить... Хай и Валька Холенко тогди ж з ним заодно страдае. Развели тут, понимаешь, любовь всякую, а потом на колонию свою вину сваливають.

Информация Дмитра вызвала новую волну криков... И только опытная рука Сватко смогла провести корабль через шторм мнений... В конце концов решение было принято такое: пусть в следующую субботу идёт из Киева до колонии пешком и подумает.

В следующую субботу Франк действительно пришёл в колонию пешком. Сыпал сильный мелкий дождь. Франк вымок до нитки. Никто не спросил его, о чём думал, что чувствовал, вышагивая по грязи и дождю длинные километры. Раскаивался ли в проступке, хотел ли этим вымолить прощение — никого не интересовало. Никто на это не прореагировал никоим образом. Разве что Валька Холенко. Поскольку спустя некоторое время в колонии стало известно, что время от времени их видят в Киеве вместе...

Среди тех, кто голосовал за наказание Франка, был и Шурка Филь, длинный, как свеча, пацан, сам всего несколько дней назад прошедший через это чистилище.

В первый же день после своего прибытия в колонию

Шурка шёл из спальни в клуб. Вдруг видит: навстречу трое старших колонистов. Курят. Курить в колонии вообще-то не запрещалось. Соблюдалось, правда, несколько правил: курить в строго отведённых местах — раз, если не курил до колонии, здесь не начинать — два, если можешь бросить, то брось — три, а что такое четвёртое правило, Шурка Филь почувствовал на собственной шкуре.

Итак, навстречу ему шли трое и курили. Шурка, конечно, не знал о существовании этих всех правил. Знал только одно. Ему очень хотелось курить, а своих папирос он не имел. Все трое дымили «Планёром». Шурка сейчас готов был докурить даже брошенный окурочок «туберкулёзной палочки», как пацаны называли между собой тоненькие гвоздики-папироски «Мотор». А тут — «Планёр».

— Слышь, друг, оставь, — спросил у самого крайнего.

Тот кивнул головой, но папиросы из зубов не вынул и продолжал идти, не снижая скорости, вместе с товарищами. Шурка ждал, что он сейчас остановится и протянет ему окурочек, и потому так и остался стоять с вытянутой по-гусиному шеей. «Планёр» безнадежно уплывал по просторному колониjsкому двору. Тогда Шурка догнал троицу и снова: — А, друг?

Тот снова кивнул, но опять же ни скорости не сбавил, ни папиросы Шурке не дал. Шурка снова забежал вперёд и заискивающе протянул:

— Ну ведь кончается уже, смотри, до самого мундштука докурил...

Крепыш остановился, спокойно поглядел на Шурку, ничего не говоря, вынул папиросу и бросил её на землю.

Шурка кинулся вслед за «Планёром», надеясь успеть схватить окурочек, пока в нём не погас огонь, но ему досталась изжёванная у основания гильза с коричневым ободком на конце: колонисты были не настолько богаты, чтобы выбрасывать папиросы, в которых оставался табак.

Шурка зло посмотрел вслед ушедшим колонистам. «Ну ладно!» Что именно вложил он в слово «ладно», он и сам не знал. А только, видно, и они себе что-то «взяли на ум», иначе бы вечером на общем сборе Шурку не поставили на «середину».

Колонист, не давший ему окурочек, оказался бригадиром

Ваней Неведоминым. Вечером, на сборе, он по разрешению председателя совета взял слово и рассказал о происшедшем, но не так, как это запомнилось Шурке, а совсем иначе.

— Я ж такого унижения в своей жизни ни разу не видел. Воспитанник колонии, уже почти, можно сказать, хлопец, а унижается как какая-нибудь последняя сывка. Пусть скажет, что же это он так низко унижался.

Афанасий Сватко спросил Шурку:

— Ну, что скажешь?

Шурка не придавал этому случаю такого значения, какое, как выяснилось, надо было. И только теперь подумал, что и в самом деле он забыл о своём достоинстве. Он готов был провалиться под землю, лишь бы скорее окончилось это его публичное унижение.

Афанасий Сватко, так и не услышав от него ни слова, видно, понял его состояние:

— Ну хорошо. Раз молчит, значит, понял, что достоинство своё беречь надо. Скажу только, что и ты, товарищ Неведомин, не совсем прав. Филь ещё не колонист, а только воспитанник, к тому же новенький. Ты мог бы спокойно объяснить, что к чему, а не засорять собрание такими мелкими вопросами.

Пройдя через общий сбор, Шурка, как и все другие новички, понял, что колония — это не какие-нибудь «хухры-мухры», тут нужно следить за собой на каждом шагу.

Поняли это и блюстители «воровской традиции», венчики над головами которых завяли тоже после одного из общих сборов.

Привезли из распределителя очередного новичка. Антон Семёнович ещё в первый свой приезд в колонию потребовал, чтобы персонал не принимал от судов и комиссий по делам несовершеннолетних личные дела пацанов. Так что ни проверить, ни опровергнуть хвастовство новичка всякими его похождениями, якобы имевшими место, никто не мог. А тот на каждом шагу только и говорил:

— Это что, вот однажды в Ростове мы... Или:

— Один раз в Одессе...

От работы лынял, учиться не хотел. Явно тяготел к тем, кто не хотел или пока не мог расстаться с уголовной романтикой.

Вывели «на середину».

— Ну, Расскажи о себе, — пригласил его к разговору Сватко. — Вслух. Чего по углам шепчешься и своей биографией гордишься. Расскажи, шо героического було в твоей биографии жизни...

Новичок молчал. Под нажимом общего сбора наконец открыл рот.

— А что?.. А я ничего...

— Ну отчего же ничего? Расскажи всем. Може, це всем нам дюже интересно. Живём и не знаем...

— Эге ж, так це ж вин курку украв! — раздался вдруг звонкий голос из рядов пятого отряда. — Мы з ным у приёмнике разом були... Мене собирались сюды взяти, а вин тильки що прийшов. Так пацаны ному ще... Курку, зозулястую курку украв, — торопился сказать пацан, будто боялся, что его остановят и он не успеет сообщить свои такие важные сведения.

— Ага, зозулястую курку... А мы-то думали, шо ви« действительно — того... Гроза Одессы и Ростова... Шо ж ты такой самозванец, а? Ну, тогда садись. Мы думали, ты пацан, а ты...

Развенчанный новичок садится на место...

Но таких происшествий становилось всё меньше. Коллектив втянулся в новые заботы и дружно устремился туда, куда их вёл нещедрый на слова и внешнюю ласку новый начальник колонии Макаренко Антон Семёнович.

На окнах сияли белоснежные занавески, кровати застилали теперь «по-белому», как в красноармейских казармах. Клуб и школа гудели музыкой, голосами: кроме оркестра, в который записалось больше пятидесяти человек, работали кружки — литературный, драматический, изо. Редколлегия каждый день выдаёт по свежему номеру стенгазеты «Колонист». Уже дважды успели обменяться концертами художественной самодеятельности с комсомольцами совхоза «Бровары». Короче, не скучали.

Но самое главное — это, безусловно, производство. Вокруг него кружилась, бурлила вся остальная жизнь колонии. От строителей канала Москва — Волга пришло письмо. «Дорогие ребята! С радостью узнали, что в вашем учреждении разместили заказ на изготовление опорной арматуры для инженерных сооружений. Отсутствие арматуры до сих пор сдерживает нас. Теперь мы покойны за сроки сдачи канала. Только хотелось бы, чтобы оборудование поступило скорее. Мы тут у себя посоветовались и решили вызвать вас на соревнование.

Мы обязуемся завершить годовой план к 29-й годовщине Октябрьской революции. Если, конечно, вы нас не подведёте».

Антон Семёнович прочитал письмо на общем сборе и спросил:

— Ну как, не подкачаем?

— Не подкачаем! — взорвался зал. Первым побуждением колонистов было тотчас сочинить горячий и сердечный ответ. Но Антон Семёнович остановил.

— Боюсь, что мы сейчас ничего не скажем серьёзного. Будет письмо вроде того, что сотворили запорожцы турецкому султану. Давайте подумаем, что мы можем улучшить на нашем производстве, поищем резервы, чтобы ускорить работы. И если вы, конечно, согласны, не письмом ответим, а пошлём своих представителей: пусть доложат, что тут у нас и как, а заодно и там посмотрят, что к чему.

Три дня морщили лбы и литейщики, и фрезеровщики, и слесари, и токарки. Даже те, кто трудился в хозобслуге, приставали к производственникам с советами. А на четвёртый день в клубе собрали представителей бригад. Правда, и остальным не возбранялось присутствовать, но они расселись позади, уступив передние места своим уполномоченным.

На сцене сидели инженерно-технические работники и тщательно записывали все предложения. Антон Семёнович был в первом ряду вместе с ребятами и молчал, лишь изредка бросая короткие вопросы и реплики. Рядом с ним — специально приехавший на разговор Павел Адольфович Оселок.

— Мы у себя в токарке подумали, — встал со своего места Митя Авраменко, — и у нас целая программа... Мы точим фланцы на вентили. А какой смысл их точить, если во фланцевое соединение вставляется резина. Она и уплотнит. А так — мартышкин труд...

Глухой голос Макаренко:

— Хорошо считаете. Но я хотел бы спросить товарища Авраменко: а поднимется ли у него рука сделать дело хуже, чем он может?

Митя подёргал себя за мочку уха.

— Мы подумаем, Антон Семёнович! Вот ещё предложение...

Вслед за ним слово взяли литейщики. У них пока

неважно с заливкой клапанов для маленьких вентилях. Много брака. Придумали новый способ заливки — наклонять опоку чуть под углом. Уже сегодня участок не дал ни единого процента брака.

Через неделю посылали в Москву, на Каналстрой, троих хлопцев, избранных общим голосованием. Счастливыми оказались Костя Вельченко, Гриша Галкин и Митя Авраменко. Проводить вышли на плац для построений. Антон Семёнович сказал короткую речь, строй дружно рукоплескал и завидовал, а Дмитро Мирный не удержался:

— А шо, мабуть, их там квитами зустрічать будуть! Не успел наркоматовский «фордик», который Антон Семёнович специально пригласил, чтобы отвезти делегацию на вокзал, удалиться со двора, не успел строй колонистов остыть от пережитого расставания, тут же новая радость подхватила пацанов и девчонок на своих крыльях.

— Я вот о чём думал, — произнёс, прохаживаясь вдоль ещё не рассыпавшегося строя, Антон Семёнович. — Раз наши соперники назвали сроком подведения итогов соревнования день рождения Октября, надо бы и нам как-то отметить этот день. Чем-то таким, чтобы это было достойно нашего с вами труда.

Они ещё не привыкли, чтобы с ними советовались по серьёзным вопросам, не привыкли думать так же дерзко и смело, как думал Макаренко. Потому не они пока, а он внёс предложение:

— А что, если мы попросим разрешения пройти в этот день нашей колонной на демонстрации? А?

Кто-то захлопал в ладоши, кто-то негромко попытался спровоцировать строй на «ура», но для всех остальных это было настолько неожиданным, что несколько секунд на плацу стояла гробовая тишина.

— Ну, это вам мысль для размышления, — сказал Антон Семёнович. — Думайте. Если уверены в себе, в том, что справимся с производственными обязательствами, если у нас школьные дела будут идти, как надо, если вообще... Словом, неделю вам даю на раздумье.

А через неделю в совете командиров уже обсуждали: разрешат или не разрешат, а в чём идти, а как же без знамени? Что, нам могут вручить знамя, если сдержим слово, данное строителям канала? Пройти под марш, со своим оркестром, под собственным флагом! Ах, ёлки зелёные!

Теперь надо было решать вопрос в инстанциях. Антон Семёнович посылает колонистов в исполком. Оттуда звонок: у вас что, нет персонала? Есть. Тогда в чём же дело? Но ведь под флагом пойдут не воспитатели, а коллектив, вот представители коллектива и хлопочут... Через день занялись усиленной строевой подготовкой. Чтобы быстрее «поднатореть», решили ходить строем на работу и с работы.

Менялась вместе с мальчишками и взрослая часть колонийского коллектива.

Кое-кто ушёл, как только узнал, что Макаренко будет по совместительству командовать колонией.

Первым ретировался мастер из токарного цеха:

— Хай на мэнэ лыха годына посядэ, шоб я тут ос-ставсь! Хватыть с мэнэ рэволюций.

Покинул производство Буркин. Не по нраву пришлись нововведения и части воспитателей.

Но подавляющее большинство всё же поверило, что Макаренко не на словах, а на деле сотворит из этой провальной, как они сами считали, колонии настоящее чудо. И не обманулись в своих ожиданиях и надеждах.

На первом же педсовете Макаренко сказал примерно следующее. Он хочет, чтобы воспитанники не когда-нибудь, не завтра, а уже сегодня почувствовали ответственность за себя сами. Да, они не готовы к самостоятельности. Но рядом вы, люди с жизненным опытом. Постарайтесь почувствовать себя их товарищами. Идите в школу, на производство, в клуб, на спортивную площадку — постарайтесь понять, чем живут ребята, о чём думают, что у них получается, а что нет. Если что-то не так, как нужно, объектом взрослого влияния должен быть не воспитанник, а те обстоятельства, которые на него влияют. Вместе с отрядом боритесь за хорошую успеваемость в школе, в классе. Вместе с администрацией предприятия боритесь за хороший инструмент, за то, чтобы не было перебоев в снабжении цеха материалами. Взрослые должны выступать рядом с отрядом как заинтересованные члены его, как отстаиватели его интересов, если, конечно, отряд прав и отстаивает правильную общественную линию. Если же отряд сбивается с этой линии, значит, надо бороться в самом отряде, опираясь на его лучших членов, и защищать при этом не свои собственные педагогические

интересы и позиции, а интересы воспитанников и всего учреждения.

Они поняли Макаренко как надо. А кто не понял сразу, чуть позже убедился, что самое лучшее — научиться сопереживать общие с воспитанником нужды, общие успехи, общие неудачи. Что нужно действовать вместе с колонистами, а не воздействовать на них...

Воспитатели торчали днями напролёт в цехах, помогали совету командиров в составлении всевозможных графиков — дежурств, уборок, а когда наркомат выделил фонды на кирпич и началось строительство пристройки к школе, вместе со всеми, а чаще вдвое, втрое больше мальчишек — трудились на стройке, считая это самым важным воспитательным моментом на сегодняшний день.

Случалось, что кое-кто из персонала в разговоре о колонисте вдруг ронял: «А-а, тот, что...» Были попытки селить пацанов по спальням, формировать в бригады по принципу «за что сидит». В одних случаях Антон Семёнович терпеливо доказывал, что медицинский принцип «чтобы лечить болезнь, надо знать её истоки» тут бесполезен, а то и вреден... В других — просто рубил сплеча:

— Где, какой инструкцией вам предписывается строить воспитательную работу в зависимости от проступка несовершеннолетнего?

Корни педологии оказались живучи. Они пронизали не только школу. Чем-то сродни педологическим характеристикам были и оценки типа: «Что с него взять? У него и брат такой же», «Яблочко от яблони...» Антон Семёнович не жалел труда, чтобы выполоть этот сорняк с колонийского поля. И лучшей агитацией за свою педагогику он считал личный пример.

Так же, как и в коммуне имени Дзержинского когда-то, как и в наркомате, кабинет его в любое время открыт для всех. Он не делает тайн ни из своих занятий, ни из разговоров. Так что в кабинете у него всегдалюдно. И всем интересно.

Вот открывается дверь. Заглядывает Шурка Филь. После проработки на общем сборе он больше не попадал в неприятные истории. Но что-то, видно, беспокоило в нём Антона Семёновича, и он попросил его зайти.

— Проходи, проходи, Александр, — пригласил Антон Семёнович, заметив в дверях лицо Филья. — Садись вот здесь... Ну как, уже осмотрелся в колонии?

— Осмотрелся.

— Подружился ль с кем?
 — Да, с Гришей Галкиным.
 — Хороший парень Гриша. Я рад за тебя. Куда определили работать?
 — На формовку.
 — Интересное производство, скоро будет ещё интереснее. А чем занимаешься в свободное время?
 — Разным. В литературный кружок записался.
 — А почему именно в литературный?
 — Литературу люблю. И... это... стихи...
 — Стихи любишь?
 — Нет, то есть люблю... Но... Стихи пишу! — с нотками некоторой торжественности произнёс Филь.

— Это хорошо. Тебе надо познакомиться поближе с Афанасием Сватко. Он тоже пишет и стихи, и прозу... Ты скажи ему, что я тебя прислал поговорить, хорошо? А теперь прочти, если можно, что-нибудь.

Филь ждал, что его будут расспрашивать о прошлом, о том, что привело его в колонию, а разговор получается совсем даже приятный. Ничего, что заставило бы в который раз оправдываться, объясняться. И он с радостью выпалил:

— Незабудки!
 — Это так стихотворение называется?
 — Да.
 — Читай.

Филь выпрямился, приосанился и громко, с выражением, прочитал:

Вплетали в косички
 Девчонки-малютки
 Цветы голубой красоты —
 Мои незабудки,
 Мои незабудки,
 Далёкого детства цветы.
 Бежал на свиданье,
 Считая минутки,
 Глупея от сладкой мечты,
 Дарил незабудки.
 Мои незабудки,
 Мальчишеских вёсен цветы.
 Не хочется помнить
 Тех камер закутки,
 Решётки, охраны, посты,
 Где мрут незабудки,
 Мои незабудки,
 Так нужные в жизни цветы! *

** Стихи предоставлены автору киноинженером Александром Алексеевичем Филей, проживающим ныне в Киеве.*

Филь закончил чтение и сдержанно посмотрел на заведующего колонией: что скажет? Но в это время в кабинет заглянул взъерошенный пацан:

— Извините, у вас голубой туши нет?

— Здравствуй, — ответил Антон Семёнович.

— Здравсь, — с опозданием поздоровался пацан.

— А зачем тебе понадобилась именно голубая?

— У нас всегда объявления писали чёрным. А хочегся как-нибудь иначе...

— Это хорошо, — сказал Антон Семёнович. — Только у меня, к сожалению, нет ни голубой, ни какой другой туши. Но я вчера видел... Постой, где же я видел? Ага, в библиотеке.

Не успел Антон Семёнович проговорить последние слова, как пацан тут же исчез.

— Так, — обернулся Антон Семёнович к Филью. — Стихи... Сразу видно, что сочиняешь уже давно. Не ошибаюсь?

— Давно.

— Это хорошо. Когда у человека есть серьёзное увлечение, его жизнь становится шире, а сам он богаче. Ты не бросай это занятие. У тебя получается. Есть чувство ритма, образное видение. Только вот содержание малость — того... Камеры, решётки...

— Я тут не по договору, — с металлом в голосе молвил Филь и посмотрел на Макаренко так, словно бы хотел сказать: «Не подходи, а то укушу!»

— Ну что ж теперь поделаешь, — Антон Семёнович сделал вид, что не заметил, как взъерошился колонист. — Только ведь ты человек, а люди не должны ходить со свёрнутой назад головой. К чему помнить худое? А лучшее — оно всегда впереди... Кстати, не заку́тки, а закутки... Тут у тебя немного не доработано. Но это не самое важное. Главное — содержание. Ты знаешь, какую продукцию осваивает наш литейный цех?

— Знаю. Хлопцы говорили. Будем делать опорную арматуру для канала Москва — Волга.

— Вот-вот. Ты присмотриись к ребятам, чем они живут, о чём думают, и попробуй написать об этом. Хорошо?

— Попробую.

— Ну и ладно. К Сватко сходи. Будет необходимость — приходи ко мне. По делам литературным и вообще по любым.

При разговоре присутствовал Остап Игнатьевич. Он теперь старается намотать на ус всё, что услышит от Антона Семёновича, понять каждый его шаг, каждое решение.

— Вот как просто у вас с ребятами, Антон Семёнович, — с завистью произнёс он, когда Шурка вышел. — А я вот всё никак не могу с Бахмутом совладать. Вчера ему целый час втолковывал...

— Вот это как раз и напрасно, — перебил его Антон Семёнович. — Не надо говорить дольше, чем надо. Вы постарайтесь всякий раз ставить себя на место воспитанника. Это очень помогает взглянуть на себя со стороны.

В это время вернулся Шурка Филь.

— Вот. Я переделал. Прочтите.

Антон Семёнович принял у него листок, бережно положил его перед собой и, близоруко щурясь, вслух прочёл:

И мир мой не только Одёжки-обутки, Работы тугие пласты. Со мной не-забудки, Мои незабудки, Зовущие в юность цветы.

— Вот это уже лучше, — обернулся Антон Семёнович к Филю.

Просияв, тот вышел.

Заглянул Сева Шмигалёв. Он взял на службе отпуск и вторую неделю живёт в Броварах. В начале недели предложил младшим колонистам провести военную игру. Те, не раздумывая долго, согласились. Но потом оказалось, что прежде требуется изготовить всю необходимую атрибутику — уйму броневигов, артиллерии, аэропланов, пулемётов, приспособлений для дымовых завес и ещё многое. Кое-кто разочаровался: эвон сколько надо всего, и только после — сама игра. Но подготовка уже началась, и в неё втягивалось всё больше и больше пацанов, причём уже не только малышей, но и тех, кто постарше. Самым трудным оказалось вырезать из жести фигурки солдатиков. Но тут между мальчишками разгорелось самое настоящее соревнование: кто сделает больше. Работали самозабвенно, до мозолей на руках. Особенно отличились двое — Дмитро Мирный и Ванька Боярчук. Оба, как выяснилось, заядлые рога-точники, они давно соперничали, вызывая зависть у десятков тех, у кого тоже, вопреки запрету воспитателей,

имелись рогатки: никто не мог попадать с такого длинного расстояния с такой точностью и в мелкие мишени, как они. Теперь оба делают солдатиков, доходя до изнеможения. Вечерами сидят приклеенные к стульям и трудятся с таким напряжением, будто от этого зависит, наступит или не наступит конец света.

— Но это не всё, — улыбается Сева. — Они работают в токарке. Дмитро — получше, Ванька — так себе, из-за своей непоседливости. «Ну а здесь кто кого?» — спрашиваю. Теперь и тут стараются обогнать один другого. Они в разных отрядах — так болеют за них оба отряда.

— Прекрасная возможность втянуть в соревнование эти коллективы! — комментирует Антон Семёнович.

— Да к тому и клонится, — отвечает Сева.

— А ты попробуй подогреть, подзадорь.

Не только Остап Игнатьевич, но и весь персонал особенно внимательно присматривался к тому, как действовал Макаренко, когда «педагогика строила гримасы» — такое выражение бытовало, если речь шла о дисциплинарных срывах пацанов. Антон Семёнович ни разу не повторился ни в своей реакции на проступки, ни в своих решениях по их поводам. Вот и недавний случай...

Некогда «вечный сиделец» карцера Грицко Балаба-ненко, ставший одним из заметных колонистов — стахановец, активист литературного кружка, член редколлегии стенгазеты, — да кто мог от него ждать такого! — ударил новичка. Да не просто ударил, а жестоко — стопкой тарелок по голове! Драки в колонии практически перевелись, да и Грицко — пацан не из задир. В чём дело? Выяснилось, что спровоцировал инцидент новичок. Но ведь ударил-то Грицко! Дежурные потащили его к Антону Семёновичу. Тот сидел за столом и что-то писал в тетради. Вошедшие покашляли. Ноль внимания. Но вот Антон Семёнович закончил страницу, перевернул её и тут обратил внимание на дежурных и уткнувшегося в пол Грицка.

— Ну, зачем привели? Ему рассказали.

— Так, ну и что? Он не поужинал?

— Нет.

— Так ведите его поскорее в столовую, пока там всё не съели! Накормите, да посытнее!

Дежурные пожали плечами и повели Грицка ужинать.

Каша ему, разумеется, в горло не лезла. Однако отужинал. Посидел. Никто не поднимал, не звал снова в кабинет начальника колонии. Он встал и пошёл в спальню. Странно — в отряде тоже никто не слова. Заснул, полный недоумения. Утром — горн, зарядка, туалет, отряд идёт в столовую. На столе, где сидит бригада, возвышается ведро с ароматной кашей, разложены ложки, а тарелок нет. Помолчали. Потом попили компота и пошли на работу.

Перед обедом Грицко был в кабинете Антона Семёновича.

— Вот, — колонист положил ему на стол заявление: «Прошу высчитать из моей зарплаты деньги и купить новые тарелки взамен разбитых».

Антон Семёнович поднял глаза.

— Кто надоемил?

— Никто.

— Сам? Это хорошо, что сам. Это главное. Иди. В обед на столе были новые тарелки. А педагоги пристали к Антону Семёновичу с вопросами: почему не наказал колониста?

— Разве вы сами не заметили? Он сам себя и осудил, и наказал, и сам предложил, как я считаю, вполне разумное искупление вины — своей трудовой копеей. Это касалось урона материального. Что до другой стороны — юридической, дисциплинарной, то он действовал в полном убеждении, что поступает справедливо: ведь его оскорбили, не так ли? И тут ругай, не ругай, а он ещё не вызрел, чтобы понять претензию.

Все, кроме Остапа Игнатьевича, удовлетворились ответом. Он же прилип, как клещ:

— Антон Семёнович, вот вы ратуете за воспитание в коллективе и через коллектив. А сами к каждому подростку с индивидуальным подходом. К каждому — с разными ключами. Как понять?

— Я не исключаю индивидуальный подход, — отвечает Макаренко. — Я обеими руками голосую за него. Но индивидуальный подход хорош тогда, когда отрегулированы узлы и механизмы коллективного воспитания — а оно у нас в колонии проявляется всё щедрее. Так что в этих условиях индивидуальный подход уже и необходим, как, скажем, специя, приправа к хорошему блюду.

И вот уже и сам Остап Игнатьевич вырабатывает в себе навыки индивидуальной инструментовки. К одному

воспитаннику — строго, к другому — с ироничной ласковостью:

— Ивась, ты не сделал того-то? Но ты ведь сделаешь! Ведь сделаешь, да? Суток не хватило, а за два часа вполне успеешь. Ты ведь знаешь, что будет, если не сделаешь, да?

— А что будет?

— Ну, сам знаешь...

Подросток думает, думает, думает, потом махнёт рукой и пойдёт исполнять поручение. Мало ли что имеет в виду Остап Игнатьевич!

Если бы Антон Семёнович слышал эту сцену и оценивал, как зачётную в педвузе, он поставил бы Остапу Игнатьевичу жиденькую тройку. Цели тот достиг, но, увы, почти шантажом.

Но уже вскоре Остап Игнатьевич вошёл во вкус и творил с колонистами что хотел.

Был у него в отряде семнадцатилетний колонист Клякса, который вполне оправдывал свою фамилию — на его неряшливость давно махнули рукой.

— Олекса, — зовёт Остап Игнатьевич одного из малышей. — Объясни Кляксе, что с носовым платком жить легче.

Клякса недоумённо двигает ушами и застывает, вынимая палец из ноздри.

— Смотри, резьбу сорвёшь, — хохочет Олекса и убегает, потому что Клякса показывает ему кулак, явно угрожая не простить замечания.

По несколько раз на день Олекса подходил к нему в самых неподходящих местах и, гордый полномочиями, полученными от воспитателя, требовал предъявить носовой платок. Несколько раз Клякса не выдерживал и бросался покарать докучливого мальчика, но за того вступались старшие:

— Нашёл, с кем справиться! Ты лучше не забывай класть в карман носовой платок, а то ведь он тебя вконец изведёт.

И Клякса принялся осваивать хорошие манеры. А Остап Игнатьевич — ставить перед собой новые педагогические цели, развязывать другие воспитательные узелки.

Двигался от одной цели к другой и весь остальной взрослый коллектив. На горизонте маячило создание в колонии комсомольской организации. Объявили о соревновании бороться за право назвать колонию именем Павла Петровича Постышева. Готовили ребят к тому, чтобы передать органам

их самоуправления все вопросы внутренней жизни и вообще обойтись без штатных воспитателей.

Иногда, чаще по выходным дням, в Бровары наезжали сотрудники отдела трудовых колоний. Трудно сказать, чем они тут больше занимались — помогали персоналу или учились сами, наблюдая, как на дрожжах энергии Макаренко и его «Методики» бродило, вызревало нечто, пьянящее своими стремительными переменами, мажором и верой в то, что жизнь, вопреки всему, хороша, а будет ещё лучше. Ехали не по приказу, не по просьбе даже — это стало таким же обыкновением, какими были те вечера в кабинете Антона Семёновича в наркомате, без которых, оказывается, жизнь отдела лишилась чего-то чрезвычайно важного, необходимого, обязательного.

О том, что Антон Семёнович собирается переезжать в Москву, в отделе знали, но это имело последствием разве что ту истовость, с какой он спешил осуществить свои планы. В остальном же всё носило печать его неизменной обстоятельности, скрупулёзности и неподдельной заботы о том, чтобы ничто не смогло свернуть колонию с того пути, по какому он её направил.

Но если Макаренко оставался прежним, последние события и его предполагаемый отъезд в том числе на всех наложили заметный отпечаток.

Первым обнаружил это Прейслер.

В тот вечер Антон Семёнович ужинал за одним столом с ним, Савчуком и Суржиком. Разговаривая с молодыми людьми, он краешком глаза наблюдал за происходящим в столовой. До недавнего времени здесь работали постоянные представители отрядов. За то, что каждый из них обычно старался как-то угодить своим, их называли «шнырями». И это б ещё победы, если бы «шныри» не злоупотребляли своим положением, чем частенько провоцировали недовольства, которые, в свою очередь, порой переходили в потасовки между отрядами, когда кто-то оказывался действительно обделённым «пайкой» или им так казалось. Теперь «шпырей» нет, дежурят по очереди все отряды, и в пристрастии никого не упрекнёшь. Недовольства исчезли. В столовой стоит ровный, спокойный гул, только позвякивает посуда, да время от времени раздаётся чей-то смех.

— Едой силу не вымотаешь, — сказал Прейслер голосом, в котором Антон Семёнович уловил тепло.

— Нравится здесь? — спросил он Колю.

— Нравится, — откровенно признался Прейслер. — Остался бы тут насовсем. Совсем не то, что высихивать бумаги в наркомате!

— Ну зачем же ты так? — одёрнул его Суржик. — Колония — это одно, наркомат — другое.

— Ты ломовик, у тебя отсутствует боковое зрение, тебе не понять, — вполголоса, чтоб не расслышали пацаны, с раздражением ответил Коля. — В наркомате ты приставка к телефону, к сводке, к креслу, к столу. Колония — вот где живое дело. А всё остальное — оно остальнее и есть.

— Ну так и подай рапорт, — посоветовал Суржик. — Я думаю, что никто держать не будет, даже наоборот — скажут спасибо: человек рвётся на низовую работу. Правильно я говорю, Антон Семёнович?

— Полно вам, друзья! — остановил их с улыбкой Макаренко. — Это всё равно что сравнивать: один стол красный, другой круглый. Нужны и практическая работа, и аппарат. Что же касается вашего заявления, Коля, то хочу предостеречь вас кое от чего. Ваш энтузиазм сегодня продиктован динамикой нынешних событий в колонии. Дальше пойдёт спокойнее, однообразнее. И знаете, это самое сложное — каждый день одно и то же. Не все выдерживают. Вот если у вас появился здесь какой-то интерес — другое дело. Без прямого интереса энтузиазм — выкидыш, мертворождённое дитя.

— Есть интерес, Антон Семёнович.

— Какой же, если не секрет?

— Пацаны.

Макаренко задержал ложку и внимательно поглядел на Прейслера:

— Ну что ж, Коля, у тебя должно получиться. Надумаешь — поддержи... Ну а вы, хлопцы, о чём думаете? На какие мысли вас наводят Бровары?

Суржик неопределённо пожал плечами. Савчук наморщил лоб и ответил:

— Если честно, Антон Семёнович, у меня, как и у Прейслера, тоже кое-какие мысли появились. Только несколько в ином плане. Тонкая это материя — колония! Тут и школа, тут и профессиональное обучение, тут и производство. Наконец, ребята, как ни крути, особые. Чтобы всё это охватить умом, чтобы уметь на всё это влиять толково, нужно так много знать! Тем

более для работы в наркомате. Ведь других учить должен, а сам ни бу-бу... Вот и думаю попроситься на учёбу.

— Куда?

— Не знаю. Педтехникум окончил. Как двигаться дальше в этом направлении, знаю: подучусь самостоятельно. А вот остальное... В юридический бы институт или в Высшую школу НКВД, если, конечно, меня отпустят.

— Отпустят. Стремление к учёбе похвально и воем понятно.

Уже выпили компот, и можно было подниматься. Но Антон Семёнович почему-то не спешил, наблюдая, как отряды, отужинав, покидали столовую, а сноровистые дежурные торопились собрать посуду, чтобы успеть на вечерние мероприятия в клубе или в школе. Встретив его взгляд, Суржик неопределённо улыбнулся. Вид у него был, как у персонажа на старых групповых портретах, не знающего, куда деть руки, куда повернуть голову. Он не ошибся, предположив, что и для него есть у Макаренко какие-то слова.

— Должно быть, мы скоро расстанемся, Павел, — произнёс Антон Семёнович. — Может статься, что случая поговорить больше и не представится. А мне хотелось бы дать вам несколько советов.

Прейслер и Савчук переглянулись. Наверное, следовало бы подняться и уйти, но Антон Семёнович уже говорил, нимало не смущаясь их присутствием: — Видите, Павел, что вам предстоит?..

— Да, Антон Семёнович, я понимаю... Продолжать начатое — за вас, за Прейслера, за Савчука.

— Верно. И как? Готовы?

Прейслер и Савчук снова переглянулись. В последнее время в Суржике поубавилось аппаратной самоуверенности, зато проклюнулся интерес к внутренней стороне того дела, которое они все делали. Иначе бы не ездил в Бровары. Но над ними довлело то давнее заявление Суржика в адрес Антона Семёновича, произнесённое весной: «Не верю ни на грош!» Откуда вдруг столько интереса к нему, столько мёда в голосе! «Флюгер! Хамелеон!» — негодовал про себя Прейслер. Между прочим, он часто ловил себя на мысли, что именно Суржик и сделал те злонамеренные пометки на «Педагогической поэме», которые он, Коля, обнаружил тогда. Но это были ничем не подтверждённые предположения. Думал о метаморфозах Суржика и Савчук. Но размышления его текли в другом направлении.

Немногие люди умеют сдерживать в себе эмоции в отношениях к окружающим, как Антон Семёнович. Да ведь это и правильно! Иначе же можно дойти до самых ужасных крайностей. Сегодня тебе не понравятся чьи-то суждения, а завтра — нос, послезавтра — уши...

Интересно, доходят ли до Антона Семёновича жёлчные сентенции Суржика в его адрес? Не могут не доходить! В НКВД какими-то неведомыми путями известно всё, всем и обо всех. Значит, не мог быть Антон Семёнович в неведении о неприязни, которую Суржик, собственно, не скрывал ни от кого. Время от времени, словно бы из желания поиграть с огнём, он нет-нет да и подкинет Антону Семёновичу какую-нибудь каверзу: в основном, подлаживаясь под общий тон отношений в отделе, ввинчивает в разговоры вопросы и вопросики, но не простые, а с подтекстом. Всякий раз, когда Макаренко поступал в разрез с каким-нибудь циркуляром, он напоминал об этом циркуляре. В том постоянстве, с каким Суржик делал свои напоминания, читался вопрос: а не берёт ли Макаренко на себя право быть судьёй в последней инстанции во всём другом? Что будет, если каждый станет руководствоваться собственной логикой и собственными соображениями? Вот что читалось в вопросах Суржика, а не любознательность и интерес, продиктованные стремлением разобраться в сложном вопросе!

Не понимать этого Антон Семёнович не может. Тогда почему же не поставит его на место? Может, считает, что, как говорится, на каждый чих не наздравствуешься? Однако, если судить по «Педагогической поэме», не очень-то манерничал Макаренко со своими недругами. Эвон какие убийственные характеристики дал им! Куда ж теперь девалась его пронзительная прямота?

Естественно, ни Прейслер, ни Савчук не могли вслух задать Макаренко всех этих вопросов. А если бы случилось вдруг, Антон Семёнович, безупречно, объяснил им, в чём дело.

А было оно в том, что терпимость к человеческим недостаткам изначально служила ему той основой, на которой вообще строил он отношения с людьми. Отрицательные персонажи «Педагогической поэмы»? Так ведь противоборство с их прототипами он всегда расценивал как самую крайнюю меру. Среди этих людей не было ни одного, с кем он не пытался объясниться по-хорошему. Браться тотчас за грудки, когда выясняется, что точки зрения не совпадают, — не лучший способ разрешить спор.

Не нравится что-то в человеке — борись за лучшее в нём, как боролся бы за любимого человека, за душу собственного ребёнка. Откровенных негодяев в жизни не так уж много. Каждый человек неповторим и в достоинствах своих, и в недостатках. Но создай общие условия, при которых люди будут поступать как надо, и завтра придёт ежедневный опыт достойного человеческого существования, при котором людей свяжет лучшее, а не худшее в них.

После друзья по обыкновению обсудили бы этот разговор. И оценили бы его по-разному. Прейслер сказал бы: «Не понимаю: выходит, нужно спокойно мириться, когда рядом с тобой откровенный подлец?» — «По мне, — ответил бы Савчук, — пусть он будет распоследним негодяем, но ведёт себя по-человечески. Это куда лучше, чем когда хороший человек вдруг неожиданно поступает плохо». — «Подлец всегда подлец, даже если умеет играть в хорошего. Однажды он всё равно предстанет во всей своей подлой красе!» — «Ну, это откровенный фрейдиизм, Коля!»

Тут было бы самое время вмешаться и Антону Семёновичу. «Каждый из вас, — сказал бы он, — прав по-своему. Суть настоящего гуманизма — сугубая требовательность к человеку. Человек такой, как он действует, а не чувствует себя в душе. От иного за версту зефиром пахнет, а ведёт себя по-скотски. И тут, разумеется, надо поступать решительно и строго...»

Если бы было время для разговора, Антон Семёнович вспомнил случай, который произошёл в одном из походов коммунаров. В ссоре, в запальчивости коммунар Сопин ударил более слабого товарища. Общий сбор походил на бурю. Поход! Военная дисциплина! А коммунар Сопин на виду, так и говорили, у всего Советского Союза ударил своего товарища. Это большое преступление, за которое не может быть никакого прощения даже такому до сих пор образцовому коммунару, как Сопин. Ссадить на берег — и пусть помнит, что он нам более неинтересен. Пусть и в коммуне, когда мы уйдём, помнят об этом случае! И в самом деле: сменялись поколения за поколениями в коммуне, но даже и новенькие спустя время, когда чуть вопрос о драке зайдёт, тут же говорили: «А помнишь, ссадили в Ялте?...» Если всем прощать, если всё прощать — это будет не по-советски, если хотите. Завтра мы сможем простить ложь, брак на работе, казнокрадство — всё, что угодно...

И всё же это — крайнее положение, когда приходится порывать с человеком. Тогда нам пришлось бы раз и навсегда отвергнуть и тех, кто сейчас находится на нашем попечении. Но мы с вами этого не делаем, а пытаемся вернуть их обществу... Что же касается Суржика, то тут вы, думается, несколько всё преувеличиваете. Слегка важничает? Со временем пройдёт. Да, легко уязвим для аппаратных предрассудков — тут всё сложнее, при неблагоприятных условиях может стать махровым конъюнктурщиком, если вовремя не поправить. Но он искренне ищет работу, а не бежит от неё, пытается принести пользу — и в этом ему надо помочь.

Он мог привести в качестве примера не один, не два — массу случаев, когда внешне казавшиеся чуждыми педагогическому поприщу люди оказывались ценнейшими специалистами в деле воспитания. Тот же Николай Эдуардович Фере. Педант, буквоед, прагматик — казалось бы, ну кто из пацанов способен полюбить этакого сухаря? Но остроглазый и суровый умница Фере вносил в колонийскую педагогику размах нового производственного дела, требующего организатора широкого масштаба. О педагогической стороне своего дела он даже и не упоминал, о педагогике, собственно, и не думал, полагаясь больше на производственную и хозяйственную сторону дела. Именно его энергией производство в колонии стало мобилизующей, воспитывающей силой. И пацаны уважали в нём личность незаурядную.

Или Марк Михайлович Гинзбург. Иронично относившийся ко всяким эмоциям, он умел, когда речь шла о деле, далеко и умно глядеть вперёд. В те времена, когда борьба Антона Семёновича с педологами достигала особого напряжения, он, хорошо понимая силу, каковой они обладали, воздерживался от прямых выступлений в защиту новых принципов воспитания, презрительно помалкивал и выжидал случая. Но он был практичным человеком, не верящим пустым словам, и когда видел, что новые принципы приносят плоды, азартно и деятельно брался за любое дело. Оказавшись в числе тех, чьими усилиями создавалось Полтавское объединение трудовых колоний, чаще не выступал в прениях и говорил: «Дело само выживет, если оно настоящее, пусть кричат, не нужно никаких активных действий». Ну что ж, не всем же быть мастерами прорыва, мастерами броска вперёд!

Мог бы Антон Семёнович поставить в пример и младшего своего брата Виталия, неизвестно где теперь обретающегося. За плечами Виталия в восемнадцатом году были лишь реальное училище, курсы пехотных офицеров и три года войны. Ну какой из него мог быть педагог при таком жизненном опыте! Однако же именно Виталию принадлежала идея военизации Крюковского высшего городского начального училища, где они оба тогда работали. Оркестр, марши, строевые песни, знамя — да ведь именно прапорщик Виталий Макаренко вооружил его, педагога Макаренко, этой замечательной находкой, которую он с таким успехом использовал в Куряже, в коммуне имени Дзержинского и которая так прижилась здесь, в Броварах.

Вот и Суржик... Подозрителен? Но подозрительны многие сейчас, особенно в НКВД. Это временно, это пройдёт со временем. Чопорен? По молодости. Жизнь обломает. Вот почему Антон Семёнович и хочет сейчас хоть немного, сколько сможет одним этим разговором, повернуть жизненные установки молодого сотрудника поставить все на свои надёжные и правильные места.

...Не было такого разговора Макаренко с Суржигом и Савчуком. Может, когда-нибудь фрагменты его прозвучат в иных жизненных ситуациях, ведь до отъезда Антона Семёновича в Москву ещё оставалось время, да и жизнь этой их встречей не заканчивалась. Но что касается Суржика, то на вопрос Макаренко он ответил не сразу, потому Антон Семёнович успел про себя подумать о нём и так, и эдак, и не мог не высказать ему несколько советов, которые считал необходимыми как для дела, так и для самого Суржика.

— Так как же, Павел, готовы? — переспросил он.

— А что же остаётся, Антон Семёнович?..

— Тогда, может быть, вам не помешают несколько моих советов. Нам выпало работать в сложное время, хотя, может, вам оно достанется не легче. Тогда тем более... Рано или поздно мы передадим дело вам. И хочется, чтобы всё у вас было, как бы это сказать, правильнее, что ли, чем у нас. Хочется избавить вас от ошибок, которые мы или кто-то из нас совершал. Вы можете воспользоваться или нет моими советами, но я считаю своим человеческим долгом дать их.

Он достал папиросу, положил портсигар в карман, скрипнув портупеей,

прикурил, поправил на боку складки гимнастёрки и продолжил:

— Нет и не может быть настоящей административной работы без человековедения, без глубокого проникновения в то, чем живут люди, о чём думают, что им нужно. Иначе — Прейслер правильно заметил — аппаратный работник превращается в чиновника худшей пробы, в придаток кресла, стола, сводки. Я в аппарате чуть больше года, можно сказать, и сам новичок в этом деле, но я уже немолод, имею навык быстро и точно оценивать обстановку, да и раньше не раз убеждался, что час то именно аппарат становится барьером на пути ценной инициативы, новой идеи. К сожалению, многие должностные лица, искренне горящие на работе, не жалеющие сил, чтобы аппаратный организм функционировал исправно, забывают о главном — о том, ради чего этот аппарат существует. Согласитесь, у нас часто выше многих других достоинств ценится сугубая исполнительность, умение перевести на язык практической работы указание вышестоящих лиц. А должностной уровень не избавляет от ошибок. И тогда по навязанным шаблонам принимаются важные решения, вслед за тем люди принимаются обогащать эти решения новыми, в их развитие, и уже забыто, а из чего же выросло, во имя чего создано то, первое решение.

— Но я думаю, Антон Семёнович, что, принимая решение, люди руководствуются какой-то ответственностью за дело.

— Да, ответственностью. Но разве она только в том, что какое-то должностное лицо на каком-то уровне держит фронт и в случае прорыва отвечает за него головой? А ответственность гражданина, который обязан думать, искать? Время военного коммунизма осталось далеко позади, а мы до сих пор никак не отречёмся от приказного управления. Это, очевидно, пока неизбежно, но это этап, это временно. Рано или поздно постулировать свои вкусы, свои точки зрения перестанет быть нормой.

— Да, вы, наверное, правы, Антон Семёнович. Вот пяти месяцев не прошло, как вы взяли за эту колонию, дали простор инициативе сотрудников, самим воспитанникам — и уже совсем иначе всё выглядит. Надо, конечно, больше доверять людям и прислушиваться к ним.

— Я рад, что вы меня поняли, Павел.

— Я и для себя немало выводов сделал.

— Это неизбежно.

— Я даже осмелился поставить диагноз болезни, ко торой чуть не за-
разился, работая в наркомате.

— Любопытно...

— Ведомственные амбиции, боязнь за своё должностное реноме.

Макаренко сдержанно улыбнулся.

— Но ведь, Антон Семёнович, честное слово, это не потому, что я та-
кой! Затягивает!

— Ну раз вы, Павел, поняли и это, значит, всё в порядке. Я спокоен за
вас. Но вот что ещё. Постарайтесь всё-таки подружиться с Прейслером и
Савчуком. — Антон Семёнович посмотрел в их сторону. — Они славные
ребята, и ваша взаимная неприязнь мешает работе.

Савчук и Прейслер с благодарностью посмотрели на -Антон Семёно-
вича. Оказывается, всё он видит и оценивает правильно. И даже знает, как
быть в этом сложном положении. Делая одно дело, нужно объединяться, а
не становиться в борцовскую стойку, если обнаружится расхождение в
оценках, взглядах.

Да, но всегда ли такой подход верен? А как быть с теми, кто вчера был
вместе со всеми, а сегодня хлебает тюремную баланду? С теми же братья-
ми Броневыми, дружившими с Макаренко, а сегодня находящимися под
следствием?

Это была особая статья. И её Антон Семёнович принципиально не ка-
сался в разговорах, хотя наркоматовцы нетерпеливо ждали от него реак-
ции, сообщая: арестованы тот-то и тот-то, такого-то исключили из партии,
такого-то за связь с врагом народа сняли с работы.

Антон Семёнович мрачнел, видя, как отдельская молодёжь на глазах
прямо-таки постарела от перманентного пребывания в состоянии праведно-
го своего гнева, обессиленная невозможностью разобраться в причинах
этого необъяснимого хаоса.

Недавно снят с поста наркомвнудел страны Ягода. Досужие языки ут-
верждают, что он повинен в необоснованных арестах и нарушениях закон-
ности. Месяца полтора-два назад в узком кругу наркомвнудельцы позволи-
ли бы себе задаться вопросом: если сведения о Ягоде верны, тогда почему
с приходом нового наркома Николая Ивановича Ежова аресты не прекрати-
лись, а ранее привлечённые к суду, подвергнутые наказанию решением
«тройки», как теперь называют Особое совещание, не возвращаются до-

мой? Но такие разговоры были возможны раньше. Теперь подобная информация приводила всех в необъяснимое оцепенение. Каждый знал что-то. Один больше, другой меньше. Но анализировал ситуацию в одиночку, а придя к выводам, молчал, потому что все вокруг почему-то молчали тоже.

Молчал и Антон Семёнович.

Тревоги поселились там, в верхах — в учреждениях, наркоматах. Тут, в Броварах, никто не прислушивается по ночам к шагам и стукам за дверями квартир. Это помогает ему с головой погрузиться в большие и маленькие заботы колониального коллектива, как и много лет назад, до прихода в НКВД, чувствовать, что сердце его бьётся в один лад с сердцами пацанов — и это превращает любую муку в радость. Он никогда не называл это любовью к детям. Просто детский мир, детская стихия были той силой, подчиниться которой он считает счастьем. Правильно сделал, что приехал сюда. Лучшего способа обрести равновесие, чем окунуться в ребячью среду, он просто не знал.

Должно быть, и сотрудники отдела, наведываясь в Бровары, тоже ушли от размышлений, неизбежных в стенах наркомата.

Было ли это бегством с корабля, терпящего бедствие?

Да как сказать! Найти единство с самим собой в честном и правом деле, каковым является всякое дело. нужное людям, — это ведь тоже надо суметь, когда внешние обстоятельства раскалывают тебя изнутри. И уход в красноречивое молчание куда честнее, чем, подчинившись этим обстоятельствам, чьей-то злой воле, выполнять предначертания следовать против совести ту да, куда тебя ведут, делать то, что велено.

ЭПИЛОГ

В ворота колонии медленно въехал огромный чёрный лимузин наркома внутренних дел Украины товарища Балицкого. Вместе со Всеволодом Аполлоновичем из автомобиля вышли Карлсон и Ахматов. Они не предупредили о своём приезде и были немало удивлены, что не успели они, как говорится, стряхнуть пыль с сапог, как раздался звонкий голос трубы. Тотчас на крыльце административного здания показался Макаренко. И почти одновременно отовсюду — из жилого корпуса, клуба, школы, столовой — стремглав устремились на плац, на ходу застёгивая форменные куртки и поправляя береты, колонисты. Сколько прошло времени? Минута? Две? Или считанные секунды? И вот уже безукоризненный строй замер по команде «смирно», чётким военным шагом Макаренко направляется к при-

бывшим, они тоже идут навстречу ему, сблизилась как раз посреди шеренг, построившихся в крае, и раздался чуть хриловатый, густой голос Антона Семёновича:

— Товарищ нарком внутренних дел! Колония номер пять по случаю вашего прибытия построена.

Не отнимая кончиков пальцев от козырька фуражки, нарком повернулся к строя:

— Здравствуйте, товарищи колонисты!

— Здра-жла-тва-ком!

— Вольно!

— Вольно!

Всеволод Аполлонович поздоровался за руку с Макаренко.

— Вы что же это, специально к встрече с наркомом парад готовили? Вас что, успели известить о нашем приезде?

— Никак нет, Всеволод Аполлонович. Мы готовы к любой встрече.

— Так уж и к любой? И не ударите в грязь лицом?

— Не ударим.

— Хм! Ну что ж, тогда, выходит, мы зря беспокоились — приехали подготовить вас к важному событию. Сейчас должны прибыть представители строительства канала Москва — Волга. Везут вам знамя...

Спустя полчаса приехали на двух легковых автомобилях гости с канал-строя.

Балицкий, Карлсон, Ахматов и они все в сопровождении Макаренко и пацанов ходили по колонии, расспрашивали о главном, интересовались мелкими деталями жизни учреждения и с первой до последней минуты этой экскурсии не скрывали довольных улыбок. Балицкий ни на шаг не отпускал от себя подвернувшегося ему под руку Дмитра Мирного, гордого тем, что сам нарком оказывает ему такое внимание, и у него, как и у всей этой высокой депутации, тоже не сходила с лица, струилась вокруг глаз, по бровям, длинным ресницам улыбка.

Когда задержались на несколько минут в клубе, на улице вдруг лихнул из набежавшей тучки дружный слепой дождь, пробежал через территорию колонии и удалился к лесу. Запахло травой, грибами, мокрыми крышами. А справа, за Броварами, вдруг заиграло всеми цветами яркое полукруглое радуги, редкой в такое время года.

— Это наш вам подарок, Всеволод Аполлонович, — пошутил Макаренко.

— Ну нет! — властно возразил нарком. — Это мой подарок. Вам, Антон Семёнович. И вашим ребятам... Я всегда считал, что не существует добросовестного труда, который рано или поздно не был бы вознаграждён. Вы выиграли это ваше поле битвы. Я горячо вас поздравляю и благодарю.

Оба не сговариваясь поглядели на радугу, залюбовались ею.

Нарком бросил взгляд на Макаренко. Антон Семёнович счастливо улыбался, лицо выдавало усталость. Балицкий много лет знал его, ему было известно обо всех его терниях, и давних, и нынешних, и в глубине души испытывал восхищение им. Вот тот человек, который не уступит, не подчинится никаким изгибам, перегибам и уклонам обстоятельств. Вот тот человек, который — только закажи! — может сотворить даже и радугу, будет биться за свою правду, пока не погибнет или не победит. Броварская колония для него вряд ли последняя застава, но стоит на ней так, будто последняя.

Снова несётся по колонии звонкий призыв серебряной трубы. Снова плац. Строй колонистов. Гости с каналстроя вынесли из административного здания знамя и замерли в ожидании команды. Порывом ветра всколыхнуло красное шёлковое полотнище, сотня глаз успела прочесть: «Трудовая колония несовершеннолетних № 5 НКВД УССР». А на другой стороне — знакомые всем и каждому профили и надпись над ними: «Пролетарии всех стран, соединяйтесь!» Пролетарии — это, выходит, и они.

Ударил оркестр. Всего несколько энергичных тактов марша. Затем — тишина. И срывающаяся на высоких нотах команда:

— Товарищи колонисты! Под Красное знамя! Смир-на-а-а!..

Киев — Москва. 1978–1988

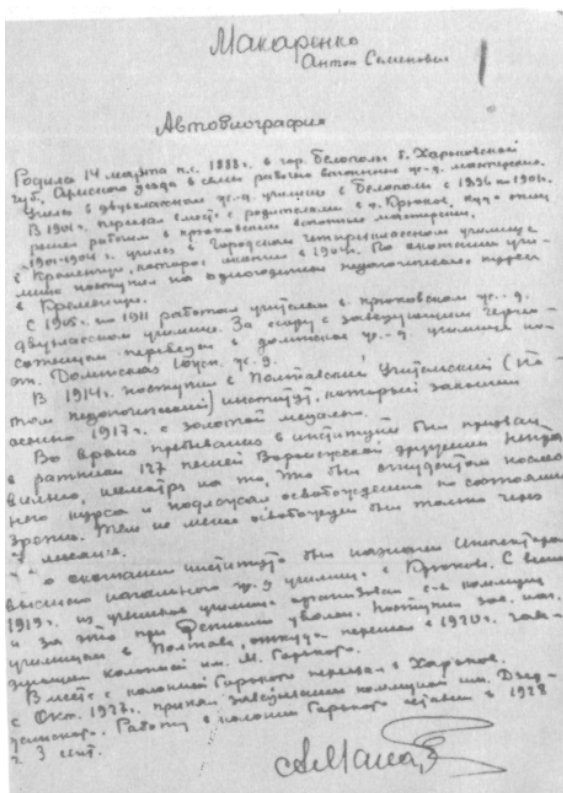


delaware



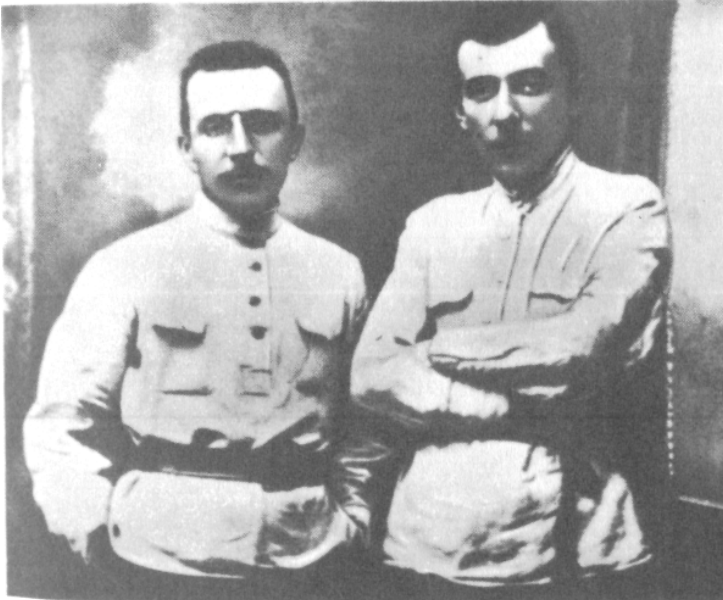
Год 1935-й... Что-то переменялось в заведённом жизнью порядке. И не ко двору оказалась в НКВД его педагогика...

Из личного дела
помнача отдела
трудовых коло-
ний НКВД Украи-
ны А. С. Мака-
ренко.





Виталий и Антон в канун первой мировой войны. Судьбы своей братья ещё не предвидят. А пока — друзья, единомышленники.



Красноармейские гимнастёрки — скорее дань моде. Через год один из братьев начнёт трудное восхождение к социализму, к Марксу, к Ленину. Другой удалится в изгнание.



В. С. Макаренко — эмигрант. Слева — в двадцатые годы, Болгария. Справа — спустя пятьдесят лет, Франция. До конца жизни он так и не принял иностранного подданства.



В. С. Макаренко — участник педагогического коллоквиума в Марбурге. Его воспоминания о старшем брате стали началом мощного пласта в зарубежном макаренковедении.



«Моей жены родители дворяне, имущества не имели, народные учителя. Отец моей жены участник народнического движения» (из анкеты в личном деле А. С. Макаренко).

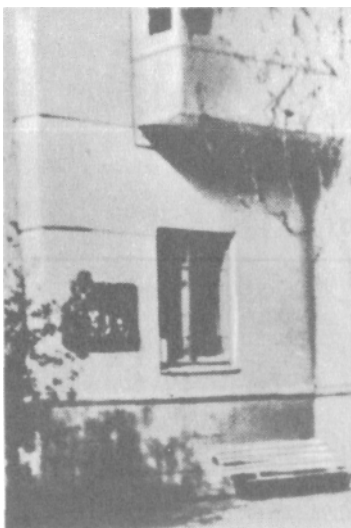
Галина Стахиевна в 1962 году, научный сотрудник лаборатории А. С. Макаренко в АПН СССР. Что случилось бы с творческим наследием, с архивами Антона Семёновича, не распорядись она ими мудро и бережно?..



Лёва Салько — студент Московского авиационного института. 1936 г.



«Рядом с Антоном Семёновичем прошли все мои школьные годы. Я уже тогда понимала, как он рисковал, воспитывая дочь эмигранта» (из воспоминаний О. В. Макаренко).



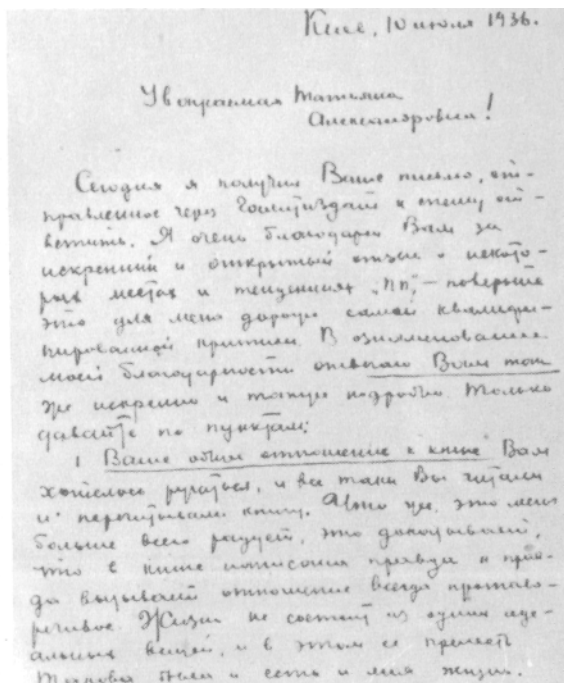
Скрипка Антона Семёновича.
Экспонат дома-музея
в Кременчуге.

Угол дома, где жил А. С. Макаренко в Киеве.

Мемориальная доска установлена по инициативе и при деятельном участии бывшего воспитанника Броварской колонии А. А. Филя.



Таким увидели Макаренко в Броварах в его первый приезд в колонию.



Автограф письма
к Т. А. Миллер.

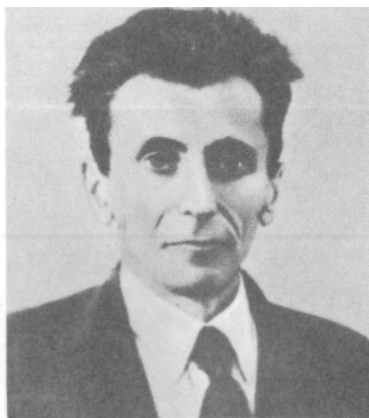
Справа:

200 печатных работ вышли из-под
пера В. Н. Терского. И в каждой из
них он страстно провозглашал: педа-
гогика Макаренко — педагогика бу-
дущего.

Снимок сделан незадолго до кончи-
ны.

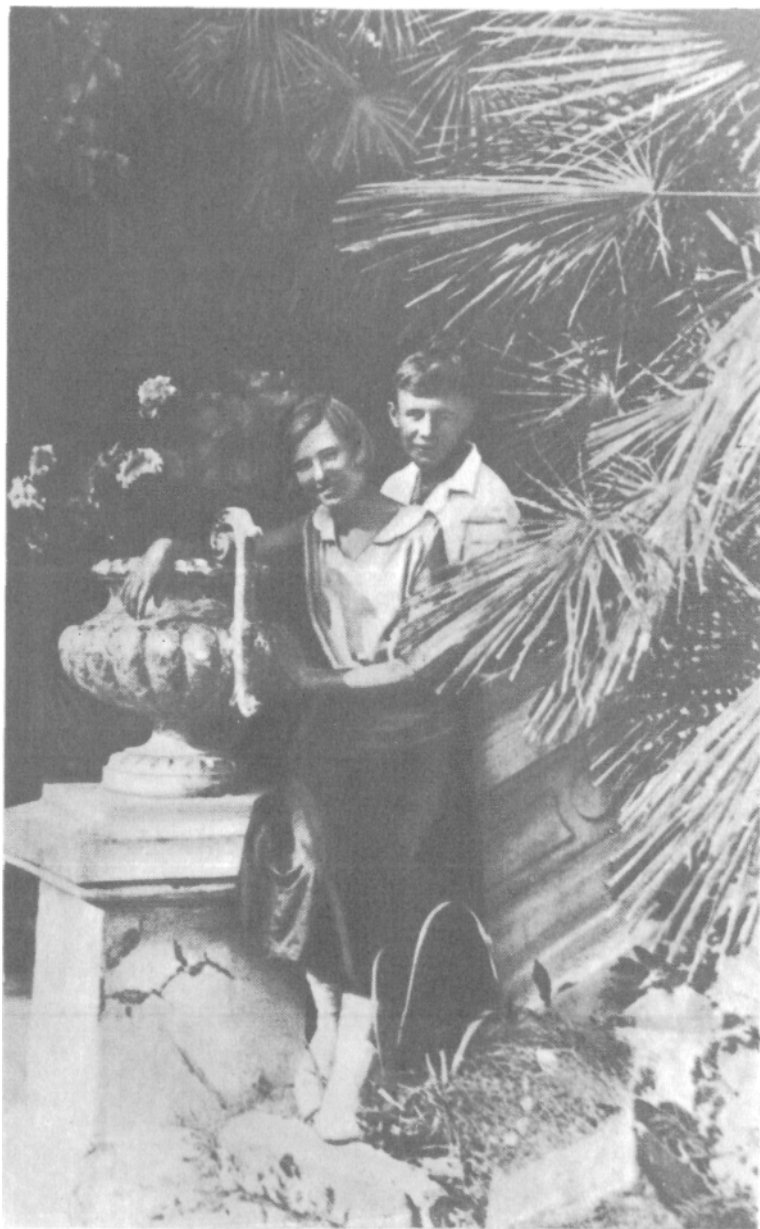


Николай Эдуардович Фере (Шере
в «Педагогической поэме»). 1935 г.



Терский — организатор клубной
работы в колонии. 1935 г.





Воспитанники коммуны имени Дзержинского Маша Бобина и Сева Шмигалёв — «самая красивая и пунктуальная статистка и самый быстрый и точный фельдъегерь НКВД». Свадебный снимок. 1935 г.



Всеволод Данилович и Мария Константиновна Шмигалёвы — первые, кто помог автору в сборе материала для этой книги. Снимок середины 70-х годов.



Серёжа Броневой был в числе первых в стране, кого наградили орденом Красной Звезды. Порядковый номер его ордена — 48.

А здесь Сергею Осиповичу уже за восемьдесят. И позади — восемнадцать лет сталинских лагерей.





Александр Осипович Бронево́й.

Как и младший брат, был репрессирован. Умер от разрыва сердца в воротах тюрьмы, выходя на волю.



Грамота ударника, которой наградили Антона Семёновича к пятилетию коммуны.



«Карабанов — начальник колонии. Замечательный человек. Талант...». На снимке: Семён Афанасьевич и Галина Константиновна Калабалины с детьми. 1934 г.



Карикатура на А. С. Макаренку в харьковской газете «Вести»: первая реакция на критику его педагогики, прозвучавшая на VIII съезде комсомола из уст Н. К. Крупской.

Из письма А. М. Горькому

Преподню тебе, пришлось писать в твоем издании, меня перебал в Киев полковником на-
чальником. Станция переводов Колонии НКВД, в-
стоятельности переводы и новый работы отпи-
сать, чтобы для писателя, в печати отстоялся
на больше три свободных часов, с свободной ст-
ми, члена не отстоялся.

Работа у меня сейчас бюрократическая, с-
меня непривычка и непривычка, по этому
скажу страшно. Меня выбрали из коллектива в-
шине, сейчас не познакомился с редактором.

Дорогой Алексей Максимович! Вспомни и не
привычка для меня работа, Переписывая
Полку" сжигана. Не пишу слов, и не беру чужой
чужой благодарить Вас, потому что все это
книга целительная для Вас, потому что
и любви к людям. Все Вас, потому что
прямая неискренняя энергия полковника, я не пишу
той же энергии не пишу.

У меня сейчас огромный издательский. Рабо-
та огромная, но работаю уже по своим на-
выкам писателя, не работаю, привык-
но к этой совершенно свободной, свободной
работе.

А в то же время я беру отпечатки или
будто все свободное время, пишу, пишу, пишу
или работаю.

Я пишу тебе надеюсь, что ты не забудешь
меня в этом издательском издании.

Поскольку, как известно, писательство
писательским издательством, пишу, пишу,
как собирать те же самые стихи, потому
вероятно все таки сестры работы!

Искренне преданный Вам
А. М. Горький





1988 год, объявленный ЮНЕСКО годом Макаренко. Титульный лист юбилейного сборника статей о выдающемся педагоге, вышедшего в Венгрии.



«Был ли Макаренко сталинистом?» — спрашивает западногерманский журнал «Демократическое воспитание», поместив на своих страницах рядом эти две фотографии.



Количеству литературы о Макаренко, издаваемой в Марбурге, мог бы позавидовать любой наш академический институт.



Участники международного симпозиума «Современное состояние и перспективы развития макареноведения» перед замком «Рауишхольцхаузен» в окрестностях Марбурга. Май 1989 г.



Известный западногерманский учёный Гётц Хиллиг, руководитель лаборатории «Макаренко-реферат», среди воспитанников Куряжской воспитательно-трудовой колонии. Февраль 1990 г.

СОДЕРЖАНИЕ

<i>М. Роцин. Педагогика здравого смысла</i>	3
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ	9
ЧАСТЬ ВТОРАЯ	176
ЭПИЛОГ	331

ИБ № 7137

Ширяев Владислав Алексеевич

КАМНИ С ДОРОГИ НАДО УБИРАТЬ

Заведующий редакцией *В. Володченко*

Редактор *Т. Костина*

Художник *А. Гусев*

Художественный редактор *К. Фадин*

Технический редактор *Е. Михалёва*

Корректоры *Е. Дмитриева, Е. Самолётова*

Сдано в набор 06.04.90. Подписано в печать 24.07.90. А02425.

Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1.

Гарнитура «Литературная». Печать высокая.

Усл. печ. л. 17.64+0.84 вкл. Усл. кр.-отт. 19,74. Учётно-изд. л. 19.9.

Тираж 50 000 экз. Цена 95 коп. Заказ 1100.

Типография ордена Трудового Красного Знамени
издательско-полиграфического объединения ЦК ВЛКСМ «Молодая гвардия».

Адрес НПО: 103030, Москва. Сущёвская, 21.

ISBN 5-235-01525-8

Оцифровано для страницы

Педагогического музея А.С. Макаренко

(Makarenko-museum.ru)

Нумерация страниц и разбиение текста по ним
с точностью до 1-2 слов на границах страниц
соответствует бумажному изданию